

ВАДИМ ФРОЛОВ

Что
к чему







Вадим Фролов

Что
к чему...

Повести

Ленинград
«Детская литература»
Ленинградское отделение
1990

Р 2
Ф 91

Рисунки Г. Романова

Фролов В. Г.
Ф 91 Что к чему... Невероятно насыщенная жизнь: Повести/Рис. Г. Романова. — Л.: Дет. лит., 1990. — 240 с., ил.

ISBN 5—08—000250—6

Повести о подлинных и мнимых ценностях, о том, как прекрасно быть честным и принципиальным.

Действие повестей происходит в наши дни — в классе, во дворе, на улице. Герои учатся по-настоящему дружить, не отгораживаться от мира взрослых, вместе преодолевать трудности.

Ф $\frac{4803010201-117}{M101(03)-90}$ 322—90

Р 2

ISBN 5—08—000250—6

© Романов Г. Иллюстрации. 1990

Что к чему...





Мне уже достаточно много лет, и постепенно я начинаю понимать, что к чему. Так, по крайней мере, мне кажется.

«Что к чему» — это любимая поговорка дяди Юры. У него интересная фамилия — Ливанский. Папа зовет его «кедр», потом немного помолчит и потом опять говорит: «Эх ты, кедр ливанский». Я думаю, папа любит его, хотя об этом помалкивает, а, наоборот, всегда подсмеивается над своим «кедром».

Вообще-то отец моряк, но работает давно в научно-исследовательском институте, и когда я спрашиваю его, что он, капитан первого ранга, делает в этом институте, он хмыкает и говорит:

— Вырастешь, Саша, узнаешь.

В прошлом году меня отправили в Псковскую область на все лето. Там есть такая деревушка Красики, маленькая — всего тринадцать дворов, и живут в ней какие-то дальние папины родственники, — я так до сих пор и не понял, кем они нам приходится. Мне было у них совсем неплохо. Только обидно, что папа с мамой отправили меня на все лето, а сами с Нюрочкой уехали к Черному морю. И за все лето я получил от мамы только одну открытку — бронзовая русалка на камне в море.

В Ленинград я вернулся перед самым началом учебного года.

...Я отмывал с себя, как любила говорить мама, «летнюю безалаберность» и из ванной крикнул:

— Батя, а где наши женщины?

Папа появился в дверях ванной. Во рту у него торчала трубка, он взял одной рукой за притолоку, другой потер лоб.

— Слушай-ка, — сказал он, — ты вымылся? Ну иди сюда.

Он усадил меня за свой письменный стол, а сам стал у меня за спиной. Молчал, молчал, а потом сказал:

— Красики вы, Красики... дальняя дорога... Вот что. Мама уехала на гастроли... надолго, а Нюрочка у дяди Юры. Так что пока мы поживем с тобой вдвоем. Что из этого следует?

— Железная флотская дисциплина согласно уставу корабельной службы, — ответил я.

— Точно. Вопросов нет?

— Нет, — сказал я, хотя вопросы у меня на этот раз были. Вообще-то мы и раньше иногда оставались вдвоем — ничего особенного. Только на этот раз я уж очень давно не видел маму — даже соскучился. Но я подумал, что не стоит сейчас задавать ему вопросы. Спрошу в другой раз, подумал я.

Скоро пошли уроки. Я, как и в прошлом году, ходил в детскую спортивную школу, — мама меня туда определила по совету дяди Юры, который сказал, что у меня длинные ноги и мне, ну, совершенно необходимо заниматься легкой атлетикой. У Кедр ливанского всегда были насчет меня разные планы. Однажды он решил, что у меня чудесная какая-то «пластика», и я чуть не угодил в балетное училище. Спасибо, батя выручил...

Папа в эту осень никуда не уезжал.

— Надоели мне командировки, — говорил он, — посижу-ка я дома в ватном халате и в теплых шлепанцах.

Изредка мы ездили к дяде Юре навещать Нюрочку. Ей там было очень неплохо. Кедр ливанский ее баловал, а тетя Люка воспитывала. Нюрочка у них чувствовала себя как дома.

А мы с папой жили по-холостяцки. Квартирка у нас приличная, в новом доме — две комнаты с кухней и мусоропроводом. Жить можно. И, несмотря на то, что в доме у нас не было женщин, порядочек у нас был. Как на корабле. Матросский порядочек. Ведь посуду-то мыть несложно, да и посуды-то кот наплакал.

В школе у меня все шло нормально, только мне как-то расхотелось острить, и Наташка говорила Оле:

— Он стал неинтересный.

Как будто я ужасно хотел казаться интересным. Просто... Ну, ладно, все это ерунда на постном масле.

Ольга и раньше к нам приходила, а тут просто так зачастила, что житья мне от нее не стало: то посуду не так помыл, то пол не так подмел... Папе она заявила, что мы какие-то «неухоженные» — слово-то какое выкопала! — и что мужчинам обязательно нужна нянька. И батя согласился.

— Что мы тебе, грудные младенцы? — Это я спросил. Состричь попытался.

Папа не понял и сказал:

— Младенцы, Оленька, да еще какие... — И пошел к себе писать. Он очень много писал последнее время и все написанное рвал в мелкие клочки.

В общем, Ольга стала здорово надоедать мне своей заботой. Раз я прихожу, а она лежит в передней, а на ней электрический полотер. Это надо же умудриться! Я вспомнил, как однажды в Лисьем Носу она пробовала меня спасти и чуть не утопила. Подвернулся дядя Юра и так шлепнул ее по одному месту! Меня он шлепнул тоже, а Ольга еще орала:

— Я бы его все равно спасла, если бы вы не подвернулись!

Вот и сейчас мне от ее забот стало тошно, и я сказал:

— Не ходи ты к нам.

— Хожу и буду, и не твое дело.

— Ладно, — сказал я, — приходи, когда меня дома не будет.

Она сказала, что я неблагодарный дурак, и действительно перестала приходить. И опять мы остались одни.

Через некоторое время папа спросил меня, почему не видно Оли. Ну, я ему рассказал — я вообще не могу ему врать, иногда промолчу, если что-нибудь не так, ну, а уж когда он спросит, я не могу ему врать. Хочу, а не могу.

Он не сердился. Он как-то странно посмотрел на меня и сказал:

— Одевайся.

Я думал, что мы пойдем к Оле, но он повел меня совсем в другую сторону. Мы долго шли по городу через Кировский мост, по набережной Кутузова, мимо знаменитой решетки, потом по Литейному, завернули в какой-то

переулок и вышли на улицу Маяковского, зашли в какой-то двор и спустились в подвал, нет — в полуподвальный этаж. Папа позвонил.

...Мы прошли в комнату и увидели... Я-то, в первую очередь, увидел корабль под всеми парусами. Он стоял на тумбочке около окна, и паруса его были надуты так, как будто в них и в самом деле дул ветер.

— Вот, знакомься, Андреич. Это мое сокровище, — сказал папа и толкнул меня в плечо.

У низенького стола в коляске сидел Андреич. Усы у него были желтые, руки очень большие, голова маленькая, одет он был в матросскую тельняшку, а ног у него не было. Я даже не очень удивился: батя любил задавать мне загадки. Андреич на меня не посмотрел.

— Как живешь, соломенный вдовец? — спросил он папу.

Папа покачал головой.

— Эх, ты! Разрюмился, капитан первого ранга... — Он выругался и закашлялся. А папа стоял и качал головой.

— Пусть погуляет, — кашляя, сказал Андреич.

— Погуляй, Саша, — сказал папа.

Я вышел из этого полуподвала во двор, и мне стало обидно. Ну что я, маленький, что ли?.. «Погуляй, Саша»!

Во дворе никого не было, я долго сидел на каком-то ящике, а потом вышел батя и позвал меня.

— Андреич, ты все же посмотри на мое чадо, — сказал папа. Он сидел почему-то очень красный, и глаза у него блестели.

— Ты не настаивай. А то я так посмотрю, что от него мокрого места не останется, — прохрипел старик в колясочке, и у меня по позвоночнику поползли мурашки. А батя усмехнулся и опять подтолкнул меня в плечо.

Рука у Андреича была здоровенная, и, когда он протянул ее ко мне, я струсил. Он взял меня за плечо довольно больновато, но как-то, ну, не знаю... ласково, что ли, повернул к себе и спросил:

— Ты вот что скажи: летают тут чайки?

Честное слово, летали бы здесь чайки или не летали, я все равно бы сказал, что они летают. Я только кивнул.

— Твое чадо! — закричал Андреич и начал хохотать, кашлять, чихать и плевать.

Так под это чихание мы и ушли. Обратное мы шли под марши, которые про себя бубнил папа. Мне очень хотелось спросить, что это за Андреич, но я не спрашивал. Нарочно не спрашивал.

Подходя к дому, мы спели «Варяга», а когда пришли, батя спросил:

— Ты что-нибудь понял?

Я засмеялся: на такие воспитательные приемчики я уже давно не поддаюсь. Он повернулся и пошел на кухню с таким видом, что я сразу вдогонку ему крикнул:

— Я завтра Олю позову! Она здорово пол натирает!

В ответ я услышал:

— Дурак.

— Бать, а что такое соломенный вдовец? — спросил я. Он высунулся из кухни. Лицо у него вдруг стало мрачным.

— Это вроде нас с тобой — холостяки... временные.

На следующий день вечером пришел дядя Юра и сказал, что Нюрочка заболела. Он даже не стал раздеваться, а мялся в передней, переступая с ноги на ногу, и тянул себя за красивые усы.

— Николай, тебе, наверно, не придется идти на работу, — говорил дядя Юра, глядя куда-то под вешалку. — Ты не волнуйся; вероятно, ничего страшного нет, просто Нюрочке очень плохо, Люка сходит с ума. Машина, между прочим, внизу, ну а Сашка постережет дом.

Папа, уже одетый, сказал мне:

— Позвони Федору, чтобы приехал. Меня не жди.

— Коля, Коля... — забормотал дядя Юра, — ты не волнуйся.

— Ладно, старик. Поехали.

Они ушли. Я особенно не думал о Нюрочке, когда она была здесь, — девчушка как девчушка: три года, ямочки на щеках, глаза тоже ничего — большие и вроде зеленые, русалочьи, говорила мама, — и ручонки у нее очень приятные — мягкие-мягкие...

Я не хотел звонить Федору Алексеевичу. Подходил к телефону и все время оттягивал: мне казалось, что, если я позвоню, случится то, чего уже никто не сможет поправить. Ведь папа очень редко звонил Федору, и всегда, когда ему действительно было туго.

— Поплачусь-ка я в жилетку, — говорил батя и звонил Федору, а потом уходил.

Федор Алексеевич — старый батин друг и начальник еще по флоту. Отец его очень уважал и, мне кажется, даже немного побаивался.

Я все-таки пересилил себя и позвонил. Мне не ответили, и я вздохнул с облегчением. Я хотел позвонить Ливанским, но вспомнил, что у них еще нет телефона. Тогда я позвонил Оле. Подошла к телефону она сама и вначале сделала вид, что меня не узнала. Но, наверно, я так сказал ей, чтобы она пришла, что она прибежала через пять минут.

— Я очень на тебя сердита и, пожалуйста, не задавайся, что я пришла, — это просто моя общественная обязанность: я взяла над тобой шефство...

Черт бы ее побрал с ее шефством. Вот человек! Не может сказать прямо, что она ко мне хорошо относится. Я чуть не выгнал ее.

— Слушай, помой посуду, а я... — сказал я и почему-то поперхнулся.

В передней у нас был сундук, на котором лежали шарфы, варежки, шапки, и я сидел на этом сундуке, а Ольга стояла рядом и ничего не говорила. Потом она убежала и через некоторое время пришла со своим отцом. Он был старшиной милиции и меня, по-моему, не очень любил. Он пришел, покрякал, обошел квартиру, посмотрел на часы — а было уже около двенадцати — и сказал:

— Олюха, давай его к нам. У нас поспит. И покорми. А мне — на дежурство. — Он козырнул по-военному и вышел. А через две минуты вернулся: — Слушай, как тебя... Александр, ты Юрку Пантюхина знаешь?

— А что?

— Скажи ему, чтобы он завтра ко мне в одиннадцать, нет, лучше в двенадцать ноль-ноль зашел.

Я не успел ответить, как он опять ушел. Попробуй-ка скажи Пантюхе, что его в милицию вызывают. И что я к нему, в двенадцать ночи пойду, что ли?

Мы, конечно, пошли к Ольге — с ней ведь не сладишь. Они через две парадные от нас живут.

— Я тебе здесь постелю, а ты пойди умойся. Потом я тебя покормлю. Ты не шуми, у нас мама больна.

Как будто я собирался песни петь..

Пока там Ольга возилась на кухне, я все думал: ну что я, маленький,

чтобы со мной так нянчились? И еще о том, как сказать Пантюхе, что его вызывают в милицию. А еще смотрел Ольгину комнату. Ну да: расписание уроков с цветочками, этажерочка, порядочек, бантики-фантики...

Не было там бантиков-фантиков, — это мне со злости казалось...

Я долго не мог заснуть и все ворочался на диване. Пружины подо мной звенели и скрипели, и я боялся, что разбужу Ольгу, а остановиться никак не мог — все ворочался и ворочался. А потом я наконец заснул и спал так крепко, что, когда Ольга потянула меня за ноги, я вскочил как ошалелый и долго хлопал глазами, не понимая, где я и почему около меня стоит и хочет Ольга:

— Ну и крепко же ты спишь, я тебя бужу, бужу, а ты все спишь и спишь. Мама говорит, это ты от переживаний.

Какие там переживания! Просто я долго не мог заснуть: пружины мешали. Но этого я ей не сказал.

— Вставай, соня, — сказала Ольга, — в школу опоздаем. Сейчас позавтракаем, ты сбегаешь домой за портфелем и пойдем в школу, а потом ходим навестить Нюрочку, а обедать придем к нам. Я с мамой уже договорились. Потом ходим в кино — тебе надо отвлечься... или отвлечься?

— Отвлечься, — сказал я и подумал, как это она здорово все расписала и разложила по полочкам: сперва то, потом это. Но спорить я с ней не стал — не захотелось.

Мы позавтракали, и я пошел за портфелем. А потом, когда я уже спустился по лестнице с портфелем под мышкой, я вспомнил, что надо зайти к Пантюхе и сказать ему, чтобы он шел в милицию. Не очень мне хотелось это делать, но я ведь обещал Олиному отцу.

Наверно, опять Пантюха влип в какую-нибудь историю, он всегда влипал в какие-нибудь истории, и вот сейчас его вызывают в милицию, а я должен ему об этом сказать. Пантюха, конечно, начнет заикаться и скажет, чтобы я п-п-проваливал к ч-ч-черту, а потом начнет орать, что и б-б-без меня знает, что ему делать — идти в милицию или д-д-делать дело, — он всегда делал какие-то дела, а потом ему за эти дела здорово попадало, но он не любил, чтобы кто-нибудь в его дела вмешивался.

С Юркой Пантюхиным у меня были странные отношения.

Когда заселяли наш дом, мы приехали самые первые, и мне было очень интересно смотреть из окна кухни, как каждый день во двор въезжали машины. С них разгружали разную мебель, женщины суетились и что-то кричали, мужчины, пыхтя и отдуваясь, таскали эту мебель на разные этажи, а потом курили с шофером, вытирая пот со лба, и подмигивали в сторону женщин. Потом они договаривались и один из них бежал в магазин.

Я видел, как вместе с отцом приехала Ольга на милицейской машине. Они выгрузили очень много цветов в горшках и один аквариум, прямо с водой и с рыбами. Старшина — Олин отец — понес его сразу в квартиру. А потом приехала трехтонка с мебелью и Олина мама — маленькая, худенькая, закутанная в платки; она командовала тремя здоровенными милиционерами, как «мать-капитанша» из Пушкина. А Ольга носилась взад-вперед и все время что-нибудь роняла.

Позже в парадную напротив приехал и Валечка. Им дали три комнаты, они приехали на четырех машинах сразу. Из них начали выгружать разные кресла и диваны, и эти — как их называют — стенки, и низенькие столики, как в кафе «Лакомка».

А потом приехал Пантюха. Они приехали самыми последними.

Я стоял у окна и услышал, как во дворе вдруг заиграл аккордеон. По двору шел парень в шляпе набекрень и играл на аккордеоне, а за ним фырчала машина — мотороллер не мотороллер — такая красная машина, на которой ездят дворники, и вел ее наш дворник. Она называется очень забавно — «тум», словно собачонка. Машина была с прицепом, а на прицепе стояла мебель. За прицепом шла очень красивая женщина в нейлоновой стеганке и в голубом шелковом платке, размахивала красной сумочкой и пела. У нее был очень красный рот — странная такая помада. Рядом с ней шла такая хипповая девчонка — очень стильная. А за ними катил детскую коляску — старомодная какая-то коляска, таких сейчас не делают — парнишка в маленькой вельветовой кепочке. В коляске стоял здоровенный фикус, лежали огромные часы и ящики с разным барахлом. Парень был в коротком пальто, маленький и тонконосый, кепка торчала у него на самой макушке, и, когда он начал вытаскивать из коляски фикус, я испугался, что он сейчас грохнет его и тот тип в шляпе даст ему так, что он не опомнится. Он обхватил здоровенный горшок с фикусом, прижал его к животу и на «полусогнутых» потащил в парадную. Мне даже показалось, что я слышу, как он кричит. Нес, нес и у самой парадной споткнулся о ступеньку и все-таки грохнул этот проклятый фикус. Горшок раскопался на мелкие куски, земля высыпалась. Паренек сорвал свой кепарь и хлопнул об асфальт, а тип в шляпе сыграл на аккордеоне туш. Красивая женщина с красными губами сделала сердитое лицо, потом махнула рукой и засмеялась.

— К счастью! — закричала она так, что я услышал сквозь закрытое окно.

Мне все это понравилось. «Забавная семейка», — подумал я.

После этого я долго никого из них не встречал, только часто, проходя под их окнами, слышал, как там играли на аккордеоне и очень громко пели.

— Вторую неделю новоселье справляют, — говорила наша соседка напротив, то ли восхищаясь, то ли возмущаясь.

Но вот однажды музыка и песни за окном смолкли, и парень в кепке стал появляться во дворе. Ему было скучно — ребят еще почти не было, была только мелюзга и Валечка, который с деловым видом пробегал с нотной папкой два раза в день, а остальное время торчал дома. Я из окна кухни видел, как парнишка слонялся по двору и лениво гонял палкой, как клюшкой, пустую консервную банку. Мне тоже было скучно: школьные друзья разъехались кто куда, а мои родители все никак не могли решить, куда меня деть на лето, и я томился в городе.

Парень в кепке мне чем-то нравился — уж очень у него вид был самостоятельный, и мне захотелось с ним познакомиться, но я как-то не умел это делать первый. И вот смотрел я, смотрел, как он гоняет эту несчастную банку, и решил все-таки вылезти во двор.

«Дай-ка я возьму велосипед, — подумал я, у меня был новенький «Орленок». — Парень, конечно, попросит у меня покататься, я ему дам, мы и познакомимся».

Как же! Попросил он покататься... Только я проехал мимо него, изобразив на лице самую приветливую улыбку, он — р-раз! — и сунул палку в переднее колесо, и все спицы только «тр-р-р». Я вылетел из седла и, треснувшись о мусорный бак, набил себе здоровую шишку.

Я поднялся и, пошатываясь, пошел к парню. Он стоял «ручки в брючки» и смеялся, и даже не думал бежать, хотя я был на голову выше его и вид у меня был, наверно, довольно злобный.

— З-здорово ты летел. Аж б-бак зазвенел, — сказал он.

— Ты зачем это сделал? — спросил я.

— А не пижонь. А то едет и еще лыбится. Едет и лыбится, — спокойно сказал он.

— Д-дурак! — заикаясь от злости, заорал я. — Я в-ведь хотел... — Но что я хотел, мне так и не удалось договорить: я получил здоровенный удар прямо в нос.

— Д-д-дразнишься, д-да? — тихо сказал парень и пошел на меня.

И я отступил. Не потому, конечно, что испугался, а потому, что вдруг сообразил, что он и впрямь мог подумать, будто я дразнил его: ведь он на самом деле здорово заикался.

Так я отступал, а он шел на меня, и маленькие желваки шевелились на его скулах. Он притиснул меня к стене:

— Еще х-хочешь?

Я не успел ответить, как услышал чей-то визгливый крик:

— Оставь хорошего мальчика, хулиган! — Это, высунувшись чуть ли не наполовину из своего окна, кричала наша соседка. — Вот семейка приехала! У мамыши дни и ночи гулянки с мужиками... Доченька — фик-фок на правый бок и сынок такой же отпетый. А ну оставь хорошего мальчика!

Я заметил, как побледнел парнишка. Он порывлся в мусорном баке и ловко залепил прямо в лоб орущей тетке гнилым яблоком. Соседка закудаhtала и скрылась в окне, а парень повернулся на каблуках и, насвистывая, пошел со двора. Я засмеялся и во что бы то ни стало решил с ним познакомиться.

Вечером к нам пришла соседка и долго и нехорошо ругала всю «эту семейку» и особенно «эту мамашу».

Моя мама слушала, слушала, а потом как-то сморщилась и сказала:

— Ах, оставьте. Несчастливая, одинокая женщина. А что касается моего Сашки, то он великолепно мог постоять сам за себя. Мы с отцом никогда в эти дела не вмешиваемся.

Соседка обиделась.

— Интеллигентные люди! — сказала она и ушла.

— Эх, ты! — сказала мама и шлепнула меня по затылку.

Ну что ж, может, она и права, только тут она не все поняла. Я-то ведь мог его вздуть. Мог, но не захотел.

На следующий день я сидел во дворе на скамейке и делал вид, что читаю. «Кепарь» вышел из парадной и сразу направился ко мне. Вид у него был решительный.

— Т-тащи к-колесо, — сказал парень.

Я удивился.

— В-велосип-педное, — пояснил он.

— Зачем?

— Тащи, г-говорю.

Я начал злиться: чего он командует? Но колесо приташил — мне было интересно. Парень забрал колесо и ушел со двора. А часа через два, когда мы обедали, раздался звонок. Я открыл. Парень протянул колесо: в нем сверкали новенькие спицы.

— Спасибо, — сказал я, — заходи.

— Вот еще, — сказал он, — чего я у тебя... — И осекся.

В переднюю вышел батя в полном параде, со всеми своими орденами — он собирался на какой-то торжественный вечер.

Парнишка смотрел на него, открыв рот. Потом опомнился и сказал:

— Т-ты только не думай, чт-то замандражил. Мне т-технику жалко. — И он побежал вниз по лестнице.

После этого он несколько дней проходил во дворе мимо меня, как мимо пустого места. К нему приходили ребята побольше его и все с длинными волосами, а один в ковбойской шляпе. Они о чем-то говорили, смеялись и уходили с ним, а возвращаясь, он опять не смотрел на меня. А однажды вечером во двор, пошатываясь, вошла его мама, та красивая женщина с ярко-красными губами. Шелковая косынка была сбита набок, волосы растрепаны, она размахивала сумкой и что-то напевала. Потом она споткнулась о проволоку, огораживающую газон, и чуть не упала. Я стоял рядом и бросился ее поддержать.

— Славный мальчик, — сказала она и потрепала меня по щеке.

Но тут откуда ни возьмись выскочил этот парень, оттолкнул меня и так посмотрел, что я сразу отошел в сторону, а он повел ее домой, что-то сердито выговаривая. Через некоторое время он вышел во двор и сказал, глядя мне прямо в глаза:

— Т-ты вот ч-что... Если про нее (он так и сказал «про нее») что-нибудь плохо подумаешь или с-скажешь — с-смотри!

Он заикался сильнее обычного, и мне почему-то стало его очень жалко и захотелось сказать ему что-то хорошее. Но пока я думал, что бы такое сказать, он ушел.

Вскоре мы с ним все-таки познакомились по-настоящему, и получилось это совсем неожиданно для меня.

Я сидел у окна и поглядывал во двор. Вижу: из-за угла вылетает этот «кепарь» и во весь опор мчится к парадной. Вид у него при этом ужасно злой и испуганный, как у нашководившего щенка, — я даже засмеялся: никогда не видел его таким. А за ним, тоже из-за угла, выскакивает здоровый парень, я узнал его — это был тот самый в шляпе, который играл на аккордеоне. Парень этот чего-то орет и грозит кулаком. «Кепарь» юркнул в парадную, а я выскочил на площадку и крикнул:

— Эй, давай сюда!

Он влетел на наш третий этаж, сразу заскочил в квартиру, втянул меня и перед самым носом разъяренного парня захлопнул дверь.

— А-а! Чт-то? Поймал? — заорал он, пританцовывая.

— Дурак ты, Юрка, — сердито сказал парень за дверью. — Я к тебе по-хорошему...

— И не лезь, и не лезь! Все равно ни шиша не выйдет! — орал Юрка.

Парень помолчал, а потом сказал:

— Ну, Юрка, ну, выйди. Честное слово, мне с тобой поговорить надо.

Он сказал это так ласково и просительно, что я было сунулся к двери — открыть. Юрка зашипел, как гусь, и затолкал меня в кухню. Через некоторое время я увидел, как парень шел по двору, засунув руки в карманы, и спина у него была какая-то очень грустная.

Юрка стоял рядом со мной и не казался довольным своей победой. Наоборот, он был мрачный и, похоже, жалел этого парня.

— Ишь хахаль, — пробурчал он, — и ходит, и ходит...

— А чего он хочет, Юрка? — спросил я.

— Замуж хочет, — мрачно сказал Юрка.

Я засмеялся.

— Ну, жениться, — поправился он. — И ходит, и ходит, и липнет, и липнет...

— На ком жениться-то?

— На ком! На ком! — яростно заорал Юрка. — На мамке! Не на мне же. Ну, я его и отшил сегодня. Незачем нам на нем жениться...

Я опять засмеялся. Понимал, что нельзя, а вот...

— Чего ржешь? В глаз захотел? Замуж... жениться — одна баланда. Незачем нам это.

— А почему, Юрка? Может, он... любит ее?

Юрка аж зашелся:

— Люб-бовь — это сон упонительный... Да? ...Лю-б-бви все возраст-ты... Да? Вначале любовь, а потом дет-т-ти пойдут... А за-ч-чем нам еще де-т-ти? — опять заорал он. — Зачем? Ему побаловаться, а нам расхлебывать! Да? — И дальше он понес такое, что у меня уши завяли и тошно стало. Мне всегда становится тошно, когда я слышу такое. Не то чтобы я ничего не понимал, а просто не могу я слышать, когда об этом говорят так, — как будто в вонючей грязи тебя выкупали...

— Замолчи, — сказал я Юрке, — слышишь, ты, замолчи! — и толкнул его так, что он брякнулся на табуретку.

— Подонок ты... подонок, — говорил я и еще что-то говорил, а потом, когда замолчал, посмотрел на Юрку. Он сидел на табуретке, открыв рот и уставившись на меня, — но не то чтобы испуганно, а скорее удивленно и даже, как мне показалось, с уважением.

Потом мы довольно долго молчали и почему-то боялись взглянуть друг на друга. Наконец Юрка заговорил:

— П-понимаешь, не хочу я, чтобы она опять несчастная была. Н-ну, бросит он ее? Чт-то тогда? Ты думаешь, она почему выпивает? А-а! Не знаешь! А я знаю... А он обязательно бросит... Ведь она старше его, Лешки этого...

— Ну так что? Она... красивая, — сказал я.

— К-красивая, — горестно сказал Юрка. — Вот он и липнет. Ты не думай, — вдруг быстро зашептал он, — она ведь хорошая. Она такая хорошая... — Он даже зажмурился.

— Я и не думаю, — сказал я почему-то тоже шепотом.

Потом Юрка рассказывал мне о Лешке, и из его рассказов выходило, что Лешка тоже, в общем-то, очень хороший парень.

— Он, гад, мировой парень. Но как подумаю... что мне его — п-папой называть, что ли? — Юрка даже заскрипел зубами. — П-папа! Шиш ему, а не папа!

Потом мы опять молчали, но уже как-то по-хорошему, пока черт меня не дернул спросить у Юрки, где его отец. И тут он снова взвился:

— Опять в г-глаз захотел?! Ч-чего в душу лезешь? Ч-чего лезешь? — И ушел, хлопнув дверью.

А я еще долго сидел и думал о том, какая это сложная штука жизнь, и о любви думал, и еще о том, что взрослые нарочно все делают сложнее, чем на самом деле. А потом я подумал о Наташке и решил, что нет, действительно, все не так просто. И я еще долго думал о Наташке и о себе. Мне стало жарко, и я пошел в ванную и влез под холодный душ.

Юрка дня три не подходил ко мне, а потом подошел как ни в чем не бывало, и мы поехали с ним на футбол. Об отце я его больше не спрашивал, зато он много расспрашивал меня о моем бате. И я рассказывал ему, стараясь не очень хвастаться, и все равно хвастался, но Юрка не сердился...

Познакомиться-то мы познакомились, но отношения у нас все равно были странные. То он не отходил от меня ни на шаг — даже иногда приходил встречать меня к школе после занятий, а иногда неделями я его

не видел, а если и встречу случайно, то он буркнет что-нибудь невнятное и убежит.

Жизнь у него, как я вскоре понял, была не очень-то легкой. Отца у него вроде совсем не было, то есть был, конечно, но неизвестно где. А мать — то веселая и добрая, а то, наоборот, злая, дерганая, со всеми цапается и Юрку колотит чем попало. Была еще сестренка — та хипповая девчонка лет семнадцати, — ее и дома-то почти не бывало: приходила с работы (работала она не то официанткой, не то еще кем-то — в общем, в столовой), а через полчаса — «тук-тук» каблучками по двору и за ворота, а там ее уже «мальчишки с Невского» дожидаются. Я слышал, как Юрка иногда ругал ее по-разному и называл очень нехорошим словом, а она только смеялась. Звали ее Лелька, и мне она всегда почему-то улыбалась. И я ей тоже... улыбался. Она, в общем, ничего девчонка...

Сам Юрка говорил, что учится в школе юнг, но я не больно-то ему верил: просто непонятно было, когда он учится, — иногда он пропадал где-то целыми днями, а иногда его можно было встретить во дворе в любое время, с утра и до вечера. А начнешь его толком спрашивать, он злится:

— Не т-твое с-собачье дело!

Ну, я и перестал его расспрашивать. Вообще-то я подозревал, что он занимался какими-то не совсем чистыми делами, но расспрашивать — не расспрашивал.

И все-таки мы с ним, можно сказать, дружили. Не так, конечно, как девчонки: «сю-сю-сю», «ах, миленькая», «ах, хорошенькая», — а без лишних слов, но я знал, что если дело дойдет до чего-нибудь серьезного, то он всегда поможет. Отругает меня, позлится, но наверняка поможет. И он тоже мог на меня надеяться — я бы его всегда выручил. И он это тоже знал. Может быть, поэтому мы почти никогда и не просили друг друга о помощи, а старались обходиться сами, — я по крайней мере.

И еще мне почему-то было жалко его: вот хоть и боевой он, и отчаянный, а живет как-то безалаберно, и получается так, что у него и дома-то вроде нет. Квартира есть, а дома нет. И мать он любит, и она его любит — это видно, — а вот семья, ну, такой как у нас, или у Ольги, или даже у Валечки, — у Юрки нет. Может быть, это все из-за того, что отца у него нет?..

Вот какие отношения были у нас с Юркой Пантюхиным, или Пантюхой, как называли его дружки. Я так подробно рассказываю об этом потому, что нам пришлось хлебнуть много такого, что запомнится мне на всю жизнь.

Да, еще я забыл сказать: Юрка здорово не любил девчонок, и когда разговор заходил о них, он прямо трясся весь и заикался сильнее обычного. Он их не трогал, они сами просто шарахались от него, когда он шел по двору или по улице — руки в карманы и кепарь на самом носу. Единственная, кого он сам обходил стороной, была Ольга, — ну да ясно: у нее батя милиционер.

...И вот Ольгин отец просил меня передать Юрке, чтобы он зашел в милицию. Не хотелось мне этого делать, но все же я пошел к нему. На звонок никто не ответил, я обрадовался отсрочке и отправился в школу, но по дороге передумал, сел в автобус и поехал к Ливанским узнать, как там Нюрочка.

Всю дорогу я думал, надо или не надо посылать телеграмму маме, но так ни до чего и не додумался. С одной стороны, надо — ведь мало ли что, а с другой... Мама так любит Нюрочку, что ужасно перепугается, а тут ничего страшного, может, и нет. И еще я думал о том, что мне попадет от тети Люки Ливанской за то, что я не в школе. Не то чтобы я боялся — Ливан-

ские были очень добрые, веселые и очень любили нас всех: папу, маму, Ню-рочку и меня, — просто было неприятно. Впрочем, вру: тетю Люку я вообще-то побаивался.

Тетя Люка — такая... Она никому не прощает ни одной ошибки. Когда я был совсем маленький, папа, мама и я отдыхали вместе с Ливанскими в Крыму. Тетя Люка очень любила что-нибудь покупать на базаре. В тот раз она купила арбуз. Я этот арбуз запомнил на всю жизнь. Он был очень красивый — полосатый, как тигр, и огромный. Она долго торговалась, а потом, когда наконец купила этот арбуз, положила его мне в руки и сказала:

— Неси, потом будешь лопать.

Мама сказала:

— Не надо, не надо, он обязательно уронит.

Тетя Люка осмотрела меня с ног до головы, потом подумала, потом опять посмотрела на меня и сказала:

— Донесет. А если не донесет, то не сносить ему головы.

Я решил во что бы то ни стало донести этот арбуз до дому. Конечно, я его грохнул. И грохнул классически — об тумбу, торчавшую около каких-то ворот. Этот чертов арбуз раскололся на мелкие части — такой он был сочный, — и красные ошметки с черными семечками разлетелись по тротуару. Я заревел. Мама бросилась меня успокаивать, батя отошел в сторону и смотрел на нас, тетя Люка начала шипеть, как гусыня, а Кедр кричал:

— Не терзай ребенка, Люка!

Тетя Люка — я это очень хорошо запомнил — стояла над ошметками арбуза, качала головой и очень тихо говорила:

— Я купила такой арбуз. А этот... я его очень дешево купила. А этот... Ах, какой он был... К черту! Саша, не плачь. Ах, какой был...

Она этого никогда мне не простила. По любому поводу, когда нужно и не нужно, даже когда ей не хотелось, она вспоминала этот арбуз.

— Нет, что вы, что вы, — говорила она, — я ему однажды поручила элементарную вещь — донести арбуз...

— Боже мой, — говорил дядя Юра, — Люка, Люка, что ты мелешь какую-то ерунду. Ребенку было три или четыре года.

— В этом возрасте проявляются все задатки, — отвечала тетя Люка и пичкала меня вареньем, которое она называла витаминами.

Чего она только не говорила обо мне. И я ужасно все это переживал, но, между прочим, почему-то тянулся все время к этой взбалмошной тетке.

Но вообще-то она замечательная — тетя Люка. Я бы никогда не подумал, глядя на нее (она маленькая, толстенькая, совсем почти седая и в большой роговых очках), что она настоящий герой. А это ведь так. И даже орден у нее есть, Боевого Красного Знамени.

Однажды на пляже я заметил, что на спине у тети Люки три или четыре большие синие полосы. Я спросил у бати, что это такое. Он сразу стал очень серьезным и уже хотел было рассказать, но мама сказала, чтобы он не травмировал ребенка.

— Незачем ему знать сейчас всякие ужасы, — сказала мама и поежилась, как будто ей стало холодно.

Папа пожал плечами и сказал:

— Вырастешь, Саша, узнаешь. Но вообще-то ты имей в виду — наша тетя Люка настоящий герой.

Я засмеялся: уж больно не походила на героя толстенькая тетя Люка. Батя слегка хлопнул меня по затылку и сказал, чтобы я никогда, ни-ког-да

не смел смеяться над Лизой, — так ее звали по-настоящему. Больше я не спрашивал, хотя мне очень хотелось знать, что же это за синие шрамы на спине у тети Люки.

И только года два назад, когда я не сдержался и начал посмеиваться над тетей Люкой, расписывая папе, какая она взбалмошная и смешная (она меня ужасно разозлила, прочитав очередную и, как я считал, несправедливую нотацию), батя рассказал мне всю ее историю, и с тех пор я никогда не смеюсь над ней. И захочу иногда, а вспомню все, что мне рассказывал батя, и уже не могу смеяться, даже когда она и в самом деле бывает смешной.

Оказывается, Лизанька, как ее тогда звали, почти в самом начале войны добилась, чтобы ее взяли в партизанский отряд. Она была тогда совсем молодой — такой, как Зоя Космодемьянская. Она участвовала в боевых операциях, а потом ее послали в Минск и там она торговала дамскими шляпами, а на самом деле была партизанской связной. Но какой-то гад выдал ее, и ее арестовало гестапо. И синие, страшные рубцы у нее на спине потому, что ее там били...

— И еще: после того как она побывала в гестапо, она уже никогда не могла иметь детей: так ее били, — тихо сказал папа и, помолчав, добавил: — Между прочим, наверно, поэтому она так тебя любит.

До конца войны она была в лагере смерти. А с дядей Юрой они были знакомы еще до войны и уже тогда любили друг друга. В действующую армию дядю Юру не взяли из-за зрения и еще каких-то болезней, но он добился того, что стал военным корреспондентом на Балтике, а это было ничуть не хуже передовой. Между прочим, на Балтике дядя Юра и познакомился с папой, который командовал вначале эсминцем, а потом батальоном морской пехоты.

Всю войну Лизанька и Юрий ничего не знали друг о друге, но верили и надеялись, что обязательно встретятся. И вот встретились — оба больные и израненные — и сразу поженились, и очень заботились друг о друге.

— Вот это любовь, — сказал батя и почему-то вздохнул.

Они приехали в Ленинград и стали жить и поживать. Дядя Юра опять начал писать стихи, тетя Люка критиковала его за то, что он стал писать почти все стихи про любовь, как будто нет других важных тем.

— Вот это любовь, — опять сказал папа и опять вздохнул, — а ты еще над ней смеешься, сморчок ты.

И я действительно почувствовал себя сморчком.

...И вот сейчас я ехал к ним проведать Нюрочку.

— Это еще что за явление? — сказала тетя Люка, открыв мне дверь. — Тебя только тут и не хватало!

«Как Нюрочка?» — хотел спросить я, но у меня в горле вдруг как будто застряло что-то, и я только пискнул: «К-и-ик...» — а больше ничего не мог сказать.

— Что «кик», что «кик»?! — сердито сказала тетя Люка. — Почему ты не в школе?

Я что-то забормотал.

— Марш в школу! — сказала она и, когда я повернулся, чтобы уйти, втянула меня за рукав в переднюю и захлопнула дверь.

Из комнаты высунулся дядя Юра.

— А-а... Саня! — сказал он. — А папа уже ушел на работу. Нюрочке легче, а ты почему не в школе? Мне кажется, что у наших довольно сильные шансы на победу в Сеуле, а ты как считаешь?

— Плавание у нас слабовато, — сказал я.

— Ну что ты, что ты! — дядя Юра замахал на меня рукой. — У нас сейчас даже мировые рекордсмены есть.

— Мало еще очень, — сказал я.

— Ты зачем пришел? — закричала тетя Люка. — Ты зачем прогулял школу? Чтобы навестить Нюрочку или обсуждать физкультуру-шмизкультуру? Иди сюда!

Нюрочка лежала на большой тахте, вся обложенная подушками, так что ее почти не было видно, волосы разметались по большой белой подушке, а личико такое маленькое, бледненькое... На стуле около тахты стояла чашка, прикрытая салфеткой, на блюде лежали очищенные дольки апельсина, а рядом восседал любимый Нюрочкин Буратино, нацелив на нее свой длинный нос.

— Саша пришел, — тихонько сказала Нюрочка и улыбнулась. Она выпростала из-под одеяла руку и помахала мне. Тетя Люка как-то странно хлюпнула носом.

— Ты только не очень утомляй ее, — сказала она строго и вышла из комнаты.

Я присел около Нюрочки на тахту, и она взяла меня за руку, а у меня сразу запершило в горле, и я отвернулся. Я, конечно, всегда любил ее, но когда она была дома, как-то мало, в общем-то, замечал: так, повозишься с ней иногда от нечего делать, а если сказать по правде, так она мне часто даже надоедала — она хоть и маленькая, а очень любопытная и бедовая. Нюрочка всюду совала свой нос и ужасно любила мне помогать. За что я ни возьмусь — она тут как тут: уроки ли делаю, или мастерю что-нибудь, или марки разбираю, или посуду мою — она обязательно хочет мне помогать. Помощи от нее ни на грош, больше мешает, а отвязаться трудно, тем более что и мама и папа на ее стороне. Правильно, конечно, нельзя на ребенка злиться, но мне не всегда это удавалось — иногда и подшлепнешь ее слегка. Особенно она мешала, когда ко мне ребята приходили. Вот уж тут-то от нее и совсем, бывало, не избавишься: лезет ко мне на руки и требует, чтобы все занимались только ее особой. Ребятам она, правда, нравится. Оська, например, с ней часами может беседовать, и оба они ужасно хохочут, а Ольга с ней часами может играть в куклы, хотя больше любит гонять с ребятами во дворе. И вот сейчас сижу я с ней, она меня держит за руку и что-то лопочет, а я ругаю себя за то, что плохо к ней относился, и даю себе слово, когда она поправится, относиться к ней гораздо лучше.

— Что ж ты болеешь? — спрашиваю я.

— Я уже сегодня совсем немножко болею, — говорит Нюрочка, — вчера я очень сильно болела, а сегодня совсем чуточку. А когда мама придет?

Вот уж этого я совсем не знаю. Чего-то они в этом году очень долго по гастролям разъезжают, и неизвестно, когда придут, то есть, конечно, известно, но я не знаю, а папа на эту тему говорит не охотно. Я раза два спросил, а он мне оба раза ответил: «Своевременно или несколько позже».

И я перестал спрашивать.

— Скоро, скоро, — говорю я, — скоро мама придет.

И вспоминаю нашу любимую с Нюрочкой песенку:

Скоро праздник — воскресенье:
Мать лепешек напечет.
И помажет, и покажет,
И обратно унесет.

Мы три раза спели эту песенку, и тут вошла тетя Люка.

— Это что еще за художественная самодеятельность! — сказала она. — Хватит, хватит. Она устала. Придешь завтра. Только после школы, а сейчас пойдем — я тебя накормлю.

— Я уже завтракал, спасибо, — сказал я.

— Знаю я, как ты там один завтракал, — рассердилась тетя Люка. — Знаю я эти сибирские пельмени и болгарские голубцы. Идем.

Между прочим, пельмени и голубцы не так уж плохо, — мы всегда с ба-тей питаемся ими, когда остаемся одни. Очень вкусно, а главное, никакой возни. Но сегодня-то я завтракал у Ольги. Я сказал об этом тете Люке.

— У этой мальчишки в юбке? — спросила тетя Люка. — А как ты там оказался?

Я рассказал.

— Хм, — сказала тетя Люка. — Какао ты все-таки выпьешь.

Спорить было бесполезно. Я поцеловал Нюрочку и пошел за тетей Люкой. За какао мы еще поговорили с дядей Юрой о предстоящей олимпиаде, а тетя Люка все время ворчала: «Как эти два безалаберных мужика, — это она имела в виду нас с ба-тей, — живут там одни: голодные, холодные, грязные, они же совсем запаршиветь могут. Не понимаю я Веру — у нее семья и давно надо было бросить этот паршивый театр, эти театры вообще до добра не доведут». Я разговаривал с дядей Юрой и прислушивался к воркотне тети Люки, посмеиваясь про себя. Но вдруг что-то в воркотне ее меня зацепило. Я даже не понял, что именно, но что-то царапнуло меня, и я перестал слушать дядю Юру и начал вспоминать, о чем ворчала тетя Люка, разматывая ее воркотню в обратном порядке. И дошел до одной фразы, которая показалась мне странной. Я не помню эту фразу полностью, помню только, что тетя Люка сказала: «Так ему и надо» и еще упомянула Долинского. Я уже не слышал, что она говорила дальше, и думал: при чем тут Долинский?

— Что Долинский? — неожиданно для себя спросил я.

— Разве я что-нибудь сказала о... Долинском?

— Идиотская привычка думать вслух, — вдруг закричал дядя Юра, — да еще черт знает о чем! Не обращай внимания, Саша. Все это бабья болтовня. — Он вскочил и начал бегать по комнате, дергая себя за усы.

— Что ты, Юра, — растерянно сказала тетя Люка, — я ведь ничего не хотела...

— Не хотела, не хотела! — кричал дядя Юра. — Она не хотела! Понимаешь — не хотела она!

Я ничего не понимал. Я никогда не видел дядю Юру таким — он никогда не кричал на свою тетю Люку, а тут вдруг разбушевался. И ее я никогда не видел такой растерянной и даже испуганной. И все это вызвал лишь один мой вопрос о Долинском. А может, она и не называла его вовсе — мне только послышалось, а я возьми и брякни что-то не так, — со мной это бывает. Я начал их успокаивать:

— Ну что вы, ведь я просто так спросил.

Тетя Люка сразу успокоилась.

Я попросился и ушел, ничего не понимая. Уже на улице я вспомнил, что так и не спросил, чем же больна Нюрочка, и хотел было идти обратно, чтобы спросить, но потом решил, что не стоит: с Нюрочкой вроде бы все в порядке, а там сейчас, наверное, дым коромыслом: дядя Юра и тетя Люка воспитывают друг друга.

Я шел и посвистывал, но что-то все время скреблось у меня внутри: кому

это «так и надо» и при чем здесь все-таки Долинский? Я начал вспоминать Долинского. Он работал с мамой в театре и часто бывал у нас. «Очень, невероятно, безумно талантлив, но несчастлив», — говорили о нем все наши знакомые. Почему он несчастлив, я не знаю. Артист он, по-моему, действительно, очень хороший. Я, правда, не очень разбираюсь еще, но я видел его как-то в «Снежной Королеве» — он там играл сказочника, «снип-снэп-снурре, снурре-базилюре», — мне очень понравилось. И еще я видел «Пятую колонну» — на этот спектакль меня не пустили: «детям до шестнадцати...» — и так далее, сами понимаете, но меня потихоньку пропустила тетя Паша — театральная вахтерша; я забрался на самую верхотуру и оттуда посмотрел весь спектакль. Долинский играл американца-журналиста, а мама — его невесту... нет, не невесту, а возлюбленную... играл он очень здорово, особенно когда он разговаривает с Доротти — это та женщина, которую играла мама. Я не все понял в этой пьесе, но играли они очень хорошо, так что иногда даже плакать хотелось.

Вообще Долинский всегда веселый, очень интересно рассказывает о всяких случаях из своей жизни, а их у него, как говорится, «вагон и маленькая тележка». Говорили, правда, что он много пьет, но у нас он никогда пьяным не был. Один раз как-то я его встретил на набережной, и, по-моему, тогда он был здорово пьяный. Он взял меня под руку, и мы долго ходили с ним по Неве, и он рассказывал мне о том, какая мама у меня хорошая артистка и хороший человек и какой замечательный у меня батя. Мне это было приятно, но я ведь и сам знаю это.

Больше я его пьяным не видал. К нам он всегда приходил веселый и спокойный.

Зимой всегда еще в передней кричал:

— Есть в этом доме чай для старого бродяги? Хорошо бы чайку с морозу.

И мама сразу убегала готовить чай — для Долинского она как-то особенно заваривала его, — мы с папой к чаю довольно равнодушны: папа больше любит черный кофе с лимоном, а мне все равно что пить, лишь бы не молоко. Пока мама готовила чай, Долинский с батей играли в шахматы. Долинский играл неважно и почти всегда проигрывал. Но не огорчался и не стонал, как дядя Юра, а смешно подшучивал над собой. «Такой уж я несчастный уродился: и в игре не везет и в любви не везет», — говорил он и забавно поглядывал на маму. Мама смущалась, а папа смеялся и закуривал свою трубку. А потом мы сидели пить чай, и он начинал что-нибудь рассказывать, и всегда так интересно, что, когда меня гнали спать, я ужасно возмущался, и, если это случалось на самом интересном месте, Долинский говорил, что он мне потом доскажет. И между прочим, всегда досказывал: на следующий день или позже, но обязательно доскажет. А иногда он брал гитару и пел, один или с мамой.

Я очень любил, когда он пел старинные русские романсы и особенно этот: «Нет, не тебя так пылко я люблю». Все сидели задумавшись, и у бати гасла трубка, но он не замечал этого. А потом Долинский вдруг резко ударял по струнам и начинал петь что-нибудь вроде «Прятели, смелей разворачивай парус» из старой картины «Остров сокровищ», или одесскую «На Молдаванке музыка играет», но глаза у него оставались грустными.

Долинского я помню очень давно, пожалуй, с тех пор, как вообще начал себя помнить. И мне он нравится, и называю я его с самого детства так, как называет его мама — просто Долинский, но на «вы». А батя говорил маме:

— Понимаешь, не могу я его как-то на «ты» называть, не получается.

Вот с Ливанским мы, как только познакомились, так сразу на «ты» перешли и даже не заметили оба. Или Федор, например: ведь он намного старше меня и начальник мой к тому же, а я его совершенно уверенно «ты-каю» — и хоть бы что. А вот с Долинским не выходит. Хоть он и моложе. А... может, именно потому, что моложе? А?

— Просто ты его не любишь, — спокойно говорила мама. — Уважаешь, но не любишь.

— С чего ты взяла? — возмущался батя.

— Я знаю, — говорила мама, и тут разговор на эту тему заканчивался, только батя про себя ворчал что-то насчет женской логики.

Вот сейчас я вспоминаю о Долинском и думаю, что мама, кажется, была права. Батя все время будто приглядывался к Долинскому и чересчур внимательно его всегда слушал. А по-моему, к людям, которых любишь, нечего приглядываться: ведь их знаешь, или, по крайней мере, тебе кажется, что ты их знаешь наизусть.

Но мне-то Долинский нравился, и я никак не мог понять, почему меня будто царапнуло, когда тетя Люка упомянула его имя, и почему дядя Юра раскричался на нее. Ломал я себе голову, ломал, а потом, так ни до чего и не додумавшись, плюнул. Что в самом деле, мало ли о чем болтают взрослые, — не все же понимать надо. И так я последнее время что-то чересчур много стал понимать. И я пошел к Пантюхе, — надо же ему все-таки сказать, что его вызывают в милицию. Лучше бы я не ходил!

Не знаю, стоит ли рассказывать об этом, но, наверно, надо. Раз уж я решил рассказать о всей своей жизни, — значит, и об этом надо рассказать.

Когда я позвонил в пантюхинскую квартиру, за дверью раздался Лелькин голос.

— Кто там? — спросила она.

Я ответил и сказал, что мне обязательно и срочно надо видеть Юрку. Дверь приоткрылась, и показалась Лелькина голова в пестрой косыночке.

— А, это ты, Ларйончик, — сказала Лелька и начала улыбаться: она всегда начинает улыбаться, когда видит меня. Вначале увидит, кивнет головой, а потом начинает улыбаться, сперва немножко, а потом все больше и больше — ну прямо рот до ушей. Можно подумать, что она просто до смерти рада меня видеть. А может, я такой смешной, что у нее при виде меня рот расползается до ушей? Не знаю, что она там думает, а только улыбается, и все. И самое глупое, что я тоже, увидев ее улыбку, сам начинаю улыбаться, прямо расплываюсь весь... Вообще-то улыбка у нее хорошая: веселая и немножко хитрая, а зубы белые и один к одному. Но мне-то от этого не легче: я-то чувствую, что сам улыбаюсь по-идиотски, чувствую, а ничего поделать не могу...

Вот высунулась она в дверь и улыбается, а я стою и тоже улыбаюсь. И так мы стоим довольно долго, и я начинаю чувствовать, что у меня уже горят уши и болят щеки от этой дурацкой улыбки. Тогда она говорит:

— Ой, чего это я? Юрик скоро придет: я его в магазин послала за нашатырным спиртом — окна мыть. А ты заходи, Ларйончик, подожди. У меня тут уборка, но ты не стесняйся, проходи, — говорит она и широко открывает дверь.

Я не хотел идти, но потом подумал, что делать мне все равно нечего, а Юрку обязательно надо увидеть, и еще мне вдруг захотелось спросить Лельку, чего это она всегда улыбается, когда на меня смотрит?

И вот я вхожу. Из кухни в переднюю падает широкая яркая солнечная полоса, и видно, как пляшут пылинки. И в этой полосе стоит Лелька, в платочке, в майке и в черных в обтяжку трусиках, а больше на ней ничего нет. Я, наверно, вытаращил глаза, потому что Лелька засмеялась и сказала:

— Ну, чего ты испугался? Что, я страшная такая?

Я уж было подумал, что надо повернуться и уйти, но тут же решил, что это будет невежливо, и потом, я же не видел через дверь, что она чуть не голая: она ведь только голову в косынке высунула, и если она не стесняется, то чего же я буду стесняться. Я нахально иду на кухню, а самому мне делается ужасно жарко. Лелька смеется мне в спину и говорит:

— Ну, если ты такой пугливый, посиди в кухне, а я буду в комнате убирать.

Я встал у окна и уставился в него, как баран, а Лелька взяла ведро и тряпку и ушла в комнату. Я слышал, как она там шлепает мокрой тряпкой и поет всякие попсовые песенки, и злился на себя: в самом деле, что я, девчонок в трусиках не видел, что ли? Видел сколько угодно и на пляже, и на физкультуре, и... ничего особенного. И вообще, что тут особенного, ничего особенного нет... Может быть, на меня это так подействовало, потому что я никогда не видел девчонок в трусиках дома? Да нет, чепуха! Что, они в квартире какие-то другие, что ли? Но вообще в этом деле есть какая-то странная петрушка. Вот на пляже или в парке на травке всякие толстые тетki и даже красивые женщины и молодые девчонки раздеваются при всех, чулки снимают или там колготки, комбинашки — и хоть бы что, как будто так и надо, а попробуйте в комнату зайти, когда там женщина переодевается: такой визг поднимется!.. Я однажды на даче влетел в комнату к Ливанским, когда тетя Люка переодевалась, и увидел



ее в рубашке, так она потом три дня успокоиться не могла и, конечно, вспомнила про арбуз. А между прочим, за час до этого мы были на пляже, и там она при мне, при бате и еще при каких-то знакомых и незнакомых великолепно переодевалась, и ничего, не визжала.

Так я стоял и думал, уставившись в окно, слушал, как Лелька поет и шлепает тряпкой, а сам так и видел ее: как она стояла в передней в полосе света. И я подумал, что это все-таки очень красиво: вот такая стройная девчонка в солнечном свете. Вообще хорошая фигура и у женщины и у мужчины — это ведь в самом деле очень красиво. Раньше я этого не понимал, а вот два года назад произошел случай, из-за которого я и сейчас краснею, когда вспоминаю, какой я был недоразвитый дурак. Краснею и радуюсь, потому что, если бы не тот случай, я бы, может, так дураком и остался.

...У мамы есть много репродукций с картин разных известных художников: итальянских, русских, французских и других. Я еще маленьким любил их рассматривать и всегда расспрашивал у мамы, что какая картина означает, — не то, что там нарисовано, — это я и сам видел, а про что в ней рассказывается. И всегда мама очень интересно рассказывала. И было там много картин, где нарисованы или не совсем, или совсем голые — «обнаженные», как говорила мама, женщины. Я эти картины не очень любил смотреть — не знаю уж почему: не то что стеснялся, а просто неинтересно было. Но вот как-то года два назад — мне еще двенадцати не было — я увидел в уборной на проспекте Горького дурацкий рисунок на стенке. Есть такие дурацкие «художники» — малюют на стенках всякую... всякое... Я и раньше иногда видел такие картинки, но мне было на них наплевать. А тут эта картинка так втемяшилась в голову, что я весь день только о ней и думал. Плевался, а все-таки думал.

И вот вечером черт дернул меня взять у мамы ее репродукции... Рассматривал я их, рассматривал, а потом взял одну картину и испакостил... Не очень, правда, испакостил, но, в общем, поступил как самый настоящий недоразвитый осел. Там была нарисована лежащая обнаженная женщина; я не помню сейчас художника, но картина была очень хорошая, а я взял ее и испакостил: взял карандаш и зачернил... одно место. Черт меня знает, зачем я это сделал? Говорю: осел был... Осел-то осел, а испугался и поскорее эту картину спрятал, да спрятал, как потом оказалось, по-глупому...

А дня через два у мамы был выходной, и, когда я пришел из школы, она мне сказала:

— Переодевайся, пойдем в Эрмитаж: надо тебя приобщать к культуре, а то ты совсем дикий растешь.

В Эрмитаже мама водила меня по всем залам, но останавливалась только у некоторых картин и почему-то чаще всего у тех, где были нарисованы обнаженные люди. Иногда она вначале ничего не говорила, иногда только вздыхала как-то по-особенному — радостно, что ли, как будто встретилась с хорошим другом, а потом объясняла мне, что в какой картине главное и почему это красиво и как правильно смотреть. И я смотрел во все глаза и, кажется, начинал кое-что понимать, и самое главное, что я начинал понимать, каким я был ослом еще два дня назад.

Мы остановились у картины знаменитого голландского художника Рембрандта. Она называется «Даная» и там нарисована лежащая под балдахином женщина. Она лежит на боку и протягивает руку вбок и вверх, как будто ловит что-то. А откуда-то сверху и сзади просвечивает солнечный луч... Эта Даная, по-моему, не очень красивая, но нарисована она так, что

кажется совершенно живой и даже теплой. Когда мы рассматривали эту картину, сзади кто-то вздохнул громко и протяжно. Я обернулся. За нами стоял здоровый дядька в украинской рубашке и в брюках, заправленных в сапоги. У него были маленькие черные глазки и большие седоватые усы, как у одного из запорожцев на картине Репина.

— Цэ женщина! — сказал дядька и опять вздохнул. — Необыкновенной силы женщина!

Мама улыбулась так приветливо и спросила:

— Правда? Вам нравится?

— А то нет? — сказал дядька. Он даже зажмурился и покачал головой. — А скажи, доченька, что это она? Так нежится или какое видение у нее? Уж больно она светится вся...

— Вы правильно поняли, — обрадовалась мама и начала рассказывать про Данаю. Была, значит, такая древнегреческая легенда о том, как самый главный греческий бог Зевс полюбил дочь греческого царя, но так как богу неудобно было запросто встречаться с простыми смертными, то он спустился к Данае в виде золотого дождя. Многие художники так и рисовали: Данаю, а на нее сверху сыплется дождь из золотых монет. Но Рембрандт решил, что монеты это грубо, и вместо золота нарисовал солнечный луч — он ведь тоже золотой по цвету.

— Правильно, — сказал дядька, — при чем тут деньги, колы тут любовь. Ай, умные ции греки!

— Рембрандт — голландец, — сказала мама, — но, в общем, вы правы.

— А зачем он спустился к ней? — спросил я.

— Тю, малый, — засмеялся дядька, — хйба ж не понимаешь?

Мама чуть-чуть покраснела и быстро сказала:

— Ну зачем, ну зачем?.. Ведь он любит ее, ну вот и... пришел.

— Конечно. На свиданку, — подтвердил дядька. — А у них дети были? — Он показал на картину.

— У них родился сын Персей, который стал потом героем и совершил много подвигов... — сказала мама.

— А он, художник этот, — не унимался дядька, — из головы рисовал или срисовывал с кого? Уж больно у него здорово все похоже. Вон, смотри — все... как настоящее, так и хочется погладить...

Мама засмеялась, и я фыркнул тоже. Тогда мама посмотрела на меня и сказала, что я дурачок. Но, честное слово, я засмеялся совсем не потому, что подумал что-нибудь такое. Просто мне нравился этот забавный дядька и то, как он по-хорошему говорил об этом.

Дядька не смеялся, но глаза у него были веселые и хитрущие, а когда мама рассказала, что Рембрандт рисовал Данаю со своей жены, он совсем обрадовался.

— Ишь ты! — сказал он с уважением. — Не побоялся, значит, свою супругу выставить. Ну и правильно: раз красиво, чего стесняться. Вот, скажем, беременная баба многим не нравится. Так то дураки и ни беса не понимают. А я какжу — в беременной женщине самая высокая красота есть. Так я понимаю?

— Очень правильно вы говорите! — сказала мама. — И вы, по-моему, очень хороший человек... — Мама даже растрогалась.

— Хороший-то, хороший, — сказал дядька, и глаза у него опять стали хитрущими, — только свою старуху я в голом виде не выставил бы. Ей-богу, не выставил...

Мама снова засмеялась, потом взяла под руки меня и дядьку и быстро повела в другой зал.

— Пойдемте с нами, — сказала мама, — я вам еще кое-что покажу.

— Ой, спасибо, доченька, — сказал дядька, — а то я среди красоты этой, как в темном лесу.

Мы еще долго ходили по Эрмитажу, и мама все рассказывала и показывала, а дядька все охал и даже стонал, а я хоть и устал, но слушал в оба уха, и мне казалось, что я уже понял что-то такое, что в жизни если не самое главное, то уж наверняка одно из самых главных. А под конец мама повела нас на самый верх — там выставлены французские художники нового времени. То ли я действительно очень устал, то ли не все понимал, но мне там мало что понравилось.

Но вот мама остановилась около одной скульптуры. Дядька тот, как только подошел, схватился за свой запорожский ус и застыл, а я вначале почти и внимания не обратил на эту скульптуру, а потом, когда присмотрелся, мне захотелось на нее смотреть долго-долго, не отрываясь, чтобы запомнить хорошенько, — так это было красиво. Небольшая такая скульптура: юноша сидит, а перед ним на коленях стоит девушка, он склонился к ней, обнимает одной рукой и целует. Лиц их не видно совсем — они как будто слились, и вообще вся скульптура будто бы немного смазана, ничего не отделано до конца, а только вроде бы намечено, и все-таки ты видишь каждый отдельный пальчик, и даже жилки на теле — и те как будто видны, и белый мрамор кажется розоватым и нежным, как живая человеческая кожа. И это так здорово, что у меня даже сердце защемило...

— Это называется «Вечная весна», — тихо сказала мама.

Я посмотрел на дядьку, и мне показалось, что у него на глазах слезы, но он ничего не говорил и потом, когда мы уже шли к выходу, всю дорогу молчал. И только когда мы попрощались, он задумчиво сказал:

— Вот ведь какая штука. Старый я байбак, все в жизни повидал и уж думал, ничем меня, лысого черта, не удивишь. А вот увидел красоту такую и вроде понял получше, какие мы люди на самом деле есть... И ты, хлопчик, примечай...

И ушел. А мы так и не спросили, кто он такой и откуда. Ну, да это, наверно, и неважно.

Домой мы пришли усталые, и мама сразу полезла в ванную — принять душ. А я только прилег на свой диванчик, как меня позвал батя.

— Ну как? Понравилась ценность мировой культуры? — спросил он, а я только кивнул головой в ответ, — говорить у меня не было сил да, честно говоря, и охоты: что-то меня переполняло, а говорить об этом не хотелось. И вот тут-то и случилось самое страшное. Батя полез в ящик стола и достал оттуда ту самую репродукцию, которую я два дня назад испакостил.

— На, порви на мелкие куски и сожги, чтобы она тебе ни о чем не напоминала, — сказал батя. — Впрочем, если хочешь, можешь повесить ее на стенку.

Ну что мне было делать? Я и так презирал себя, как последнего подонка... Я стоял перед ним и рвал на мелкие клочки эту чертову картинку и только сумел спросить:

— А мама знает? — И подумал, что если и мама знает, то я убегу из дома.

— Стану я еще маме всякие гадости показывать, — сказал батя и вытолкнул меня из комнаты. — Ставь чайник и накрывай на стол — будем ужинать.

— Правда, мама не знает? — опять спросил я.

— С каких это пор ты мне не веришь? — сказал папа очень холодно, и мне стало еще стыдней. Я пошел ставить чайник и накрывать на стол, а сам не знал, куда мне деваться. Пить чай я не стал, сказал, что устал и хочу спать. Батя подмигнул мне и спросил, не нужно ли снотворного.

— Я же сказал, что сам хочу спать, — разозлился я. А чего было злиться? Это я, наверное, на себя злился.

Когда я уже лег, зашел батя. Света он не зажигал и так, в темноте, подошел к моему диванчику.

— Слушай, Санька, я в самом деле ничего не говорил маме, — шепотом сказал он. — Я ей только сказал, чтобы она сводила тебя в Эрмитаж: надо же тебя, охламона, эстетически воспитывать. Спи.

Он растрепал мне волосы и ушел, а я еще долго ворочался и прислушивался к голосам, доносившимся из кухни. Голоса были веселые, батя часто смеялся, а один раз я слышал, как он закричал: «Ну, дядька, ай, дядька», и понял, что мама рассказывает ему про нашего забавного спутника. Я немножко успокоился и вскоре все-таки заснул...

Вот какой случай произошел два года назад. С тех пор я уже всерьез начал думать, что понимаю многое совершенно правильно и разбираюсь, что к чему. И все было хорошо до того самого момента, как я устоял в это окно на Пантюхиной кухне. Я стоял и смотрел в окно и ничего там не видел, и вспоминал про Эрмитаж, и думал: а что, собственно, я волнуюсь? Что такое произошло? И я начал уже успокаиваться, думая о том, какой я все-таки еще дурак, как вдруг меня будто что-то толкнуло. Я подумал: может быть, на меня подействовал Лелькин вид не потому, что я никогда не видел девчонок в трусиках именно в квартире, а потому, что мы одни в этой квартире. Вот в чем дело: одни... И как только я подумал об этом, меня сразу опять бросило в жар. Я ругал себя последними словами, но ничего не мог поделать — в висках так и стучало: одни, одни, одни. И ноги будто приросли к полу: чувствую, что надо уйти, и не могу... не хочу, хоть ты лопни. И тут входит Лелька, я слышу, как она возится около крана, и боюсь повернуться, а она вдруг так ласково говорит:

— Лариончик, ты чего в окно устоялся? Там интересное что-нибудь? — И ехидно смеется.

Я быстро поворачиваюсь, надеюсь, что она хоть юбку или халат надела. Ничего подобного: стоит себе в трусиках, подбоченилась и спрашивает:

— Лариончик, хорошая у меня фигурка?

— Ничего... — говорю я и проглатываю слюну, а сам думаю: черт бы тебя побрал с твоей фигуркой. А фигурка у нее в самом деле отличная, тоненькая, стройненькая, но не такая, как у Наташки или Ольги, а как у той девушки из «Вечной весны».

— Правда, ничего? — спрашивает Лелька и вдруг краснеет, — уж очень, я наверно, разглазился на ее ноги. Засмеялась и убежала, а я продолжаю стоять, как обормот, и уши у меня горят, как будто их перцем натерли. Так я стою и думаю: уж скорее бы Юрка пришел в самом деле, хотя прекрасно понимаю, что мог бы подождать его во дворе: выйти сейчас во двор и там подождать — и вся игра, как говорит Юрка. Понимаю, а стою, как будто приклеился задом к подоконнику и никак мне не оторваться, и сердце колотится, как проклятое, прямо как мотоциклетный мотор стучит. А тут опять входит Лелька. Слава тебе, господи, в юбке, кофточке и без косынки, и даже причесаться успела как-то выкрутасисто. Подошла ко мне близко-близко и улыбается своей чертовской улыбочкой,

и я уже начинаю чувствовать, что и сам расплываюсь и сияю, как медный самовар. Прямо гипноз какой-то! А она подходит еще ближе — так, что даже чуть-чуть касается меня своей грудью, и я совсем не знаю, куда мне деваться, и отодвинуться не могу — подоконник не пускает, а если честно говорить, то я и не хочу вовсе отодвигаться.

— Что ты такой красный? — спрашивает Лелька.

— Ж-жарко... — выдавливаю я и стараюсь хоть немножечко отодвинуться, чтобы только не чувствовать ее грудь, прямо вмялся в подоконник, но она придвигается еще ближе.

— А ты хорошенький, Лариончик, — говорит Лелька, и вдруг совсем близко я вижу ее глаза — голубые-голубые, с большущими мохнатыми ресницами.

— Вот ещ-ш-е... — хриплю я.

Ненавижу, когда меня называют хорошеньким, — что я, девчонка, что ли...

— А ты целоваться умеешь? — шепотом спрашивает Лелька, и я ничего не успеваю ответить, как она обхватывает меня за шею и крепко-крепко, так что я чуть не задохнулся, целует прямо в губы...

Потом глянула в окно, ойкнула, схватила меня за руку и потащила в переднюю и там мы еще четыре, нет, пять... нет, кажется, все-таки четыре раза поцеловались. Я ничего не соображал, и в голове у меня клубился какой-то туман, но все-таки я первый услышал, как в двери поворачивался ключ, и отскочил от Лельки. Пришел Пантюха. И вот теперь, когда он наконец появился, я подумал: чего это он так поторопился, не мог еще хотя бы полчасика по магазинам походить.

— Здорóво, — сказал Юрка, — нá тебе твой нашатырь. А ч-чего это вы т-такие к-красные?

Лелька фыркнула и не спеша, какой-то дрыгающей походкой ушла в комнату, а я сразу стал шептать Юрке на ухо, что старшина — Ольгин отец — велел ему сегодня к двенадцати ноль-ноль идти к нему в милицию. Юрка, видно, сразу забыл про то, что мы с Лелькой были красные.

— Вот, ч-черт, — сказал он мрачно, — опять, наверно, Наконечник влип.

— Какой наконечник? — спросил я.

— Ладно, — сказал Юрка, — пошли! Эй, Лелька! — крикнул он. — Я пошел!

Из комнаты донеслось Лелькино пение.

— Какой наконечник? — опять спросил я, когда мы вышли во двор...

— Много будешь знать — скоро состаришься, — сказал Юрка, и до самой милиции мы шли молча, а когда уже подходили, он вдруг спросил:

— Ц-целовались?

Я даже остановился на всем ходу. Я шел и переживал все, что случилось, и состояние у меня было почему-то немного приподнятое, а тут он — как холодной водой облил...

— С к-кем? — заикаясь спросил я.

— С к-кем? — передразнил Пантюха. — С Лелькой.

И когда я было постарался принять возмущенный вид, он сердито сказал:

— Не ври! Насквозь вижу!

И я молча кивнул. Прямо беда какая-то: не умею я врать, хоть ты лопни.

— Сколько? — спросил Пантюха.

— Что сколько?

— С-сколько раз целовались?

Я разозлился — какое это имеет значение? Целовались, и все! И все-таки решил на этот раз соврать.

— Три, — сказал я.

— Врешь! — сказал Пантюха.

— Пять... — уныло сказал я.

— Вот зараза! — сказал Пантюха. — Н-ну, я ей п-покажу! А т-ты тоже хорош — нашел занятие — с девчонками целоваться.

Вот чудак, что же мне — с мальчишками целоваться, что ли? Я, конечно, этого не сказал, а сказал, чтобы Пантюха и не думал ничего «показывать» Лельке, а то ведь я окажусь предателем. И так я уже чувствовал себя кисло оттого, что проговорился, а тут еще он ее воспитывать начнет. Пантюха сказал, чтобы я его не учил. Он пошел в милицию, но в дверях остановился и крикнул, чтобы я его подождал — он еще со мной п-потолкует. Мне не очень улыбалось говорить с Пантюхой, но делать было нечего, и кроме того, мне было интересно, что за дела у него в милиции и что это за таинственный «наконечник».

Пока я его ждал, я умудрился ввязаться еще в одну историю — здорово мне везло сегодня. Неподалеку от милиции рыли какую-то траншею — наверное, меняли канализацию, — и я, чтобы не думать о Лельке, решил посмотреть, как там работают. Вообще я очень люблю смотреть, как люди работают, и особенно когда это у них хорошо получается. Вид у них тогда становится такой гордый и независимый, и чувствуется, что они делают самое главное дело в жизни и им это нравится. Мне даже завидно становится и хочется поскорее вырасти. У нас в районе очень много строят, и я целыми часами могу стоять и смотреть на какой-нибудь кран и веселую отчаянную девчонку в кабинке на верхотуре, или на то, как рычащие самосвалы, подъезжая один за другим, высыпают бетон или гравий, или, как каменщики, перебрасываясь шуточками, ловко и быстро укладывают такие аппетитные кирпичи...

Я пошел к траншее, но, конечно, сразу отделаться от своих мыслей не мог и шел задумавшись, пока вдруг не услышал откуда-то сверху:

— Эй, рахитик, куда лезешь?!

Я поднял голову и увидел здоровенную металлическую лапу с когтями, которая нависла надо мной, — мне даже показалось, что она хочет меня заграбастать. Я не сразу и понял-то, что это экскаваторный ковш.

— Эй! — крикнул я и махнул рукой, как будто мог остановить эту железную лапу. И мне ужасно понравилось, что она и в самом деле остановилась и повисла надо мной совсем неподвижно. Я подумал — вот какой ручной бронтозавр, и тут же получил крепкий подзатыльник. Передо мной стоял очень злой парень — зубы у него так и сверкали — и кричал:

— Ну рахитик, ну рахитик!

Я испугался, но не подал виду и посмотрел на ковш, который остановился сразу, как только я махнул рукой.

— Эх, ты! — сказал парень и дал мне еще подзатыльник. — А если бы я тебя пришиб?

— Не пришиб бы, — засмеялся я. Парень мне понравился, и показалось, что я откуда-то его знаю.

— Ишь ты! — тоже засмеялся парень. — Слушай, а я ведь тебя знаю. Ты Юрки Пантюхина дружок. Верно?

Я кивнул и сразу вспомнил: это был тот самый Лешка, от которого Юрка прятался у меня, тот самый, который хочет жениться на Юркиной мате-

ри. Вот так встреча! Мне сразу стало как-то неловко, как будто я подслушал чужой разговор про очень секретное и такое, о чем никакой посторонний не должен ничего знать. Я отвернулся.

— Слушай, это у тебя тогда Юрка прятался? — спросил парень и, не дождавшись моего ответа, подтвердил: — У тебя, я знаю.

Я промолчал — раз знает, так чего уж тут...

— Слушай, — сказал Лешка, — чего он от меня прячется? Мне с ним, — он провел ребром ладони по горлу, — во как поговорить надо, а он бегаёт от меня, как черт от ладана. Конечно, я могу и без него обойтись — подумаешь, глава семейства, но я хочу, чтобы по-хорошему все было, зачем мне с ним ссориться, если... — он осекся и подозрительно посмотрел на меня. — Слушай, а он тебе что-нибудь говорил?

Ну что тут будешь делать?!

— Нет, — сказал я, — ничего я о ваших делах не знаю.

Сказал, а сам чувствую, что краснею, прямо полыхать весь начинаю.

— Ладно, — усмехнулся Лешка, — это хорошо, что ты врать не умеешь.

Это ему хорошо, а я теперь перед Пантюхой предателем буду себя чувствовать, ладно, если Лешка ему не скажет...

— Слушай, — он положил свою здоровенную ручищу мне на плечо, — ты не волнуйся, — я Юрке ничего не скажу, о чем мы тут с тобой говорили, только ты мне помоги в одном деле, а? Да ты плечами не пожимай — дело-то пустяковое, ты вроде и ни при чем будешь. Ты футбол любишь? Так вот. Я тебе в ящик почтовый завтра опущу два билета на воскресенье: «Зенит» с московским «Динамо» играют. И вы с Юркой приходите, ну и... все.

— С чего это?

— Я там рядышком буду. Уж тут он от меня не уйдет. — Лешка засмеялся. — Не такой Пантюха человек, чтобы с футбола удирать. Только ты ему не говори, что я там буду и что билеты я дал. Лады?

— Мне, конечно, не трудно, только я не понимаю... — сказал я.

— А тебе и понимать нечего, ты сделай, и все. — Он протянул мне руку. — Ну, лады?

И я, думая о том, что совсем не обязательно мне лезть еще и в эту историю, — я, конечно, знал, о чем Лешка хочет говорить с Пантюхой, — все-таки сунул свою руку в его лапищу. До чего же я, в общем, слабохарактерный! Своих мне забот будто не хватает и что я — сват, что ли, чтобы Лешку, которого я совсем не знаю, сватать к Юркиной матери, лезть в чужую жизнь? Но теперь-то, раз я пожал ему руку, — значит, вроде обещал, и тут уж ничего не поделаешь. Только бы Пантюха не догадался, а то — все: он мне этого никогда не простит.

— Лады, значит? — спросил Лешка и полез на свой экскаватор, а оттуда крикнул, что с него приходится, и подмигнул мне.

А когда я уже повернулся, чтобы идти, он вдруг подозвал меня и спросил:

— Слушай, а чего это Юрку в милицию понесло? Опять что-нибудь?

Вот, черт: значит, он нас видел? Нет уж, дудки, уж этого я ему не скажу!

— Насчет паспорта, — быстро соврал я и пошел, чтобы он не заметил, что я опять краснею. Тоже сообразил: «Насчет паспорта!» Пантюхе еще и четырнадцати нет. Я слышал, как Лешка засмеялся, а потом сзади сразу заскрежетал и загрохотал его экскаватор.

Вскоре из милиции вышел Пантюха. Вид у него был мрачный и озабоченный.

— Т-так и знал: опять Наконечник влип, — сказал он и быстро зашагал по направлению к дому. Я побежал за ним, но расспрашивать не стал, хотя было здорово любопытно. Захочет — сам расскажет. Но Юрка не захотел, и так до самого дома мы бежали молча, и только во дворе он остановился и попросил выручить его. Я обрадовался: не так уж часто Пантюха просил его выручить — это чего-то стоило.

— Конечно! — сказал я. — А что?..

— Вот ч-что: если т-тебя старшина спросит, скажи, что в то воскресенье мы с тобой за город ездили, в Павловск, и там весь день проболтались. Часов в девять уехали и часов в восемь вечера приехали и все время вместе были. Ясно?

— А что мы там делали?

— Ври что хочешь, главное, что в Павловске и вместе, — сказал Юрка. — А с Лелькой я п-потолку!

— Юрка! — взмолился я.

Но он ничего не ответил и побежал домой. Я еще немного поторчал во дворе, а потом тоже отправился домой и стал думать обо всем, что случилось. Выходило, прямо скажем, неважно... Нюрочка больна, и Ливанские из-за меня поссорились, школу я прогулял, и Елена Зиновьевна — классная воспитательница — наверняка устроит мне выволочку. Лешке я за чем-то пообещал свести его с Пантюхой, а Пантюхе пообещал наврать старшине, Лельку я предал... ох, уж эта Лелька. Как только я вспомнил о ней, так уж о другом и думать не мог — все казалось мне ерундой, а это...

Часа в два прямо из школы примчалась Ольга. Она расспросила меня о Нюрочке, отругала за то, что я пропустил школу, натрещала целую кучу классных новостей — можно подумать, что я целую вечность не был в школе, — и под конец сообщила, что она сказала Елене Зиновьевне, что я не был в школе по уважительной причине, так как мне надо было ухаживать за больной сестренкой, так как мамы у меня нет и так как папа занят на работе и еще какие-то «так как»... В общем, она хороший товарищ — Ольга, но завтра мне придется врать еще и классной воспитательнице... В результате я наорал на нее и выпроводил за дверь, а потом мучился угрызениями совести, — ведь она мне добра желала...

Потом я немного успокоился. В конце концов ничего такого уж страшного не произошло: Нюрочка, кажется, поправляется, Ливанские и без меня довольно часто воспитывали друг друга, разберутся и на этот раз, а что касается Лешки и Пантюхи, то могу я в самом деле пойти на футбол, тем более что Лешка мне нравится и мне даже жалко его было — вот ведь как страдает человек из-за любви, а Юрка, как феодал какой-то, — заупрямился, и все. А имеет ли он право мешать в таких делах, даже не то что мешать, а, по-моему, и лезть-то в них ему не положено. Ну и что, если он сын? Мать у него еще совсем молодая и красивая, не оставаться же ей монашкой из-за Юркиных капризов. Ведь Лешка, наверное, ее любит, раз так добивается, и может, у них будет самое настоящее счастье, и мне очень захотелось, чтобы у них действительно было это самое настоящее счастье... Ну, а насчет старшины — Ольгиного отца — я подумал, что, может быть, он и не спросит меня, где мы были с Пантюхой в то воскресенье, и уж, во всяком случае, я просто постараюсь ему некоторое время не попадаться на глаза. Так я себя успокаивал, но почему-то не очень-то успокаивался.

Спать я лег до прихода бати — не хотелось ему на глаза попадаться — боялся, что он догадается о том, что у меня не все ладно... Лечь-то я лег, но заснуть не мог долго: все время перед глазами стояла Лелька в солнеч-

ном свете и вспоминалось, как мы с ней целовались... И вспоминать мне об этом было приятно, хотя что-то все время мучило, как будто я сделал нехорошее, стыдное, что ли... Ну, я, конечно, знаю, что сказали бы взрослые, даже самые умные, если бы узнали про это. «Безобразие, — сказали бы они, — надо об учебе думать, а не о поцелуях». И Лельке досталось бы ужасно — гораздо больше, чем мне. Если бы я был старше ее, тогда, конечно, больше попало бы мне, ну, а раз она старше меня, то все шишки посыпались бы на нее. «Вот ведь какая испорченная девчонка!» — говорили бы все, а я бы выглядел этаким жертвой.

А между прочим, это ерунда на постном масле. Если бы я не хотел, я бы не стал с ней целоваться — отпрыкался бы как-нибудь или ушел. А я ведь не ушел и целовался с удовольствием. Значит, я тоже испорченный, так, что ли? Ничего ровным счетом это не значит. Если думать, что все мальчишки и девчонки, которые начинают целоваться, испорченные, то тогда надо создать такие детские монастыри и держать там отдельно мальчишек и девчонку до шестнадцати лет и показывать им только мультипликационные фильмы про репку. А на другой день после того, как им стукнет шестнадцать, они уже смогут смотреть любые фильмы и читать любые книги. Вот как!

Я уверен, что многие взрослые обрадовались бы, если бы такие монастыри были, — им забот по крайней мере меньше, а то думай тут, можно ли, например, давать детям читать «Тома Сойера» — ведь там ребятишки Том и Бекки тоже целуются, а им всего по десять... А как быть с Ромео и Джульеттой — ему тоже, кажется, еще шестнадцать не было, а ей и того меньше? Времена были другие? Правда, другие, только наши-то времена умнее, чем те, так надо, чтобы и взрослые умнее были и не поднимали бы панику чуть что, и не шептались по углам с ужасным видом.

Я, конечно, понимаю, что нам совершенно необязательно знать все-все и совершенно необязательно, чтобы все мальчишки и девчонки начали с десяти лет напрапалую целоваться кто с кем захочет, а все-таки, если бы нам чаще объясняли по-умному, может быть, мы меньше бы глупостей делали.

Вот у Валечки. У него мамаша такая уж воспитанная, что дальше ехать некуда, — я к нему и ходить перестал потому, что там не дом, а институт благородных девиц: не так сел, не так встал, не той рукой вилку взял. А вот когда я как-то позвал Валечку со мной в Эрмитаж — все-таки парень культурный: музыкой занимается, читает много, — так мамаша его поморщилась и сказала: «Рановато».

А, между прочим, этот Валечка такие гадости о девчонках и обо всем говорит, что почти все ребята плюются, а я так просто слушать не могу. И не потому, что я уж такой хороший, а, наверно, потому, что понимаю больше этого «воспитанного» мальчика. А уж если не понимаешь ни черта, так тем более нечего языком трепать.

...В общем, из-за того, что я с Лелькой целовался, я угрызениями совести особенно не мучился, хотя и понимал, что мы с ней не так, как Том Сойер с Бекки целовались. А все-таки что-то в этой истории было для меня не очень приятное. Нет, даже не то, что Юрка узнал про это и, конечно, устроит Лельке скандал. Меня что-то другое все время царапало.

Я долго не мог понять и понял только тогда, когда, уже почти засыпая, подумал о Наташе. Я даже подскочил на диване, и весь сон пропал... Как же я на Наташку теперь смотреть буду? Я даже возненавидел эту проклятую Лельку — вот задала мне задачку для детей среднего возраста! Пони-

маю, что сам виноват не меньше ее, а злюсь на нее как черт, и даже злорадствую: ничего — пусть ей от Пантюхи попадет как следует, так и надо... Но мне-то от этого нисколько не легче: все равно по отношению к Наташе я себя почувствовал таким подлецом, каких свет не видел... Нет, нет, я даже никогда и не говорил ей, что она мне нравится, и никаких слов не давал, а вот чувствую себя подлецом, и все! Нечестно, плохо все это, неправильно... Не имел я права с Лелькой целоваться, если я Наташу... если мне она нравится... Дурак, она же ничего не узнает, успокаивал я себя, но все равно ни капельки не успокоился. Разве в этом дело, что она ничего не узнает? А я-то, я-то сам...

В общем, я заснул только под утро. Батя разбудил меня, и вид у меня, наверно, был такой востропанный, что он спросил:

— С кем это ты всю ночь воевал?

Я только махнул рукой.

— Случилось что-нибудь? — спросил батя за завтраком.

Хорошо, что у меня рот был набит и ничего не пришлось отвечать, — я только промычал что-то вроде «потом расскажу», надеясь, что он или забудет, или я что-нибудь придумаю.

Я шел в школу и все время думал, как я встречу с Наташей, и на душе у меня было очень мутно. Но в школе на первом же уроке случилось такое, что я на время позабыл о своих бедах...

У нас была литература, и, как всегда, все были настроены очень радостно: мы любили этот предмет и учительницу, которая нам его преподавала. Она была совсем молоденькая — только два года назад окончила институт и сразу пришла к нам в школу. Звали ее Марией Ивановной, а мы между собой называли ее Капитанской дочкой.

Когда Капитанская дочка вошла в класс, мы все уже стояли за своими партами и дружно улыбались, но она не улыбнулась, как всегда, а глаза у нее были какие-то встревоженные и грустные. Она положила на стол свой портфель и отошла к окну, ничего не говоря. Она стояла у окна и смотрела на размокший сад, где в кучах осенних листьев суетились нахохленные воробьи. Она стояла так довольно долго, и мы тоже стояли за партами, ничего не понимая... Потом девчонки начали шептаться и кивать на Наташу. Наташа вышла из-за парты, тряхнула своей копной и подошла к Марии Ивановне.

— Мария Ивановна, вы нездоровы? — слегка запинаясь, спросила Наташа. — Мы посидим тихо и что-нибудь прочитаем...

Мария Ивановна, не оборачиваясь, обняла Наташу за плечи, притянула к себе, и они обе постояли и посмотрели на воробьев. Потом Капитанская дочка повернулась к нам, глаза у нее блестели, но она уже улыбалась. Мы сразу сели, только слишком громко стучали крышками парт.

Ольга толкнула меня в бок и, сделав «ответственные» глаза, громким шепотом — тихо она говорить вообще не умела — сказала:

— У нее неприятности. Вот увидишь — это все Конь!

Я кивнул: Коня почти все не любили, неизвестно за что. Никому ничего плохого он не сделал, но вид у него был такой, что только и жди от него какой-нибудь неприятности...

Мария Ивановна уже стояла за своим столом.

— Садись, Наташа, — сказала она. — Да, Оля, у меня большие неприятности, но это не Константин Осипович... — Она помолчала, а потом вста-

ла и задумчиво сказала: — Я хочу вам прочитать одно стихотворение Пушкина. Может, вы знаете его, но все-таки послушайте.

Она опять отошла к окну, а Ольга покраснела, хлопнула кулаком по парте и уставилась в стенку...

А Капитанская дочка начала очень тихо:

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

...Сколько я себя помню — а говорят, что уже лет с трех-четырёх человек начинает помнить себя, — я знаю это стихотворение. Его очень любит батя, и, мне кажется, не очень любит мама. У нее как-то не удалась роль в пьесе о Пушкине. Мама в этой пьесе играла роль Анны Керн, а стихотворение это так и называется «К А. П. Керн». Пушкин был влюблен в нее, но они почему-то расстались.

У нас была пластинка с этим романсом, и мама сердилась, когда отец ставил эту пластинку. Она говорила, что она не чудное мгновенье.

«Ты не мгновенье, — говорил батя, — ты — вечность».

«А ты — рыба!» — почему-то говорила мама и уходила.

Батя снимал пластинку, говорил: «Вот так» — и садился за свой стол, вставив в рот пустую трубку.

Последнее время я давно не слышал этой пластинки...

Ольга так и сидела, уставившись в стенку, а Наташа... Я очень хотел выдержать и не смотреть на нее, когда Капитанская дочка читала стихотворение, но все-таки изредка поглядывал.

В томленьях грусти безнадежной,
В тревогах шумной суеты,
Звучал мне долго голос нежный,
И снились милые черты.

Все сидели какие-то пришибленные и не понимали, что происходит с Машенькой — Капитанской дочкой. Она кончила читать стихотворение и обвела всех глазами.

— Вы сидите тихо, как мыши, — сказала она. — Это хорошо. Не знаю, может быть, не нужно говорить вам, почему мне сегодня очень плохо. Может быть, это непе-да-го-ги-чно говорить вам об этом, но вы сидите, как тихие мыши, и поэтому я вам скажу. Вы... кто-то из вас очень обидел меня...

— Нет! — сказала Ольга. — Не может быть!

— Кто? — спросил Гриша и встал из-за парты.

— А как вас обидели? — пропищала Веснушка.

— Что случилось, Мария Ивановна? — спросил маленький Ося.

Мария Ивановна, наверно, пожалела, что начала говорить об этом. Она долго молчала и поглядывала на нас немного растерянно, но мы кричали, что если уж она начала говорить, то должна сказать все, что это нехорошо — начать, а потом не сказать, что мы будем думать черт знает что, если не узнаем, в чем дело. И тогда она сказала:

— Ну, хорошо, я скажу вам и надеюсь, что вы поймете меня правильно и поступите правильно... — Она помолчала; было видно, что ей трудно было начать, а потом тихо сказала: — Я получила мерзкое письмо... Оно лежало в вашем журнале. Настолько мерзкое, что я не могу вам его прочитать. Оно очень плохое, глупое и... и... грязное... Когда я его читала, мне

стало очень больно и обидно. Не из-за себя, даже не из-за того, что там написано обо мне, — это глупости, а из-за того, что я подумала — все мои труды напрасны: вот учу я вас понимать прекрасные вещи, хочу, чтобы вы по-настоящему ценили и распознавали все красивое, и, видно, все впустую... Я всегда понимала, что вы не маленькие дети и уже не верите в аистов, но я всегда думала, что вы умные и хорошие ребята и что я помогаю вам стать умнее и лучше... А оказывается, среди вас есть еще и другие... Мне за них обидно, мне их даже... жалко — такой человек обворовывает себя в самом прекрасном...

— Нет! Нет! — закричала Ольга. — Мы не такие...

— Я кому-то набью морду, — сказал маленький Ося.

— Тихо! Не орите, — сказал Гришка, — разберемся!

А Наташа встала и опять подошла к Марии Ивановне. А я, как только начали говорить про это письмо, сразу посмотрел на Валечку. Он заметил это и опустил голову. Тогда я вылез из-за парты и пошел к нему. Ребята обернулись и тоже начали смотреть на него. Валечка побледнел. Он встал и пригладил волосы.

— Я не понимаю, — сказал он, улыбаясь, — почему вы все устали на меня? Может быть, это... — и он посмотрел на последнюю парту, где, весь как-то сжавшись, сидел Володька Кныш и исподлобья смотрел на нас. После слов Валечки все, как по команде, повернулись в его сторону. Кныш медленно начал краснеть, а Валечка все так же чуть криво улыбался.

— Ну, гад... — прохрипел Кныш и медленно стал вылезать из-за парты. Потом он, как тигр, одним прыжком ринулся к Валечке и схватил его обеими руками за отвороты куртки. — Ну, гад...

Все выскочили из-за парт — девчонки сгрудились около учительского стола, а мы подошли поближе к Валечке и Кнышу.

— Прекратите! — вдруг властно сказала Капитанская дочка. — По местам!

Никто не сел, тогда Мария Ивановна тихо спросила:

— Вы совсем не уважаете меня? Да?

Мы молча расселись. Валечка поправлял свою курточку и все еще улыбался, но он здорово был испуган. Кныш вышел из класса, хлопнув дверью.

— Верни его, Саша, — сказала мне Капитанская дочка.

Я догнал Володьку уже в вестибюле. Когда я его окликнул, он обернулся ко мне с таким видом, что я даже отпрыгнул от него.

— Если ты, сволочь, скажешь, что я тебе про нее на катке говорил, — тебе «кранты»! Понял?

Я, в общем-то, плевал на Кныша и на его угрозы, но тут мне стало страшно: я вспомнил, что он говорил мне про Капитанскую дочку на катке прошлой зимой. А когда мне становится страшно, я начинаю себя воспитывать.

— Ну, — спросил я, — так это ты?

— Нет, — сказал Кныш. — Но я, но если ты скажешь...

— Почему ты ушел?

— Вы же все думаете на меня...

— Я не думаю.

— Правда?

Я кивнул — я действительно не думал на него сейчас.

— Валечка? — спросил я.

— Не знаю... — Потом он как-то зашипел: — Н-ну, я узн-н-наю. —

И выбежал из вестибюля.

Я догонять его не стал. Урок уже почти кончился, Мария Ивановна рассказывала что-то, но ее, по-моему, никто не слушал. Когда я вошел в класс, Валечка вопросительно и немного испуганно посмотрел на меня. Я сделал вид, что не заметил.

Когда прозвенел звонок, Капитанская дочка, собирая свой портфель, сказала:

— Обещайте мне только, что вы не будете доискиваться. И давайте не вспоминать об этом... Вы хорошие ребята.

Мы промолчали, и она, покачав головой, вышла. В дверях она столкнулась с Евгленой Зеленой — Еленой Зиновьевной, нашей классной воспитательницей.

— Что у вас тут происходило? — спросила Евглена. — Я проходила случайно мимо и слышала такой шум...

Она всегда проходит случайно!

— Ничего, — спокойно сказала Мария Ивановна и ушла.

Евглена покачала головой.

— Ларионов, — сказала она, — принеси, пожалуйста, записку от отца, что у тебя действительно больна сестра и тебе надо за ней ухаживать.

— У меня действительно больна сестра, но мне не нужно за ней ухаживать, — сказал я.

— Значит, прогул? — спросила Евглена.

— Значит, прогул, — сказал я.

Она молча кивнула, как будто ничего другого от меня не ожидала, и вышла, поджав губы.

— Ну и дурак! — закричала Ольга. — Подумаешь — принципиальный. Меня только подвел...

— Он правильно сделал, — сказала Наташа.

— Слишком уж вы все правильные, — сказала Ольга и вышла, хлопнув дверью так же, как Кныш, и мне почему-то стало ее жалко, я даже не обрадовался, что Наташа вступилась за меня. Я-то знал, какой я «правильный».

Уроки в этот день шли ужасно медленно, а перемены пролетали за одну секунду, потому что в каждую перемену мы обсуждали то, что произошло на уроке литературы, пока вдруг Гришка не сказал, хлопнув кулаком по парте:

— Хватит! Она же просила ничего не выяснять. Значит, ей это неприятно. И точка.

Все согласились, хотя и поворчали немного, и только Наташа через некоторое время сказала:

— А по-моему, надо узнать. Можно же ей ничего не говорить, но мы должны знать, что за подлец у нас в классе.

И опять мнения разделились. Я, пожалуй, был согласен с Наташкой, но то, что она сказала, чтобы сделать это тайком от Капитанской дочки, мне не понравилось. Я, правда, этого не сказал — у меня был свой план.

После уроков я сказал Гришке, Осе и Валечке:

— Пошли вместе. Надо поговорить.

Валечка было заныл, что он опоздает в музыкальную школу, но Гришка так посмотрел на него, что он сразу согласился. Я еще не знал толком, что я, собственно, буду говорить, но, когда мы пришли в наш скверик, начал неожиданно для себя.

— Это ты, — сказал я Валечке так, как будто и в самом деле точно знал, что это он написал то письмо.

— Ты что? — закричал Валечка. — Докажи! Докажи!

— Ты, в самом деле, Сашка... того... знаешь что-нибудь, что ли? — спросил Гриша и неодобрительно посмотрел на меня.

— Знаю, — сказал я. — Это он.

Наверно, я сказал это так убежденно, что и Гриша и Ося сразу поверили, а Валечка совсем растерялся. Он залопотал что-то, забормотал и вдруг бросился бежать. Ося было кинулся за ним, но сразу остановился и махнул рукой.

— Не сто́ит, — сказал он. — Рук мара́ть не сто́ит.

Валечка бежал к выходу из скверика, и там навстречу ему вышел Володька Кныш. Он загородил Валечке дорогу, и мы, не сговариваясь, побежали туда. Кныш что-то сказал Валечке, и тот, отшатнувшись от него, повернулся и побежал в нашу сторону, но, увидев, что мы бежим навстречу, остановился. Вид у него был такой загнанный, что, когда мы подбежали к нему, Гриша сказал:

— Беги, мы его задержим.

— Спасибо, — сказал Валечка и так припустил по аллейке, что Оська засмеялся.

Засмеялся и я, но мне было противно, и, когда Кныш подошел к нам, я не стал ни о чем говорить, а взял и ушел. Оглянувшись, я увидел, как все трое, стоя на одном месте, размахивали руками и о чем-то спорили. Я пошел домой, решив обо всем посоветоваться с батей. Я редко прибегал к его помощи. Не потому, что стеснялся или боялся, что он не поймет, а просто всегда помнил, что он может сказать.

«Я, конечно, выслушаю тебя, — говорил батя, — и может быть, что-нибудь посоветую, но имей в виду: грош цена человеку, а тем более мужчине, если он сам не может разобраться в своих делах».

Я ужасно не хотел, чтобы мне, как человеку, а тем более мужчине, была грош цена. Но вот тут мне показалось, что именно такой крайний случай наступил. Как оказалось через несколько дней, я ошибался, — все это были детские игрушки по сравнению с тем, что мне вскоре пришлось испытать. Но я-то тогда еще не знал и решил вечером поговорить с батей.

Он пришел поздно — заходил к Нюрочке; ей стало еще лучше, и батя был довольно спокойный. Совсем спокойным он теперь не был никогда. Мне все время казалось, что его гложет что-то, — уж больно часто он сосал свою трубку. А что с ним, я спросить не решался, — соберусь было, но он как будто сразу догадается и примет такой вид, что у меня отпадает вся охота спрашивать.

— Мне с тобой нужно поговорить, — сказал я бате, когда мы кончили ужинать.

— О чем? — спросил батя, и мне показалось, что он насторожился.

— Да так, кое о каких своих делах.

— Назрела необходимость?

— Ага.

— Ну, давай.

Батя сел за свой стол, а я принялся ходить по комнате и все не знал, с чего начать.

— А ты начни с чего-нибудь попроще. Но вообще-то имей в виду, что грош цена человеку, а особенно мужчине, который...

И так далее и тому подобное.

Я пропустил мимо ушей эту его знаменитую фразу и вдруг спросил:

— Батя, а тебе сколько лет было, когда ты начал с девчонками целоваться? — и схватился за голову — о чем это я, вот осел: хотел же совсем о другом говорить, и вдруг — на тебе! Видно, здорово засела мне в голову эта Лелька...

Батя крикнул и внимательно посмотрел на меня. Хорошо еще, что он не засмеялся, — если бы он даже только улыбнулся, я бы, наверно, провалился сквозь землю.

— Ну, рассказывай, — сказал он.

И я, красный как вареный рак, заикаясь на каждом слове, рассказал ему про Лельку.

— Эт-то... очень плохо? — отдуваясь, спросил я под конец.

Вопрос, конечно, дурацкий, но что-то мне надо было спросить, иначе зачем бы я рассказывал. Батя сидел, отвернувшись от меня, опершись лбом на руку, и шея у него была красной.

«Вот, даже смотреть на меня не хочет», — подумал я и еще раз обозвал себя ослом.

Наконец он повернулся ко мне: вид у него был очень серьезный, но лицо как-то странно кривилось — как будто он хотел чихнуть, но никак не мог.

— Вообще-то, — сказал он, — о таких вещах не очень принято рассказывать. Я, например, никогда и никому не рассказывал о таких вещах, но раз уж ты... хмм... удостоил меня своим доверием... — Он встал из-за стола и тоже начал ходить по комнате — ...Раз уж ты рассказал, то... Послушай, а... ну, она тебе... нравится, что ли?

Я замотал головой.

— Не понимаю, — сказал батя и рассердился. — Да ты не финти. Нравится — так и скажи.

— Нет, — сказал я, — то есть... нравится, но...

— Ага, понимаю, — сказал батя. — Тогда это плохо. Свсем не обязательно лезть со своими поцелуями к человеку, который тебе нравится. Но...

— Не буду я с ней больше целоваться... — пробурчал я.

— Почему? — спросил батя и засмеялся. — Это ведь, наверно, весьма... приятно?

— Приятно, приятно! — заорал я. — Я к тебе как к человеку, а ты мне мораль читаешь, да еще издеваешься... Конечно, приятно... Будто не знаешь?!

— Ты не сердись, — сказал батя. — Ты от меня совета ждешь, а я, пожалуй, тебе тут никакого совета дать не могу. Поступай так, как тебе подскажет разум и... сердце... Парень ты неглупый, и сердце у тебя, по моему, тоже есть.

— Спасибо, — буркнул я.

Тут уж он разозлился всерьез.

— А ты что хочешь, чтобы я тебе рецепты на все случаи жизни давал? — сказал он сердито. — Не дожدهшься! Но раз уж случилось — что ж, теперь всю жизнь и слюнявить это дело? Не по-мужски это. Единственно, что я могу тебе сказать: в любой, даже самой сложной ситуации надо быть прежде всего человеком, а не скотом.

Он помолчал, а потом, как-то хитро прищурившись, спросил:

— Слушай, а как же ты теперь с Наташей-то?..

Вот черт! Откуда он знает? И как это он догадался, что меня волнует больше всего именно это?

— Ну, уж это мое дело, — гордо сказал я.



— Вот это правильно! — почему-то довольный, сказал батя. — Значит, с этим вопросом все? Тогда спать!

— Спать, — сказал я и вздохнул с облегчением.

Я пошел спать и, когда уже разделся, подумал, что хотел-то я с отцом посоветоваться, что нам делать с письмом, которое получила Капитанская дочка от кого-то из нас, а скорее всего — от Валечки. Вот тут-то батя помог бы больше — в таких делах взрослые лучше нас разбираются, хотя иногда тоже путают здорово. Мне не хотелось идти: опять скажет — сам разбейся, но я подумал, что тут уж не только мое личное дело, а всего класса, и надо же посоветоваться с умным человеком, а то мы еще сгоряча таких дров наломаем...

Отец лежал и читал «Анну Каренину». Я влез к нему с ногами на тахту и сказал:

— Бать, я ведь с тобой совсем о другом хотел говорить, а это так... сам не знаю, почему вырвалось.

— Значит, наболело, — сказал батя. — Слушай-ка, а я ведь тебе на твой вопрос так и не ответил. Я ведь тоже с девчонками целовался, — сказал он шепотом, и мы с ним начали хохотать.

— Ну и жук ты, батя, — сквозь смех сказал я.

— Конечно жук, — сказал он гордо, — а как же! Ну, так что у тебя еще?

Мне стало как-то совсем легко и просто, и я спокойно рассказал батю все, что случилось сегодня в классе, не сказал только о своих подозрениях. Батя слушал очень внимательно, иногда только морщился и неодобрительно покачивал головой.

— Гадость какая, — сказал он, когда я кончил. — Ну, а что в том письме? Хотя откуда тебе знать.

Я и действительно ничего не знал, но кое о чем мог догадываться — тут мне Кныш помог... Я рассказал батю о том, что прошлой зимой говорил мне на катке Володька Кныш. А он сказал, что Капитанская дочка «спуталась» с преподавателем физики, а у того жена и двое маленьких детей. А она, эта... — Кныш назвал ее тогда коротким нехорошим словом — прилипла к физику, как пиявка, и отбивает его от семьи. Я не поверил Володьке и сказал, что, если он будет трепаться об этом кому-нибудь еще, пусть лучше не приходит в школу — я ему житья не дам. Может быть, об этом и было в том проклятом письме.

— Что значит «спуталась»? — спросил батя.

Я почувствовал, что краснею, и пробурчал что-то невразумительное, вроде «ну, что ты — маленький, сам не понимаешь».

— Я-то понимаю, — сказал батя, — а вот вы, сопляки, что вы-то понимаете в этом?

— Ну, если ты хочешь ругаться... — сказал я и начал слезать с тахты.

— Сиди, — сердито сказал отец, — ишь какой гордый... Ты пойми, дело это такое тонкое, деликатное — в него чужим сапогом лезть никак нельзя, а тем более вам, сосункам. Да не ершишься ты! Нечего вам даже и думать об этом — не вашего ума...

— Ну да, сосунки, сопляки, не вашего ума... Спасибо. Разъяснил, — сказал я и опять начал слезать с тахты.

Батя засмеялся, но меня не удерживал. Он только вдруг как-то очень грустно сказал:

— Всякое в жизни бывает, Сашка... всякое. Ну, а вы-то как о своей Капитанской дочке думаете?

— Она хорошая, и все это наверняка враки, — убежденно сказал я.

— Ну, раз так, значит, об этом деле надо забыть, как будто ничего и не было. И виду даже не показывать, что вы что-то слышали.

— Да я ведь не об этом. Это ясно. А вот что нам с этим гадом, который письмо написал, делать?

— Ну, уж это вы сами думайте. Не маленькие. — И он взялся за книжку.

...В школе на следующий день о том, что было, никто не вспоминал, как будто действительно ничего и не было. А когда на одной из перемен что-то об этом запищала Веснушка, на нее так цыкнули, что она чуть не расплакалась. Все-таки хорошие у нас ребята: я уверен, что все еще переживали вчерашнее, но никто даже виду не подал. Кныша, между прочим, в школе не было, а Валечка держался как ни в чем не бывало — понимал, гад, что у меня никаких доказательств нет! Ну, я-то все равно его на чистую воду выведу. И скажу об этом Гришке и Оське, и тогда...

В этот день ничего особенного не произошло, только Ольга разговаривала со мной очень сухо, можно сказать, совсем почти не разговаривала. Ну да ничего — помиримся, она такая — долго сердиться не умеет. На Наташу я старался не смотреть, потому что, когда смотрел, сразу вспоминал Лельку и мне становилось как-то не по себе. В общем, в школе все было как в самый обычный день — никаких происшествий. Капитанскую дочку мы видели только мельком — в одну из перемен она быстро-быстро пробежала мимо нас — мы все стояли в своем излюбленном месте у большого окна в коридоре. Мы хором сказали: «Здравствуйте, Мария Ивановна!», она покивала нам довольно весело и пробежала.

Была суббота, и когда я пришел домой, то в почтовом ящике заметил что-то белое. Я было обрадовался: подумал, что это письмо от мамы, но это оказались билеты на футбол, и я вспомнил про Лешку и его просьбу, — я о ней и забыл совсем. Не хотелось мне ввязываться в это дело, но раз обещал — ничего не поделаешь...

Пантюха согласился охотно, и в воскресенье мы поехали с ним на футбол. Всю дорогу меня мучили угрызения совести, да вдобавок я еще и побивался: кто его знает, как встретит он Лешку и что подумает про меня... Но когда мы приехали на стадион, я почти успокоился — погода была очень хорошей, народу было очень много и, как всегда, было весело, и все волновались — выиграет «Зенит» или нет, а ему очень надо было выиграть, иначе над ним нависла, как сказал диктор, «реальная угроза» вылететь из высшей лиги. Из-за этих волнений я перестал переживать за Лешку, а когда мы сели на места и начался матч, а Лешки не оказалось рядом на свободном месте и мы начали орать и подбадривать наш несчастный невезучий «Зенит», я совсем забыл обо всем... Пантюха орал и свистел так, что соседи даже шарахались, но не сердились. Между прочим, я очень люблю бывать здесь: все как будто становятся друзьями, и даже мальчишки разговаривают и спорят со взрослыми, как с равными, а если соседи и поругаются между собой из-за каких-нибудь футбольных тонкостей, то все равно в перерыве вместе идут есть и уходят со стадиона друзьями... Так мы орал и свистели, забыв обо всем, и я очень удивился, когда после одного особенно удалого свиста рядом раздался знакомый голос:

— Вот это да! Вот это — соловьи-разбойники!

Я быстро повернулся и увидел Лешку — пришел все-таки, чтоб его! Лешка подмигнул мне и продолжал восхищаться Пантюхиным свистом. Тогда Пантюха тоже повернулся и сразу как будто проглотил свой свист. Он молча встал и начал протискиваться к выходу. Я растерялся, а Лешка сокрушенно развел руками. Мы догнали Юрку, когда он уже почти спустился по главной лестнице. Вот ведь упрямый черт, ну взял да пересел куда-нибудь, так нет, он совсем уходит и на футбол наплевал...

Мы с Лешкой шли за ним и не решались окликнуть — такой у него был вид. Мы только переглядывались и уныло разводили руками.

Вдруг Пантюха остановился. На меня он даже и не посмотрел, а Лешке очень спокойно сказал:

— Ч-черт с вами, женитесь, если вам приспичило. Т-только, как т-ты к нам придешь, я сразу из дому уйду. П-понял?

— Юрка, ну, Юрка, — застонал Лешка, — ну зачем же ты так?

Но Юрка уже не слышал, он быстро бежал вниз по лестнице, а Лешка остался стоять, и вид у него был такой убитый, что мне стало его жалко. Вот ведь, такой здоровый, веселый и, видно, не трусливый парень, а ничего с таким шкетом поделаться не может! Наверно, Юрка в чем-то прав, а с правым человеком очень трудно бороться. Я еще раз развел руками, Лешка печально покачал головой, и я побежал за Пантюхой. Бежал мелкой рысью и боялся, что он мне не простит. Поэтому, даже когда догнал его, некоторое время шел за его спиной, затаив дыхание, чтобы он не слышал. А он вдруг остановился и с ходу повернулся ко мне. Глаза у него были какие-то бешеные, и он прошипел сквозь зубы:

— Т-ты ч-чего за мной беж-жишь? М-может, тож-же ж-жениться х-хочешь? На Лельке?

Я застыл как вкопанный, только плюнул со злости — вот осел упрямый! Юрка повернулся и уже не побежал, а пошел спокойненько своей знамени-

той походочкой — ручки в брючки, кепка на носу и ногами как будто пыль подметает. «Ну и черт с тобой!» — подумал я и пошел обратно к стадиону: хоть матч досмотрю. Конечно, меня не пустили обратно и я разозлился как собака. В довершение ко всему у меня не оказалось денег на транспорт: мы с Юркой купили мороженого и у меня ничего не осталось, — он сказал, что заплатит за автобус. И вот... Проклиная Юрку на чем свет стоит, я пешком поплелся домой. Почти через весь город. Ругал я и себя. Во-первых, за то, что ввязался в это дело, а во-вторых, за то, что не умею ездить зайцем. Не боюсь, а просто не умею — всегда обязательно попадаюсь и потом выслушиваю длинные морали, а вот уж этого я совсем не люблю и даже, если говорить правду, боюсь, как огня. Родители у меня в этом отношении молодцы: нотаций мне никогда не читают, а скажут что-нибудь коротко, но так, что потом несколько дней подряд у тебя такое ощущение, что ты объелся чем-то кисло-горьким.

Тащился я, тащился пешком и от нечего делать перебирал в памяти все последние события и вот к какому выводу пришел: что мне больше всех надо, что ли? Чего это я за всех переживаю: и за Капитанскую дочку, и за Лешку, и за Пантюху?.. У меня и своих переживаний хватает, мне и в своих делах надо разобраться как следует. И решил с сегодняшнего дня переживать только за себя, а для этого, как любит говорить дядя Юра Ливанский, когда ссорится с тетей Люкой, «надо поставить все точки над «и». Я начал ставить эти самые «точки» и решил, что мне обязательно надо поговорить с Наташкой или написать ей письмо.

Так дальше продолжаться не может, сказал я себе. Надо быть честным и решительным и, если ты ее лю... если она тебе нравится, то надо об этом сказать, а про Лельку забыть, — это «досадная ошибка молодости», как говорил, кажется, д'Артаньян, а может быть, Атос. И совсем не обязательно про эти ошибки все рассказывать. И еще я сказал себе, что надо взяться за ум, а то я порядочно подзапустил школьные дела и почти забыл про спортивную школу. Надо с этим кончать, сказал я себе, и мне стало легче. Но потом я подумал о том, что же может ответить мне Наташка, и пришел к выводу, что ничего хорошего она мне может и не сказать, — во-первых, она строгая и серьезная, а во-вторых, что-то я не очень замечал, что она относится ко мне как-нибудь по-особенному. Ну что ж, решил я, тогда я буду вести себя, как Печорин, — гордо и загадочно, займусь основательно спортом и установлю какой-нибудь рекорд и стану учиться так, что меня наверняка возьмут в космонавты. И вот я возвращаюсь из космического полета на Марс и меня встречает правительство и награждает всеми, какие есть, орденами, и все приветствуют, а на Наташку я даже и не смотрю, и тут подходит ко мне Ольга, и мы... Тут я засмеялся — уж очень детские мысли приходят мне в голову: совсем как у Тома Сойера; не хватало мне еще по мечтать о том, как я, совершив подвиг, умру и тогда Наташка поймет, кого она потеряла... и поцелует меня в холодный лоб...

Я опять засмеялся и пошел быстрее, а чтобы не было скучно, начал читать подряд все театральные и другие афиши и уже недалеко от дома увидел афишу маминого театра, в которой говорилось об открытии сезона с первого октября. Я уже изрядно соскучился по маме и очень обрадовался, что скоро она будет дома. Я уже говорил, что мы часто оставались вдвоем с батей, но тогда было как-то по-другому. А сейчас мы с батей здорово волновались, хотя и не показывали виду. Батя был не совсем такой, как обычно, что-то его мучило — это я хорошо видел; может быть, какие-нибудь неприятности на работе, а может быть, и другое, но он был не очень спокой-

ный, и иногда, когда он приходил поздно, от него пахло вином, а раньше это бывало очень редко.

В общем, я обрадовался и помчался скорее домой сказать эту новость папе, но его дома не было. Я подогрел себе голубцы, поел и лег отдохнуть, и не заметил, как заснул. Проснулся я уже вечером, и батя уже был дома, и опять от него пахло вином.

Я сказал ему, что видел афишу об открытии сезона в мамином театре.

— Хорошо, — не глядя на меня, сказал он и ушел к себе в комнату и уже оттуда спросил: — С какого числа?

— С первого октября! — крикнул я и запнулся. Как же так — с первого октября? Ведь сегодня уже двадцать пятое сентября, — значит, театр давно должен быть здесь, они всегда приезжают дней за пятнадцать — двадцать до открытия сезона, подумал я. Ведь им надо же подготовиться, порепетировать, не могут же они начинать сезон сразу после гастролей, с бухты-барахты — так не бывает, они уже давно приехали, но почему же тогда нет мамы? А может, не с первого октября, наверное, я ошибся.

Ни слова не говоря, я побежал на улицу, еще раз посмотрел афишу. На ней большими красными буквами было написано: «Открытие сезона 1-го октября».

«Ну и что? — подумал я. — Наверное, они там загастролировались и не успели вовремя приехать. Ничего особенного. Очень может быть...»

Я уже шел домой и повернулся посмотреть на часы на углу проспекта. Десять. Может быть, я еще застаю кого-нибудь в театре, если они, конечно, приехали. Я быстро вскочил в трамвай.

В вестибюле было темно, и у меня отлегло от сердца. Но почти сразу я сообразил, что сезон-то ведь еще не открылся, — значит, и не должен гореть свет в вестибюле, и я тихонько пошел к артистическому подъезду. В проходной было светло, там сидела тетя Паша — вахтерша — и, как всегда, что-то вязала.

— Что тебе, мальчик? — спросила тетя Паша.

Я почему-то молчал. Она сердито посмотрела на меня и узнала.

— Санечка! — запела она ласково. — Здравствуй, Санечка. — И вдруг уронила свое вязанье, и вид у нее стал какой-то растерянный и такой, как будто она собиралась заплакать. Я испугался. В коридорах за проходной я слышал голоса и смех и понял, что все уже приехали, и, когда тетя Паша так посмотрела на меня, я испугался, еще сам не зная чего.

— Уже приехали? — спросил я наконец.

— Кто приехал? — спросила тетя Паша. — Ах, артисты-то... Приехали.

— А... когда? — спросил я, еще на что-то надеясь.

— Что когда, что когда? — вдруг рассердилась тетя Паша. — Приехали, и все.

Я хотел спросить, где же мама, но не успел. В проходную вышли Вася Снежков и Милочка Пыльникова — они часто бывали у нас, и я их хорошо знал.

— Привет, старый флибустьер! — закричал Вася. — Ты что здесь делаешь?

— Здравствуй, Саша, — сказала Милочка и потянула Васю за рукав в сторону.

Она что-то тихо говорила ему почти в самое ухо, привстав на цыпочки, а он исподлобья поглядывал на меня, и вид у него становился все озабоченней. Он тихонько кивал головой и все время посматривал на меня, а когда

замечал, что я это вижу, сразу отворачивался. Я, конечно, сразу понял, что они говорят обо мне, и ужасно разозлился: тоже мне тайны мадридского двора! Почему не сказать правду, если что-нибудь случилось... Если что-нибудь случилось... У меня, наверно, изменилось лицо, потому что Вася, взглянув на меня, вдруг быстро отошел от Милочки.

— Ты сейчас домой, Саня? — спросил он.

Я кивнул.

— Ну пойдем. Нам с тобой по пути, — сказал Вася и помахал рукой Милочке.

— Я тоже пойду, — сердито сказала Милочка.

Вася пожал плечами, и мы все вышли из проходной.

— До свиданья, Санечка, — пропела тетя Паша, когда мы выходили.

Мы шли молча, и я все время не решался спросить о самом главном. Все время хотел и не решался. Боялся. Мы уже подходили к трамвайной остановке, когда Вася вдруг каким-то чересчур веселым голосом спросил:

— А мама еще не приехала?

Я даже остановился от неожиданности, а Милочка сердито закашляла.

— Ну что ты задаешь дурацкие вопросы, — сказала она. — Она же еще... ездит с концертной бригадой.

— Ах да! — обрадованно закричал Вася. — Совсем забыл, понимаешь... Склероз, старик, склероз. Вот именно — с концертной бригадой... Ну, садись, старик, твой трамвай, а мы с Милочкой еще прошвырнемся...

Я ничего не понимал. Что-то уж больно странно они разговаривали, и тетя Паша как-то жалобно на меня смотрела... Что они морчат мне голову?

Я приехал домой и сразу зашел к папе. Он спал... или притворялся, что спит, — так мне во всяком случае показалось, но я не стал его беспокоить. Действительно, чего это я ударился в панику. Сказали же мне, что мама еще ездит с бригадой, ну и нечего волноваться. Но все же мне что-то не давало покоя. Почему же она не написала ничего, а если написала, то почему мне батя ничего не сказал? Я думал, думал и так ни до чего не додумался и, чтобы переключиться, стал думать о другом. Я стал думать о Наташке и о том, что решил поставить точки над «и». Потом я тихонько взял у бати в комнате пишущую машинку и в один присест напечатал Наташе письмо. И когда я печатал его, у меня все время вертелись слова: «И я любил, как сорок тысяч братьев любить не могут»... Они прицепились ко мне с тех пор, как в начале учебного года я посмотрел кинокартину «Гамлет». Их говорил Гамлет, когда рассказывал, как он любил свою Офелию. «Как сорок тысяч братьев»... Я понимаю, конечно, что такая любовь вряд ли бывает на свете, но уж больно это здорово сказано, — наверно, каждый, кто любит по-настоящему, так и должен говорить о своей любви. Я-то, конечно, писал вовсе не так — даже не помню толком, что я писал и, между прочим, не понимаю — чего это взбрело мне в голову писать на машинке — для солидности, что ли? Только когда напечатал — сообразил: просто я трусил и думал, что если напечатаю на машинке и подпишусь одной буквой, то кто надо поймет, а я-то, если что, смогу всегда отказаться. Перечитывать письмо я не стал: боялся, что если прочитаю, то совсем струшу. Я сложил его в несколько раз, написал на чистой стороне: «Наташе» — и лег спать.

Не знаю, почему я не отдал письмо на следующий день. Я куда-то засунул его и перед собой делал вид, что не могу найти. А еще на другой день Евглена Зеленая, поставив мне очередную двойку, сказала:

— Теперь я понимаю, почему он последнее время получает двойки: ему некогда. Он пишет письма. Никаноров, ты, как староста, и ты, Оля Богомолова, как председатель совета отряда, — учтите: Ларионов плохо учится потому, что сочиняет письма...

И она достала из своей папки и прочитала вслух напечатанное на машинке письмо.

Надо было быть дураком, чтобы думать, что машинка и одна буква подпisi спасут меня. Все было очень ясно. И Мария Ивановна и Пушкин тут ни при чем. Рано или поздно я все равно написал бы это письмо. Как только оно попало к Евглене?

Она прочитала его с выражением, я бы так не прочел. Потом она сказала:

— Я не скажу имя той девочки, которой написано это послание. Она хорошая девочка и ни в чем не виновата. Но тебе, Ларионов, должно быть стыдно. Я, как классный руководитель, долго думала, что тебе мешает учиться. Оказывается, глупости... — Она говорила еще что-то очень долго, я не слышал. Я стоял и думал, как это письмо попало к ней, и боялся посмотреть по сторонам. Я слышал, как шептались девчонки, как хихикал Валечка, и видел около своей правой руки Олину голову, вернее, ее затылок, — она очень низко наклонилась над партией.

Потом я вдруг услышал голос Елены Зиновьевны:

— Наташа, а ты почему встала?

Я посмотрел налево и увидел, что Наташа стоит за своей партией и вид у нее очень строгий и какой-то гордый. Наташа ничего не ответила, а я сказал:

— Ну и что? — У меня поползли мурашки по позвоночнику, и я крикнул: — Ну и что? Я люблю ее, да, люблю...

Мне было очень плохо, но я как-то видел и слышал все сразу. Я слышал, как заржал Витка Соловьев, и видел, как Кныш дал ему по шее. Я видел, как встал Гриша, и видел, что лицо у него покрылось красными пятнами, я слышал, как маленький Оська, вертясь на своем месте, шептал: «Ну, что это, ну, что это»... И все время я видел Наташу — она стояла очень прямо и ничего не говорила. Я собрал портфель и вышел из класса. Уходя, я слышал какой-то гул и голоса.

— Вы не имеете права! — кричала Оля. По-моему, она даже плакала. — Вас, наверное, никто не любил никогда...

— Вы злая! — пищала Веснушка.

— Замолчите! Глупые дети! — говорила Евглена, но ее, наверно, никто не слушал.

— Это нечестно! — Это я услышал Гришкин голос.

Я шел по аллее, потом присел на скамейку и сидел долго, и тут ко мне подсел маленький Ося.

— Я больше к ней на уроки не пойду, — сказал Ося, потом закричал: — Но ты-то, идиот, разве можно забывать такие письма!..

— Уйди, Оська, — сказал я.

...Около парадной стояла Наташа.

— «Я помню чу-удное мгновенье...» — кривляясь, пропел я.

— Я очень уважаю тебя, Саша, — сказала Наташа. — Я хочу поговорить с тобой.

— Нет! — сказал я.

— Нет! — закричал я, взлетая по лестнице.

— Нет! — заорал я, захлопывая за собой дверь.

Я сидел в ванной и ругал себя последними словами. Ведь я же мог сказать, что это не мое письмо. Знать не знаю, ведать не ведаю, как оно ко мне попало! Мог я так сказать? Мог! Так какого черта... Нет, видите ли, ему понадобилось признаться в любви, да еще перед всем классом, да еще перед этой... классной в о с п и т а т е л ь н и ц е й... В любви, видите ли, он признался вслух, при всех, когда об этом и про себя-то шепотом думать надо. Герой, Дон-Жуан, Гамлет, Ромео, Том Сойер, осел, дурак, сопляк и еще раз сопляк... Так и надо, и пусть все смеются, пусть обхохочутся все, ха-ха-ха — влюбился, пусть хихикают, так и надо, и в школу не пойду — пропади она пропадом, уеду на стройку — туда в самый раз от несчастной любви ехать...

Но ведь никто же не смеялся, наоборот... верно, верно — никто же не смеялся, а совсем наоборот — что-то кричали и ругали Евглену... И... Наташка не смеялась, а наоборот... Что она хотела мне сказать? Я же обидел ее, дурак. Что я перед ней-то ломался, как копеечный пряник? Она-то тут при чем, если я в нее влюбился и всем растрепал. «Я помню чу-у-дное мгновение»... Куда же мне деваться теперь, и кому я там на стройке нужен? Нет, свинья ты этакая, ты пойдешь в школу и будешь там как миленький сидеть все шесть уроков, и восемнадцать уроков, если надо, будешь сидеть, и ничего с тобой не сделается, свинья ты этакая, и будешь краснеть, и смотреть всем в глаза будешь, и перед Наташкой извинишься и скажешь ей все-все, и какая ты свинья, тоже скажешь. Уехать захотел, смыться захотел, — как бы не так, еще и пятерки у Евглены получать будешь как миленький... И все равно я знал, что в школу ни завтра, ни послезавтра, ни послепослезавтра не пойду. Я вдруг захотел есть и удивился: он еще есть хочет после всего, что случилось? Ну и ну! Как пробка бесчувственная — есть захотел!

Я вылез из ванной, и тут раздался звонок. Я тихонечко, на цыпочках подкрался к двери и прислушался. Там сначала было тихо, а потом я услышал Оськин и Гришкин голоса — они тихо переругивались. Я не открыл, и они через некоторое время ушли. Я пошел в кухню и из-за занавески видел, как они шли по двору и всегда спокойный Гришка размахивал руками. Они ушли, а я все еще стоял и поглядывал в окошко и думал, что я вдобавок еще и трус... Потом я увидел, как по двору шла Ольга. Она шла как-то неуверенно, опустив голову, и иногда останавливалась. Шла она к нашей парадной, но, не доходя нескольких шагов, остановилась, постояла немного, а потом повернулась и пошла к себе. Я вздохнул с облегчением, но мне почему-то стало обидно, что она так вот взяла и ушла. И еще я сразу подумал: «Скажите пожалуйста, он еще обижается», — и разозлился на себя. А когда я здорово злюсь на себя, мне иногда приходят в голову разумные решения. Я надел тренировочный костюм и решил поехать в спортивную школу, — сегодня как раз был день занятий.

Я помчался по лестнице и на втором этаже, у Пантюхиной квартиры, увидел Лельку, — она что-то искала в сумочке — наверно, ключ. Я хотел промчаться мимо — только ее мне и не хватало сейчас, но она поймала меня за рукав и начала улыбаться. Ну, конечно же, и я тоже начал улыбаться. Мне плакать хочется, а я стою и улыбаюсь, как какой-то жизнерадостный рахитик... А дальше все пошло совсем уж по-дурацки. Лелька, улыбаясь, пожаловалась мне, что не то забыла, не то потеряла ключ от квартиры, а дома никого нет и ей очень хочется есть, а денег нет ни копейки и домой не попасть. И я, улыбаясь, сказал ей, что у меня дома есть пельмени и если она хочет... Хоть бы отказалась, думал я, но хитро так думал, а она не отказалась, а только спросила, нет ли у меня кого-нибудь дома, а то

она стесняется. Я сказал, что никого нет, и мы, улыбаясь, поднялись ко мне и... сразу в передней начали целоваться. Ага, что бы вы думали — именно целоваться... У меня в башке невероятный сумбур, и я ни о чем не хочу думать, и целуемся мы так, что у меня замирает сердце и останавливается дыхание.

Потом Лелька варила пельмени, а я сидел и пялил на нее глаза и думал: вот будет номер, если сейчас зайвится батя, — он иногда приходит очень рано... Что же я такое, в конце концов?.. Это я уже, правда, потом начал думать, когда все-таки поехал в спортивную школу, а тогда я думал только о том, как буду выкручиваться, если придет батя.

Мы быстренько поели пельмени, а потом вышли вместе с Лелькой и на прощанье еще несколько раз поцеловались. У своей двери Лелька как ни в чем не бывало достала из сумочки ключ и подмигнула мне. Я стоял открыв рот, а она вдруг перестала улыбаться и сказала, вздыхая, что она большая дура, и ушла, а я медленно начал спускаться по лестнице и думал о том, какая сложная штука — жизнь, и о том, что же я в конце концов из себя представляю и зачем я нужен этой Лельке... И конечно же, ни до чего не додумался.

На стадионе, получив выговор за то, что пропускал занятия и даже сейчас опоздал, я стал прыгать и бегать, как зверь, так что тренер даже удивился. Он всегда говорил, что из меня мог бы выйти толк, если бы я старался и не жалел себя, и тут он увидел, что я стараюсь до того, что у меня язык висит чуть ли не через плечо, и удивился, а рыжий Витька сказал, что я подлизываюсь и замаливаю грехи, и тренер сказал, что, наверно, это так и есть, иначе непонятно, какая меня муха укусила... Но я-то знал, какая это муха, и бегал и прыгал до седьмого пота, а потом дольше всех мылся под душем и пускал ледяную воду, так что рыжий Витька с визгом выскочил из моей кабинки и заорал, что Брумель из меня все равно не выйдет. Мне на это было наплевать.

Я оделся и пошел домой — несколько остановок пешком. Еле взобрался по лестнице и сразу же завалился спать, радуясь, что бати еще нет дома. И заснул как убитый, успев только вспомнить, что мне однажды сказал батя. Он сказал, что все это в порядке вещей, что так и должно быть — возраст такой, но надо об этом поменьше думать и, чтобы в голову, особенно ночью, не лезли всякие такие мысли, лучше всего основательно заняться физкультурой. Вот я и занялся физкультурой и заснул как убитый, несмотря на все мои переживания.

Утром у меня болит все тело, но эта боль хорошая. Бати уже нет, — от него только записка, чтобы я обязательно навестил вечером Нюрочку.

Я быстренько делаю зарядку, принимаю холодный душ, завтракаю, делаю себе пару бутербродов, прячу портфель в ящик стола и выскакиваю во двор. Выходя со двора, я вижу, как к нашей парадной решительным шагом направляется Ольга. Гнусно хихикая, я догоняю трамвай, вскакиваю в него и еду в «цыпочку» — ЦПКиО. Там у меня на лодочной станции работает знакомый парень. Он дает мне лодку, и я разъезжаю по прудам и каналам, на дне которых уже толстым слоем лежат опавшие листья. Осеннее солнце сегодня даже немного припекает, и я гребу, гребу и раздумываю над своим житем-бытьем, но раздумываю как-то лениво, перескакивая с одной мысли на другую. Знаю, что надо принимать какое-то решение, но ничего у меня не принимается. На душе, в общем-то, довольно муторно, но плеск воды и ровное движение лодки немного успокаивают, и я гребу тихонько и даже мурлыкаю про себя нашу с батей любимую:

И в беде, и в радости, и в горе
Только чуточку прищурь глаза,
В флибустьерском дальнем синем море
Бригантина поднимает паруса.

Словом, постепенно я начал приходить к выводу, что ничего особенно страшного не произошло и мне совершенно незачем было пропускать школу, — наоборот, надо было пойти и держать себя гордо и независимо. В самом деле, что я такого сделал? Ну, написал письмо девчонке, которая мне нравится, — так ведь я знаю ребят, которые чуть ли не с первого класса пишут девчонкам письма, я даже помню, как во втором классе маленькая белобрысеньякая девчонка — косички у нее еще так смешно торчали — написала мне: «Саша, я тебя люблю!!» — и я был ужасно горд, и ведь ничего страшного не произошло.

Конечно, седьмой класс — это не второй, тут дела посерьезней, но что же делать, если мне Наташка действительно очень нравится? Молчать и переживать? Так я молчал и переживал, а когда невмоготу стало молчать, взял и написал. Я ведь ничего плохого не писал, а когда писал, ничего плохого не думал, а думал только хорошее. И ведь это не мешало мне, например, в прошлом году учиться неплохо и быть вполне нормальным парнем, наоборот, хоть об этом говорить как-то смешно (во всяком случае, я знаю ребят, которые над этим бы посмеялись, — ну и дураки) — наоборот, мне даже хотелось стать лучше.

Так что ж тут плохого — я же не виноват, что есть такие взрослые, вроде нашей Евглены, которым мерещится всегда бог знает что. Мне-то ведь ничего не мерещится, а просто это хорошо, когда есть человек, о котором ты думаешь, которого тебе хочется видеть и разговаривать с ним, и быть ему самым-самым хорошим другом, и защищать его от всяких неприятностей. Ну, тут таким человеком оказалась девчонка, и все. Хотя, пожалуй, нет — тут все-таки дело другое. В самом деле, разве я стал бы, например, Оське или Гришке писать, что я их люблю, или Пантюхе? Ха-ха! Не то что писать, а и говорить-то я им этого не стал бы — со света бы сжили!

Тут, конечно, другое, и я это великолепно понимаю. Просто я сам знаю, для чего пытаюсь себе внушить, что это одно... почти одно и то же. В общем, нечего придуриваться — прекрасно я понимаю, что к чему. И тут мне в голову ни с того ни с сего полезла Лелька. И вдруг на месте Лельки я вижу Наташу, и мне почему-то становится жутко — я даже перестаю грести и долго сижу с опущенными веслами... Нет! Не могу я себе этого представить. Не могу, и все! Вот тут уж и в самом деле что-то совсем другое и, может быть, не очень... хорошее, и с этим надо развязаться поскорее — так я думаю и чувствую, что где-то в глубине ползает мыслишка: «А зачем развязываться?..»

И, запутавшись совершенно, я начинаю грести так, что уже через десять минут становлюсь мокрым, какмышь, но гребу еще долго, пока сердце не начинает колотиться, как бешеное, и весла чуть не вываливаются из рук. Великая вещь физкультура, и... завтра я пойду в школу гордый и неприступный, как Печорин, и пусть Евглена хоть сбесится, а на ее уроках всем назло буду смотреть только на Наташку — просто буду пялить на нее глаза весь урок — и буду получать одни пятерки.

С такими мыслями я еду домой и во дворе вижу Наташку. Она сидит на скамейке прямо напротив нашей парадной и делает вид, что читает.

Живет она совсем на другой улице. Я хорошо знаю ее дом, потому что

часто хожу мимо него и поглядываю на окна ее квартиры. Иногда я даже вижу ее в окне, и тогда я останавливаюсь и смотрю, как она ходит по комнате, или причесывается, или еще что-то делает. Я смотрю, и мне делается грустно и легко, и... «печаль моя светла, печаль моя полна тобою». Вот как здорово сказал Пушкин, и я хорошо понимаю это, когда смотрю на Наташины окна.

И вот она сейчас под моими окнами сидит на скамеечке и делает вид, что читает. Раньше она никогда не бывала в нашем дворе. С Ольгой она не дружит, а больше из девчонок нашего класса здесь никто не живет, так что ей ходить сюда вроде бы не к чему. Я стою в подворотне и гадаю, к кому же она все-таки пришла, хотя великолепно знаю, что она ждет меня. Сердце у меня замирает, и я не знаю, что мне делать, и думаю, что я трус, и хочу проскочить мимо нее, чтобы она ничего не заметила, и хочу вот так просто подойти к ней и сказать: «Здравствуй, Наташа», и сесть рядом с ней, и... сам не знаю, что я еще хочу. Стою и трюшу. И злюсь. А потом все-таки иду к скамейке. Какой-то идиотской стильной походкой. И насвистываю. И сердце у меня замирает и замирает.

— Приветик, — говорю я, подходя к скамейке. — Ты что тут делаешь?

— Это ты, Саша? — говорит она, ничуть не удивившись, и встает, и вид у нее при этом какой-то... торжественный.

— Нет, это не я, — говорю я и глупо смеюсь, — это моя тень.

— А я жду тебя, — говорит Наташа торжественно.

— Вот я и пришел, — тоже торжественно говорю я, но она не обращает на мой тон никакого внимания и вообще, мне кажется, даже смотрит куда-то сквозь меня, такой у нее торжественный вид.

— Нам надо поговорить, — это она говорит еще торжественней, и мне, хоть я и волнуюсь, почему-то делается немного смешно.

— Надо, — говорю я также, — надо поставить точки над «и».

— Да, ты прав, — говорит Наташа.

— Сядем, — говорю я.

— Нет, пойдем, — говорит она, и мы молча идем на нашу школьную аллею и там садимся на скамейку и сидим на самом краешке, потому что смешно говорить о серьезных вещах развалившись, чуть не лежа. А на краешке тоже сидеть не очень удобно — жестковато, но я стараюсь не обращать на это внимания и жду, что мне скажет Наташа. И сердце у меня по-прежнему замирает и совсем уж катится куда-то, когда она берет меня за руку. Рука у нее тоненькая и прохладная...

Она начинает говорить, а я не сразу понимаю, что она говорит, — в голове у меня вертятся обрывки каких-то стихов, и я думаю, что мне обязательно надо сказать ей, что я ее... люблю... именно с к а з а т ь, потому что того письма как бы и не было, раз все о нем знают. А потом до меня начинают доходить ее слова.

— Я тебя очень уважаю, Саша, — говорит она все так же торжественно. — Ты очень хороший, и честный, и смелый...

Я становлюсь гордым, как индюк, и начинаю другой рукой слегка поглаживать Наташину руку, а она продолжает:

— Да, смелый и умеешь отстаивать свои убеждения, как тогда в классе, и я считаю, что ты молодец, что не отказался от того письма. Ты поступил по-настоящему, и я тебя уважаю за это. Но ты несерьезный.

И дальше она очень рассудительно начинает говорить, что нам еще мало лет, чтобы думать о любви, что нам надо думать об учебе, и что, конечно, мы можем дружить и она очень хочет со мной дружить, но надо, чтобы я

стал серьезнее, и что про любовь в таком возрасте сочиняют только писатели, которые не знают жизни, и что... словом, все в таком же роде. Она говорит и говорит, а я потихонечку отпускаю ее руку, и она даже не замечает этого, а я начинаю чувствовать, как неудобно сидеть на краешке этой скамейки, и постепенно разваливаюсь с полным удобством и думаю, что вот сейчас она скажет, что мне надо больше заниматься физкультурой.

— По-моему, тебе надо записаться в какой-нибудь кружок, чтобы как можно больше времени было занято, — говорит она и смотрит на меня вопрошающе.

— И заняться физкультурой, — говорю я.

Она кивает и чуточку краснеет. Ага, наверно, и ей говорили о физкультуре. Сердце у меня уже не замирает. Но мне довольно-таки плохо. Вот и все, думаю я. Из литературы я знаю, что, когда не любят, всегда предлагают дружбу, и от этого мне становится невесело. А на что ты, собственно, рассчитывал? А не знаю, на что я рассчитывал. На все, что угодно, только не на то, что мне предложат... заниматься в кружке...

Она говорит еще что-то, но я уже не слушаю, и у меня такое ощущение, что это говорит не Наташа, моя одноклассница, а по крайней мере ее... бабушка. Так все правильно, и так все не так. А как должно быть — я и не знаю. И все равно я ее люблю. Пусть она что угодно говорит, — а я люблю! Она, наверно, заметила, что у меня изменилось настроение, и замолчала. Потом наклонилась ко мне и спросила:

— Ты на меня не сердись, Саша?

Она спросила это совсем не торжественно, а как-то очень по-хорошему, и это меня немножко успокоило. Я покачал головой.

— Ну, вот и хорошо, — сказала она и встала. — Так мы будем дружить, Саша?

Я тоже встал.

— Конечно, — сказал я весело. — Ты мне очень здорово все объяснила...

Она покраснела. Я подумал, что она обиделась, но она покраснела от того, что ей в голову пришла потрясающая мысль.

— Можно, — слегка запинаясь, сказала она, — я тебя... поцелую?

Я обалдел, а она подошла ко мне, обняла одной рукой за шею и поцеловала... в щеку, не обращая внимания на прохожих.

Ишь ведь какая храбрая! Губы у нее были холодные и твердые, и она только прикоснулась ими к моей щеке, а я... я сразу вспомнил Лельку.

Потом я проводил ее до автобусной остановки, и по дороге мы говорили о школе, о ребятах, поругали Евглену, и Наташа была очень довольна, как будто выполнила какой-то очень серьезный долг, а я думал, какая она... правильная.

И когда пришел домой, то по лестнице промчался мимо Пантюхиной квартиры на второй космической скорости и долго не мог отдышаться...

А вскоре пришла Ольга. Я было хотел сделать вид, что меня нет дома, но быстро передумал. Чего мне бояться, подумал я и смело открыл Ольге дверь.

— Ты трус, — сказала Ольга сразу, как только вошла, — и, пожалуйста, не ври, что ты был у Нюрочки или еще что-нибудь. Я знаю, почему ты не пришел в школу, и перестала тебя уважать. Вчера я тебя уважала, а сегодня не уважаю... Ты трус.

Что я ей мог возразить? Я действительно хотел соврать насчет Нюрочки — прямо мысли прочитала, а что я трус — так она ведь права, чего

уж там, я только себе не признавался и все какие-то объяснения придумывал... Ага, и она об уважении! Ну, ладно!

— Не лезь не в свое дело, — сказал я, — ты вообще слишком много на себя берешь, а сама ничего не понимаешь. И не нуждаюсь я в твоём уважении — подумаешь.

— Я думала, что ты настоящий человек, и уважала тебя. Ты вчера, когда Евглена прочла... письмо, был настоящим человеком, и я тебя... уважала. Я думала...

— А-а-а! Ты думала! — заорал я. — Ты думала! Мне плевать на то, что ты думала! Я и сам не знаю, какой я человек! Настоящий или не настоящий! А вы только настоящих уважаете? Ну и катитесь себе колбаской по Малой Спасской. Друзья называется! Только воспитывать и умеете! Чихал я на таких друзей!

Я орал, а сам мысленно хватался за голову — дурак, осел, чего я ору, но меня уже занесло, и я никак не мог остановиться и остановился только тогда, когда Ольга вдруг тихо спросила:

— Ты очень переживаешь, да?

Я хотел опять заорать, что это не ее дело, но Ольга так смотрела на меня, что крик застрял у меня где-то в горле, и я только молча кивнул.

— Завтра я приду в школу, — сказал я, помолчав.

— Правильно, — сказала Ольга. — Вот тебе домашнее задание. Учти — завтра зоология.

— Учту, — сказал я.

Ольга ушла, и я яростно принялся зубрить устройство лягушки и вызубрил до того, что эта проклятушая лягушка мне потом снилась всю ночь. Вызубрив лягушку и решив задачки по алгебре, я поехал к Ливанским и там пробыл до самого вечера. Нюрочке стало еще лучше, и я играл с ней и читал ей разные забавные книжки.

Тетя Люка была очень ласковой — я ее такой видел очень редко, а Кедр изредка заходил к нам с Нюрочкой, но ничего не говорил, а только вздыхал как-то неопределенно.

Нюрочка опять спрашивала меня, когда же приедет мама, и я не знал, что ей ответить, и что-то придумывал, а потом решил спросить у Ливанских — может быть, они что-нибудь знают. С тех пор как я увидел афишу, а потом съездил в театр, мне казалось, что от меня что-то скрывают. У бати я спросить не мог, потому что эти дни его почти не видел, а потом все эти штуки, которые со мной приключились за последние дни, так забили мне голову, что афиша отошла на задний план, — я все говорил себе, что надо, надо наконец выяснить, в чем тут дело, но все время забывал — так здорово была забита голова.

Я пошел к Ливанскому в кабинет. Он что-то выстукивал на пишущей машинке.

— Дядя Юра, вы не знаете, когда мама приедет? — спросил я и рассказал ему про афишу.

Дядя Юра подергал себя за усы, покосился на меня и позвал тетю Люку.

— Вот, Лиза, — сказал он, — мальчик хочет знать, когда приедет его мама.

При этом он даже не то что сердито, а даже зло посмотрел на нее. Я удивился — никогда Ливанский не смотрел так на свою Лизу, даже когда они ссорились, и то он так не смотрел. А тетя Люка испугалась — это я видел совершенно точно. Она здорово испугалась и сказала жалобным голосом:

— Ну вот, откуда же я знаю, когда она приедет... Она и нам ничего не пишет. Когда у них кончатся эти гастроли — бог их знает...

Она смотрела в сторону.

— Гастроли кончились, — сказал я.

— А она не приехала? — спросила тетя Люка каким-то противным голосом.

Я повернулся и вышел, не попрощавшись даже с Нюрочкой. Я спускался по лестнице и услышал, как наверху открылась дверь и тетя Люка закричала:

— Саша, Саша, боже мой, ну куда же ты?

Я молчал и услышал, как на площадку выскочил дядя Юра.

— Иди домой, — сказал он. — Мальчишка прав, а мы старые слюнявые идиоты.

Дверь захлопнулась. Ладно. Не хотите — не надо. Не такой уж я сопляк и все узнаю сам. Вот сейчас приду домой и поговорю с отцом как мужчина с женщиной. И не смейте мне врать — мне не три года, и я тоже человек. Все Лельки, Наташи, Евглены, Пантюхи, письма, свадьбы и экскаваторы вылетели у меня из башки. Осталась только лягушка, которую я вызубрил и которую не забуду, наверно, до самой смерти, и мама, с которой что-то случилось, — это теперь я знал наверняка. С ней что-то случилось, и мне не хотят об этом говорить, а только врут.

Я приехал домой около одиннадцати, но бати дома еще не было. Злой и расстроенный, я позвонил Федору — Федору Алексеевичу. Я знаю, когда бате плохо, он идет к Федору, а сейчас ему плохо — это я тоже понял.

— Федор Алексеевич, это Саша говорит, — сказал я, когда он взял трубку. — Папа не у вас?

— Какой Саша? — спросил хриплый голос. — Ах, Саша! Ну, как ты там живешь? Как отметочки?

Очень интересовали его мои отметочки! И этот врет.

— Папа у вас?

— Папа? Х-м-м...

— Да, папа, Николай Николаевич Ларионов, — сказал я, начиная злиться.

— Ну, у меня твой папа, — прохрипел Федор. — Да ты не волнуйся — никуда он не денется.

— Попросите его к телефону, пожалуйста.

— К телефону?

— К телефону, — повторил я спокойно, хотя у меня аж скулы сводило от злости и от обиды.

— К телефону, значит... Видишь ли... Х-м-м...

Что он там хмыкает, что он хмыкает? Я не выдержал и заорал в трубку:

— Что вы меня дурачите! Если он у вас, так и скажите, а хмыкать нечего!

Ужасно грубо, конечно, тем более что я очень уважал Федора, но что я мог сделать, когда все меня дурачат.

— Ты как со мной разговариваешь, паскудник! — захрипел Федор. — Я тебе кто! Ровесник? Или, может быть, подчиненный?

Ругаться он умел — это я знал. Я повесил трубку. Через минуту телефон зазвонил.

— Ты что, издеваться надо мной вздумал?

— Это вы надо мной издеваетесь, — сказал я, чуть не плача и злясь на себя за это.

Федор, видимо, почувствовал, что довел меня до ручки.

— Ну, ладно, ладно, — прохрипел он уже мягче. — Через час будет твой драгоценный батюка дома. Разнюнился — тоже мне моряк — грудь в волосах, зад в ракушках.

Я засмеялся невольно — уж скажет этот Федор.

— Вот то-то, — сказал он и повесил трубку.

Я расхаживал по комнате и готовил речь, которую произнесу, как только появится батя. Я его спрошу, между прочим, почему он не мог сам дойти к телефону, и скажу «пару ласковых слов». Но «пары ласковых слов» мне не пришлось ему сказать — он бы все равно их не понял. Под окном еще фыркала машина Федора, когда я кое-как раздел батю и уложил спать, а он все бормотал: «Ах, Сашка, ах, Сашка, что ты п-понимаешь», — и улыбался какой-то бессмысленной улыбкой. Сердце у меня щемило от этой улыбки. Большой, здоровый, сильный, а тут... как тряпка какая-то мокрая. Только этого мне еще не хватало...

Он спал и тяжело вздыхал во сне, а я думал, что же мне делать. Думал, думал и додумался позвонить Семену Савельевичу Карбовскому — это главный режиссер маминого театра. Уж он-то наверняка знает, почему не приехала мама.

Карбовский долго мялся и тоже крутил вокруг да около: «Видишь ли, Саша, знаешь ли, Саша, театральная жизнь — это такая жизнь, всякое бывает, но ты не расстраивайся...» И еще плел какую-то муть. Мне стало совсем тошно, и тогда я в упор спросил, что случилось с моей матерью.

Он немного помолчал, а потом осторожно сказал:

— Видишь ли, я думал, что ты все уже знаешь... — и опять замолчал.

— Что знаю? — закричал я, но в трубке раздались короткие гудки. Я повесил трубку и позвонил снова — там опять гудело коротко. И еще раз, и еще, и еще — и все противные короткие гудки...

Я понял, что он просто не хочет со мной разговаривать. Трус подлый! И я трус! Все трусы...

...Проснулся я на своем диванчике одетый — как заснул, и не помню. Бати не было — ушел и не разбудил даже. Стыдно, наверно, стало. Я пошел в школу. Стиснул зубы и пошел. Лучше бы не ходил, но теперь уже ничего не поправишь. Я избил Валечку. Избил так, что его на «скорой помощи» увезли в больницу, а меня с милиционером отправили домой, а милиционер из дому звонил отцу на работу, чтобы он немедленно приехал, а потом сидел на кухне и ждал, когда он придет...

А началось с ерунды. Я немного опоздал, и, когда попросил разрешения войти, Евглена (первый урок был зоология) против ожидания ничего не сказала и только молча кивнула — проходи. Ребята посмотрели на меня, но как обычно, как будто ничего и не случилось, и я даже порадовался. Только Веснушка пялила на меня глаза восторженно, а Наташа низко опустила голову над партой. Я шел по проходу на свое место и вдруг услышал громкий Валечкин шепот:

— Как Чайльд Гарольд — угрюмый, томный...

Я молча сел на свое место, и сразу же Евглена вызвала меня. Эту чертову лягушку я ответил так, что Евглена удивленно на меня посмотрела и поставила пятерку. Она что-то хотела сказать еще, но, видно, передумала, и правильно сделала. Я шел на место и опять услышал, как Валечка довольно громко сказал:

— Несмотря на тяжелые переживания, он вел себя как герой.

— Дурак! — громко сказала Ольга. — Дурак и сволочь!

Кныш — он сидел сзади — дал Валечке по затылку. Евглена сделала вид, что ничего не заметила. Я промолчал, а когда прозвенел звонок, сказал Валечке, чтобы он остался в классе. Валечка пожал плечами. Все вышли, и он тоже пошел к выходу. Я загородил ему дорогу.

— Подожди, — сказал я.

— Пожалуйста, — сказал он и опять пожал плечами.

Около нас остановился Гришка.

— Иди, Гриша, — сказал я.

— Ладно, — сказал он. — Только...

Я кивнул. Гриша вышел, и мы остались с Валечкой одни.

— Слушай, ты, — сказал я, — меня не очень-то задевают твои шуточки, я знаю за тобой дела и почище, например...

— Например? — спросил Валечка.

— Например, то письмо, которое ты написал Капитанской дочке. Валечка свистнул.

— Во-первых, — сказал он, — ты ничего не можешь доказать, а вторых, не понимаю, почему это ты так защищаешь эту... эту... Но, но! Ты руками не размахивай...

— Продолжай, — сказал я спокойно, хотя мне очень хотелось тут же дать ему по улыбающейся харе.

— Продолжу. Вчера вечером я опять видел ее с физиком, — сказал он, и я окончательно понял, что письмо — действительно его рук дело.

— Ну и что? — спросил я.

— А то, что нечего тебе ее защищать.

И тогда я дал ему по морде. Честно говоря, мне не очень улыбалось бить его. Хотелось, но не улыбалось, — я знал, что этот подлец сумеет выкрутиться и во всем окажусь виноватым я. Ведь не могу же я сказать учителям, за что я бил его, и все решат, что именно за то, что он надо мной издевался в классе, а это совсем, как считают наши педагоги и кое-кто из ребят — Наташа, например, не повод, чтобы устраивать драки, да еще в школе. И все-таки я ударил его, не очень сильно, но ударил, и он схватился за щеку. Морда у него перекосилась, но он не заплакал и даже не попробовал дать мне сдачи. Он только заскочил за учительский стол и оттуда вдруг начал мне улыбаться. Мне надо было повернуться и уйти, может быть, на этом дело и кончилось бы, но уж очень разозлила меня его улыбка.

— Чего лыбишься? — спросил я по-пантюхиному.

Валечка заулыбался еще шире.

— А я ведь знаю, — сказал он, — почему ты за нее заступаешься...

Я думал, что он скажет — потому что сам, дескать... влюблен, но он сказал совсем другое... Совсем другое. Он сказал, что я заступаюсь за Капитанскую дочку, потому что у меня мать такая же... шлюха, как Капитанская дочка. Вот что он сказал. До меня не сразу дошло, я подумал, что ослышался. Мне даже стало стыдно за него, я даже пожалел его, понимаете — пожалел. Вот думаю, черт возьми, какой обидчивый, ударил-то ведь я его не сильно, а он так обиделся и расстроился, что возьми и брякни такое... ни с чем несообразное.

— Что ты, Валька? — спросил я. — Совсем сдурел? Что тебе всюду мерещится?..

— Мерещится? — сказал Валечка. — Мерещится? Весь дом знает, что твоя мамаша с артистом сбежала и вас бросила, а он будто и не знает ничего. Дурак ты, идеалист. Все они, бабы, такие, а ты — драться.

Он сказал это довольно спокойно, и поэтому я сразу подумал, что это правда. А дальше я уже плохо помню, что было. Сквозь туман какой-то. Помню только, что я бил его кулаками, а когда он упал, бил его ногами, и он стонал, и плакал, а потом перестал стонать, а я все бил и бил, пока меня не вытащили в коридор и кругом были какие-то лица и кто-то что-то кричал, а меня тащили по коридору и втащили в какую-то комнату, кажется, учительскую, и бросили на диван, и опять кто-то кричал, и все мне что-то говорили, а Капитанская дочка стояла у окна бледная-бледная, потом я почувствовал, что у меня по спине течет что-то холодное и лицо и волосы все мокрые, — это, наверно, меня облили водой, а потом мне дали что-то выпить, от чего у меня остался вкус мяты во рту, и помню, как директор долго разговаривал с милиционером, который почему-то здесь оказался, и милиционер повел меня на улицу, а на улице стояла «скорая помощь», и какая-то женщина кричала: «Бандит, бандит!» — и плакала, а в «скорую помощь» всовывали носилки, и на них кто-то лежал, а милиционер крепко держал меня за руку, и мы пришли с ним домой, и он начал звонить бате, чтобы тот как можно скорее приехал, и батя приехал и разговаривал с милиционером, а со мной разговаривать не стал, а дал мне какую-то таблетку и уложил на диван, и я уснул, а когда проснулся, ужасно болела голова, а батя сидел у меня в ногах и сосал пустую трубку.

Он сидел согнувшись, и руки его лежали на коленях, большие и усталые. Я посмотрел на него и сразу вспомнил, что сказал мне вчера Валечка. Что я бил его — это я вспомнил потом, а вначале вспомнил, что он сказал мне, и мысли у меня заскакали в разные стороны. Это не может быть правдой, подумал я, но тут же подумал, что нет — это правда, и что же тогда нам делать, если это правда? И все мои собственные дела, и беды, и переживания показались мне такой ерундой по сравнению с тем, что случилось. Я почти и не вспомнил о них — так, промелькнули где-то далеко-далеко и сразу исчезли, а в голове все время вертелось: «Почему, почему, почему?..» И как мы будем теперь жить?

— Проснулся? — спросил батя. Он спросил это спокойно, но я знал, чего стоило ему это спокойствие. Он встал, сунул трубку в карман и сказал: — Ну и здоров ты спать. Вставай, прими душ — и будем завтракать. Хотя, пожалуй, обедать — три часа.

Сутки, целые сутки спал, подумал я. Три часа, а батя не на работе, хотя сегодня не выходной. Значит, все очень серьезно, так серьезно, что я, наверно, себе и не представляю.

За завтраком или за обедом — уж не знаю — мы молчали, и у меня внутри все дрожало, и кусок не лез в горло, и мысли скакали, и скакали какие-то разорванные и запутанные. Потом, не сговариваясь, мы пошли в его комнату, и он, как всегда, сел за свой стол, а я подошел к окну.

— Ну, рассказывай, — сказал он, и у меня от отчаяния перехватило горло. Что я ему мог рассказать?! Еще вчера я злился на него за то, что он скрывает от меня что-то, и хотел сказать ему «пару ласковых слов». А какие «ласковые» слова я ему скажу сегодня, какие? Повторить, что мне сказал Валечка? А если это неправда, то какое я имею право хоть на минуточку думать, что это правда? А если это действительно правда, то как, ну как я могу ему сказать об этом? Даже если он знает (а если это правда, он, конечно, знает), то все равно, как я, его сын, могу сказать ему о его жене и моей матери такое, что не укладывается в голове, никак, никак, никак не укладывается в голове, но от всего этого так щемит в груди, что больно дышать.

Я молчал.

— Ну что ж, — сказал он, когда тишина от этого молчания стала такой, что мне захотелось закричать, лишь бы не было этой тишины. — Ну что ж. Я думал — ты мужчина. Не хочешь рассказывать — выкручивайся сам.

Вот этого не надо было ему говорить, ой как не надо. Незачем ему еще обижать меня сейчас. Я молчал и только при этих словах невольно посмотрел на него. Он тоже смотрел на меня, и, когда наши глаза встретились, он вдруг кашлянул как-то странно и лицо у него стало взволнованным. Он подошел ко мне и обнял за плечи.

— Что с тобой, Саня? — спросил он тихо.

Я молчал.

— Не можешь сказать?

И тогда я забормотал:

— Не могу, не могу, папа, поверь мне, папа, понимаешь, не могу, — и еще что-то я бормотал — уже и сам не помню что.

— Это не из-за... — он запнулся и покрутил в воздухе рукой.

Я понял, что он имел в виду, и помотал головой. И даже обрадовался. Обрадовался и еще больше огорчился. Он ничего не понял.

— Ладно, — сказал он, — я верю тебе, но что будем делать?

— Не знаю, — сказал я. — А... здорово я... его?

Он кивнул.

— Он был без сознания, — сказал батя. — Его увезли в больницу.

И я вспомнил «скорую помощь» и женщину — я ее не узнал тогда, а это была Валечкина мать, которая плакала и кричала: «Бандит, бандит!» Это она мне кричала. Я вспомнил это и, казалось бы, должен был испугаться, но я не испугался и даже ничего не почувствовал, так, вспомнил, и все. Я только подумал, что, наверно, меня теперь выгонят из школы, но и об этом подумал спокойно. Не это было самое главное и самое страшное.

— А в школе ты тоже не можешь рассказать? — спросил батя.

— Нет! — закричал я. — Нет, нет!

— Но ведь тебя же исключат, — сказал батя, и тут раздался звонок.

Он пошел открыть и из передней крикнул:

— Саша, это к тебе!

Я вышел и увидел Капитанскую дочку. Не знаю почему, но я был уверен, что она придет, и хотел и боялся этого. И вот она стоит в нашей передней немножко растерянная и улыбается чуть-чуть.

— Здравствуй, Саша, — сказала она. — Можно к тебе?

А я, хоть и был уверен, что она обязательно придет, тоже растерялся и глупо сказал:

— Очень приятно.

Она засмеялась, хмыкнул батя, который все еще стоял в передней, и тогда я сообразил, что надо же ему сказать, кто это.

— Папа, это Кап... Мария Ивановна, наша учительница, — сказал я.

— Очень рад, — сказал батя серьезно, но я заметил, что он удивился: наверно, не такой он представлял себе нашу Капитанскую дочку.

— Очень рад, — еще раз сказал он и помог ей снять плащ.

— Я хотела бы поговорить с Сашей, — сказала Мария Ивановна. — Только... — и она улыбнулась немножко виновато.

— Конечно, — сказал батя. — Саша, проходите ко мне, а я пока... займусь хозяйством.

— Саша, Саша, ну что же ты натворил, — жалобно сказала Капитан-

ская дочка, когда мы вошли в папину комнату. — В школе все, почти все считают, что ты побил Панкрушина за то, что он посмеялся над тобой... Ну да, ну да, — заторопилась она, когда заметила, что я даже дернулся от этих ее слов, — конечно, он вел себя ужасно грубо и глупо, но если ты побил его только за это — это ужасно! Нет, нет, я просто не верю, что ты из-за такой чепухи мог... Надо быть гордым, Саша. Если ты... если тебе нравится Наташа (уже знает, подумал я)... то этим надо гордиться и быть выше всяких глупых насмешек, ведь этим ты унижаешь и себя и ее...

Она говорила быстро, и видно было, что волновалась, а я опять молча стоял у окна и не знал, что ей сказать. Она, конечно, права, но это была только часть правды, очень маленькая часть, — ведь главное не в этом...

— И все-таки я не верю, что ты из-за этого, — говорила она. — Ты можешь сказать мне правду, Саша? Ты пойми, пойми, это не просто любопытство, это очень, очень важно: ведь если ты не докажешь, что у тебя была очень серьезная причина поступить так, то тебя же исключат, Саша, понимают, исключат, и я... и мы ничем не сможем тебе помочь.

— Я не могу, — сказал я.

— Саша, Саша, — она прямо-таки взмолилась. — Ну, хорошо, не говори никому, скажи только Константину Осиповичу. Он не такой плохой, как вы думаете, — он поймет.

Я усмехнулся.

— Ну, хорошо, ну, хорошо, — она очень волновалась, и мне даже стало ее жалко, — ну, не говори ему, скажи только мне... Я никому не скажу, но я буду знать, что ты прав, и буду защищать тебя...

— Нет, — сказал я, — не могу.

Она вздохнула, помолчала, а потом тихо спросила:

— Саша, а это не из-за... словом, не из-за... того глупого письма?

Я видел, как ей трудно было говорить это. Она покраснела и не смотрела на меня, а я думал, что, может быть, это она мне подсказывает выход. Ведь если я скажу так, то ведь в этом тоже есть правда, и мне, наверно, ничего не будет, ведь это даже вроде бы благородно — вступить за честь учительницы. Так поступают настоящие люди, подумал я. Нет, черта с два, «так поступают настоящие люди»! То есть, может быть, они так и поступают, но уж во всяком случае не треплют об этом никому. И я сразу подумал, а каково будет ей, если я скажу так, как она мне подсказывает, — ведь ее сживут со свету разные Евглены, скажут, что она, как глупая девчонка, вмешивает в свои дела учеников, да мало ли чего еще скажут...

— Нет, — сказал я, — не из-за письма.

Мне показалось, что она даже вздохнула облегченно, а может, это я сам вздохнул. И тут мне в голову пришла мысль — ведь то, что она мне сказала вначале, и есть самый хороший выход, — правда, из-за этого «выхода» я с треском вылету из школы, ну да мне наплевать сейчас на школу — не до нее мне совсем сейчас, и никуда она от меня не уйдет, зато никто не будет лезть ко мне в душу, если я скажу, что избил Валечку из-за насмешек. Пусть думают обо мне все, что угодно, — Наташке я этим уже никак повредить не могу, а себе я и так уже навредил выше головы. Единственно, что мне было обидно, так это то, что Капитанская дочка будет думать обо мне не очень-то хорошо, ну да уж тут ничего не поделаешь.

— Знаете, Мария Ивановна, — сказал я, — давайте будем считать, что я избил Валечку за то, что он издевался надо мной на уроке.

— Нет, Саша, — грустно сказала Капитанская дочка. — Не могу так считать и не буду.

Я был очень благодарен ей за это. Я хотел сказать ей что-нибудь хорошее, чтобы успокоить, но, пока думал, в комнату заглянул батя.

— Я не помешаю? — очень вежливо спросил он.

— Нет, мы уже обо всем поговорили, — вздохнув, сказала Капитанская дочка.

— Что с ним делать, Мария Ивановна? — спросил батя.

Капитанская дочка развела руками.

— Не знаю, Николай Николаевич, — сказала она, — ничего не знаю. Я-то верю Саше, а вот... — и она опять развела руками.

Батя посмотрел на меня. Я догадался, о чем он подумал. Ну и пусть думает все, что хочет, если уж он мог подумать так. Он хотел что-то сказать, но зазвонил телефон, и он взял трубку.

— Да, — сказал он. — Здравствуйте, товарищ Натореев.

Ого, подумал я, события начинают разворачиваться в бешеном темпе. Батя кивал мне головой, чтоб я вышел. Ну, нет, дудки, подумал я, ни за что не уйду, — ведь разговор-то обо мне идет, почему же я должен уходить?

Терпеть не могу эту привычку у взрослых: когда им надо поговорить о нас, так нас сразу выгоняют, как будто мы пешки какие-то, а не люди. «Саша, или Вася, или Коля, выйди, нам надо поговорить». Как будто мы не знаем, о чем они там будут говорить. Сами-то они сплошь и рядом со своими делами разобраться не могут, а тут чуть что — «Саша, выйди». Не выйду, и все!

Я вздернул голову, и отец махнул рукой, — дескать, оставайся.

Вначале он долго слушал и только изредка говорил «да, да» или «я знаю», а потом сказал:

— Я, конечно, приду, но вряд ли я сумею прояснить обстановку, как вы говорите. Почему? Да потому, что я ничего объяснить вам не могу. Нет, он ничего мне не сказал.

Потом он опять долго слушал и морщился, сердито поглядывая на меня.

— Да, такой уж я родитель, — сказал он, когда в трубке наконец замолчало. — Но верю, что иначе он поступить не мог. На чем основывается моя уверенность? На том, что я хорошо знаю своего сына. Да, да, он все что угодно, но не трус и не подлец.

Я заметил, как Капитанская дочка обрадованно взглянула на него и кивала головой.

Эх, батя, батя, молодец ты у меня, но ничего-то ты не знаешь...

— Да, да, я приду, и он придет. Мы придем, — сказал батя и положил трубку.

Он опять сердито посмотрел на меня, потом на Марию Ивановну и так же, как и она, развел руками.

— Ну вот, — сказал он, — завтра в пятнадцать ноль-ноль нас вызывают на педсовет. Слышишь?

Я кивнул и тут же подумал, что ни на какой педсовет я не пойду. Я предсказывал, как я буду там стоять посреди учительской и все будут пялить на меня глаза и лезть мне в душу. И мне придется врать, потому что правду я же все равно сказать не могу. Нет уж, пусть все идет, как идет! Но этого я не сказал, а только кивнул.

Мария Ивановна заторопилась уходить, и батя сказал, что проводит ее, — им ведь, кажется, по пути. Ну, пусть отведут душу, пусть поговорят обо мне — все равно от этого сейчас уже ничего не изменится.

Батя сказал мне, чтобы я никуда не уходил, а занялся бы чем-нибудь и ждал его. Я кивнул. Я устал от всего этого, и мне очень захотелось

спать. Они ушли, но заснуть я не успел: позвонила Ольга и сказала, что сейчас придет.

— Не надо, — сказал я.

— Надо, — сердито сказала Ольга и повесила трубку.

Ну, конечно, всем очень интересно, как это я себя сейчас чувствую и как собираюсь отбрыкиваться, — ведь такого ЧП у нас в нашей образцовой школе, наверно, уже сто лет как не было. Пусть приходит — узнаю по крайней мере, что ребята думают, хотя, если честно говорить, это меня сейчас совсем не интересовало: думал я все время совсем о другом.

Вид у Ольги был какой-то взъерошенный, нос распух и глаза были красные. Плакала. Вот чудачка — уж если я не плачу, так чего же ей плакать?

— Только ты меня не воспитывай и ничего не спрашивай, — сказал я ей сразу.

— Очень нужно мне тебя воспитывать, — пробормотала Ольга.

— А зачем ты пришла? — спросил я довольно грубо.

— Мы хотим знать, что ты думаешь делать, — сказала Ольга.

— Кто это мы?

— Ну... ребята... класс.

— Ах, класс? Ну, классу скажи, что я полностью осознал свою вину и буду сам перевоспитываться. Сам! И для начала уеду на стройку — это, говорят, очень полезно.

— Он еще издевается, еще издевается! — Она даже задохнулась от возмущения, а я вдруг заметил, что, когда Ольга сердится, она становится очень хорошенькой. И подумал, что зря я, в общем-то, так с ней разговариваю, но уж такое у меня было настроение — на все наплевать, лишь бы оставили меня в покое.

— Если тебе неинтересно, что думают ребята... — начала Ольга.

— Нет, почему же, интересно, — вяло сказал я.

На этот раз она не обратила внимания на мой тон — уж очень нужно было ей рассказать мне, что думают ребята. Страшно важно!

— Имей в виду, — продолжала Ольга, — за тебя совсем немного ребят: Гришка, Оська... Кныш, ну и кое-кто еще...

— А Наташка? — спросил я безразлично, но у меня вдруг екнуло сердце.

— Не знаю, — сердито сказала Ольга, — она молчит.

Ну, и ладно, подумал я, и мне опять стало на все наплевать — какая все это ерунда.

— Кныш предлагает взять тебя на поруки, — сказала Ольга, и это было так неожиданно, что я засмеялся.

Она посмотрела на меня и заплакала. Только этого мне и не хватало! Она всхлипывала и сморкалась, а в промежутках между всхлипываниями бормотала, что она все глаза выплакала из-за меня, дурака, и что все ребята переживают, а ему, дураку бесчувственному, хоть бы что, чурбан настоящий, и плакать-то из-за него не стоит, и ни одной самой маленькой слезинки он не стоит — чурбан проклятый, и пусть его выгонят, и черт с ним — так ему и надо, чурбану бесчувственному, и еще что-то она бормотала.

А я ходил вокруг нее и тоже бормотал, что не надо, ну, не надо плакать, что все обойдется, — и злился на себя и на нее, и на всех злился, и жалел себя, и ее, и всех, кто за меня переживает, и то хотел ее выгнать, то приласкать и успокоить, как маленькую Нюрочку. И стал гладить ее по голове и чего-то приговаривал, как маленькой Нюрочке, а она прижалась ко мне и

постепенно затихла, а я все еще продолжал гладить ее по голове, а потом вдруг почувствовал, что сам чуть не плачу.

Я отошел от нее и лег на свой диванчик и уткнулся головой в подушку, все время думая, как бы не заплакать, и, конечно, заплакал. Тогда она села рядом и стала гладить меня по голове и что-то приговаривать, как маленькому, но я уже разошелся и плакал чуть не в голос и никак не мог остановиться, злился на себя, а она все гладила и гладила меня, и хоть я злился, но мне было приятно, что она меня гладит, и от плача мне становилось как будто легче, как будто комок, который сидел все время в груди, таял и постепенно исчезал. Но я все еще плакал, и тогда Ольга легла со мной рядом, обняла меня, и я обнял ее, а она все что-то шептала и шептала.

...Я проснулся, когда в комнате зажегся свет. За окнами было уже темно, и в дверях стоял батя и как-то странно смотрел на меня. Я почувствовал, как что-то щекочет мне лицо, и вдруг понял, что лежу в обнимку с какой-то девчонкой и это ее волосы, рассыпавшись, лежат у меня на щеке. Я лежал, ничего не соображая, а батя все так же стоял в дверях, держа руку на выключателе, и все так же странно смотрел на меня. Я пошевелился, и девчонка вздохнула и повернулась на спину, и я узнал Ольгу и сразу все вспомнил. Я тихонько потрогал ее за плечо, и она проснулась. Она некоторое время смотрела в потолок, потом повернулась ко мне, вначале удивилась, но сразу же улыбнулась и погладила меня по голове, а батя все стоял и смотрел. Я тоже смотрел на него, и Ольга заметила мой взгляд и увидела батю. Я думал, она сразу же вскочит и завизжит или еще что-нибудь, ну хоть покраснеет, что ли, а она потянулась, вытащила свою руку из-под моей спины, еще раз потянулась, помахала затекшей рукой в воздухе и улыбнулась бате.

— Здравствуйте, Николай Николаевич! — сказала она. — Ух, и здорово мы заснули!

И батя засмеялся так весело и хорошо, что у меня сразу отлегло от сердца, и я подумал, какая все-таки мировая и хи-и-трая девчонка эта Ольга.

— Ну, сонн, — сказал батя, — давайте чай пить. Голодные небось...

И мы пили чай, и батя шутил и смеялся над Ольгой, и мы говорили о разных пустяках, как будто не было никакого Валечки и того, за что я его избил, и завтра будет обычный день, и я пойду в школу, а потом скоро придет мама и... Я встал из-за стола и ушел к себе в комнату. Уперся лбом в окно и смотрел на вечерний двор, и ничего не видел, и ни о чем не думал, вернее — не хотел думать, и только одна мысль вертелась в голове: надо опять поставить точки над «и» и все рассказать бате. Для этого надо только набраться храбрости, а ее-то у меня как раз и не было. Потом Ольга ушла. Я слышал, как она подходила к моей двери, но батя тихо сказал ей: «Не надо», и за это я был благодарен ему. Она ушла, а он зашел ко мне.

— Прелесть девчонка эта твоя Ольга, — сказал он задумчиво. — И умница. А ты — лопух.

Если бы только лопух, это бы еще полбеды. А насчет Ольги я, кажется, был с ним согласен, но не о ней я сейчас думал.

Когда он зашел ко мне, я весь даже сжался — вот сейчас возьму и спрошу у него все. И ничего не спросил — пороуху не хватило.

Он постоял, постоял и, вздохнув, ушел, а я еще долго стоял, уткнувшись лбом в оконное стекло, и пальцем рисовал на нем какие-то узоры.

Весь дом знает, что она уехала с артистом, — так сказал Валечка. Кто он, весь этот дом, и что он знает, этот дом? А я, я-то тоже «этот дом» — почему же я ничего не знаю? С артистом... артист Долинский... Долинский...

Я отлепился от окна и посмотрел на часы. Без десяти десять.

— Куда ты? — спросил батя из кухни.

— Погуляю, — сказал я.

— Только не глупи, — сказал он, выйдя в переднюю.

— Нет, — сказал я.

У Ливанских мне открыл дядя Юра.

— Саша? Так поздно? — спросил он, но мне показалось, что он не очень удивился, он только внимательно и немножко с опаской посмотрел на меня и сразу забормотал: — Раздевайся, проходи, как дела, что новенького, Нюрочка спит, и Люка уже легла — устала, — и еще что-то бормотал, такую же ерунду.

Я не стал ни раздеваться, ни проходить, а тут же в передней спросил его, что случилось с мамой и где она. Кедр побледнел, потом покраснел, и вид у него был такой, как будто я приставил ему нож к горлу. Он заволновался так, что мне его чуть не стало жалко. Но только чуть-чуть — мне никого сейчас не было жалко, и вообще я был очень спокойным, даже сам удивлялся, какой я спокойный, только внутри что-то дрожало все время, но это от меня не зависело — дрожало, и все.

И вот я очень спокойно спрашиваю у Кедра, где моя мама, а он весь трясется и не знает, что сказать. Тогда я в упор спрашиваю:

— Она уехала с Долинским?

Кедр стал совсем несчастным, но мне его все равно не жалко. Он опять бормочет что-то, и я ничего не понимаю.

— Что вы бормочете? — говорю я.

— Саша, Саша, ты не груби мне, пожалуйста, — говорит он.

Ах, я еще не должен грубить, когда мне все врут, а я должен быть вежливым, да? Так вот, будьте добры, если вас не затруднит, скажите мне, пожалуйста, не знаете ли вы случайно, где моя мама. Извините, конечно, что я вас побеспокоил, и если вам не хочется или вы, черт побери, стесняетесь ответить, то, ради бога, не говорите мне ничего... Так, что ли?

На наши голоса из своей комнаты выходит в халате тетя Люка. Ливанский жалобно разводит руками и говорит, что он был прав, что он всегда прав, но его никогда не слушают, и вот что получается, и пусть теперь все, кроме него, расхлебывают эту кашу.

— Что случилось? — грозно спрашивает мадам Ливанская.

Я ужасно испугался, прямо задрожал весь от ее грозного голоса, так вот стою и трясусь от страха; можно сказать, поджилки у меня задрожали, как только я ее увидел. Черта с два! Это у нее затряслись поджилки, когда она меня увидела, и чихал я на ее грозный голос.

— С Долинским? — опять спрашиваю я, и тетя Люка все понимает и хочет взять инициативу в свои руки. Она любит брать инициативу в свои руки. Хлебом ее не корми, а дай только в руки инициативу...

— Не суетись и не ерепенься, — говорит она.

А я не сучусь и не ерепеньюсь, я просто спокойно спрашиваю: не с Долинским ли уехала от нас моя мама? Спокойно спрашиваю, а сам думаю: какой же она герой, тетя Люка, если она мне, мальчишке, боится сказать правду. И думаю, что, может быть, она все-таки скажет, и жду и боюсь этого. Но она очень строго говорит:

— Мы ничего не можем сказать тебе, Саша. Все, что нужно, скажет тебе отец. А сейчас лучше оставайся у нас — папе я позвоню.

Но я ухожу. Я ухожу из этого дома, где, знаю, меня любят, но ничего не хотят сказать. И хотя мне ничего не говорят, я уже твердо знаю, что все,



что мне сказал Валечка, — правда. И правду эту знает «весь дом», вся улица, весь город и весь мир. И правда эта такая, что от нее не хочется жить. Я уже не злюсь на Ливанских, уж если мой отец трус, так им и сам бог велел...

Я поднимался по своей лестнице и услышал, как внизу хлопнула входная дверь. Поглядел вниз и увидел Валечкиного отца — инженер-капитана Панкрушина. Я сразу понял, что он идет к нам. Вот уж с кем мне никак не хотелось встречаться. Не нужно мне это было совсем — выслушивать всякую ругань и упреки и не сметь ничего объяснить. Я взбежал вверх по лестнице, чтобы он меня не заметил. Проскочил наш этаж и притаился на площадке. Я услышал, как он некоторое время покашливал у наших дверей, видимо не решаясь позвонить, но потом наконец позвонил, дверь открылась, и Панкрушин, откашлявшись, хрипло сказал:

— Извините, Николай Николаевич, но мне необходимо с вами поговорить.

Дверь захлопнулась, и я начал тихо спускаться вниз и подумал, что было бы интересно послушать, что хорошего скажет обо мне Валечкин отец. И как батя будет объяснять мой поступок, и вообще, что он скажет и как будет себя вести мой трус батя? Ведь что-то ему придется говорить. Что ж он, будет меня защищать, или скажет, что я негодяй и он мне задаст, или будет выкручиваться, как выкручивались Ливанские? Ведь ему вдвойне неудобно перед Панкрушиным — они ведь знают друг друга по работе.

Я никогда не любил подслушивать, но тут мне было на все наплевать, и потом — мне очень важно было знать, как будет вести себя отец. Я начал тихонько открывать своим ключом дверь, так, чтобы она не скрипнула, а когда открыл, тихо-тихо вошел в переднюю и подкрался к батиной комнате. Дверь была полу-

открыта, и я сразу услышал голос Валечкиного отца, но сначала ничего не мог разобрать — так у меня колотилось сердце и стучало в висках. Потом я постарался взять себя в руки и начал прислушиваться.

— Николай Николаевич, — говорил Панкрушин, — я хочу, чтобы вы сразу поняли: я лично (он как-то особенно сказал это «лично») никаких претензий к вашему Саше не имею. Мне трудно это говорить, но он был абсолютно прав. И если бы Валентин не был в больнице, и если бы ваш Сашка не отдал его уже как следует, я бы его сам вот этими руками... хоть он и мой сын...

Вот этого я не ожидал. Это очень странно; не иначе, Панкрушин знает, за что я... Ну, да он ведь тоже «весь дом», но неужели Валька признался ему, что он мне сказал?

— Что вы, что вы, Семен Петрович, — сказал батя, — вы не волнуйтесь. Что случилось?

— А вы не знаете? — удивленно спросил Панкрушин. — Нет, серьезно, не знаете?

— Нет, — сказал батя, — то есть я знаю, что Сашка безобразно избил вашего сына. Безобразно. И, конечно...

— А... за что, за что? Вы знаете?

— Н-нет.

— Тогда я не знаю, как уж вам сказать об этом. — Он помолчал, потом с трудом добавил: — Нет, не могу.

Я ждал, я думал, что вот сейчас он скажет отцу все, и тогда мне уже не надо будет говорить и все станет ясно. Я хотел, чтобы он сказал, и боялся этого, потому что где-то глубоко-глубоко у меня таилась надежда: а вдруг это неправда. Вдруг. Но он не сказал, и я подумал, что вот ведь совсем и не похоже, что он — Валечкин отец.

— Не могу, — опять сказал Панкрушин.

— Ну что ж, — сказал батя, — не можете — не надо. А в отношении сына (он так и сказал «сына») я приму меры.

И тут Панкрушин вдруг начал кричать.

— Какие меры? — кричал он. — Какие меры?! Это мне надо принимать меры. Это у меня сын растет негодяем. А все кто? Все эта... курица! Глупая, трусливая курица! Это ее воспитаннице — на бабских сплетнях, на цацках, на ляльках... У-у-у-у! Ханжа, мешанка! Манеры... музыка, а человека нет! Я им покажу музыку, а его уголь грузить заставляю... Воспитала подонка...

Так он кричал, а отец его успокаивал, а я удивлялся все больше и больше. Я сразу понял, что он говорит о своей жене — Валечкиной матери, — и удивлялся. Мне казалось, да и не только мне, а всем, что они живут очень дружно и любят друг друга. Я помню, что мама иногда говорила, увидев в окно, как Панкрушины всем семейством отправляются куда-нибудь, что очень приятно смотреть на такую дружную семью, и папа согласно кивал головой. Вот тебе и счастливое семейство! Ведь так ругать собственную жену можно, наверно, когда уж очень ее ненавидишь. Перед посторонним человеком так говорить о своей жене... ну и ну!

— Возьмите себя в руки, — сердито сказал батя, — нельзя же так распускаться, в самом деле.

— Да, да, — забормотал Панкрушин, — вы правы, нельзя. Но что же мне делать, Николай Николаевич? — Он застонал даже. — Бросил бы ее давно. Ушел бы, куда глаза глядят... а не могу — сын все-таки.

— Тут я вам не советчик, — тихо сказал батя, — я сам... не знаю, что мне делать...

— Я понимаю, — грустно сказал Панкрушин. — Вы извините меня за мою... истерику.

— Все мы люди, — сказал батя.

— Да, Николай Николаевич, я, собственно, зашел сказать вам, что моя... курица хочет подавать в суд. Но этого не будет. И завтра я приду на педсовет и скажу, что Саша поступил правильно. Нет, нет, лишнего я не скажу.

Он пошел к двери, а я на цыпочках проскочил в свою комнату, бросил плащ на стул и кинулся на диван. Отвернулся к стене и крепко закрыл глаза.

Что же она такое — эта любовь? Вот ведь он не может бросить свою... эту... как он ее назвал... ханжу и курицу... И сына не может бросить... А мы что — хуже, что ли? В чем же дело?

В голове у меня был сундук, и я совсем уж не знал, что мне делать.

Утром на столе я нашел записку от бати: «В 15.00 будь в школе. Папа». До двух я слонялся по квартире, пробовал читать или еще чем-нибудь заняться, но ничего не лезло в голову и руки опускались. У бати на тахте я увидел раскрытую книгу. Я взял ее и прочел:

«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастная семья несчастлива по-своему.

Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме француженкой — гувернанткой, и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме. Положение это продолжалось уже третий день и мучительно чувствовалось и самими супругами, и всеми членами семьи, и домочадцами».

Я посмотрел на обложку: Л. Толстой. «Анна Каренина».

По-моему, я видел по телевизору не то фильм, не то отрывки из спектакля, но что-то плохо запомнил. Помню только, что Анна из-за несчастной любви бросается под поезд и что муж у нее был какой-то сухарь. Я присел на тахту и перечитал первые строчки. «Все смешалось в доме...» И уже не мог оторваться. Наверно, кое-кто сказал бы, что рано детям до шестнадцати лет читать такие книги. Ну и пусть. Я читал и не мог оторваться, так это было здорово. И только когда зазвонил телефон, я вспомнил, что в три часа меня ждет батя в школе на педсовете. Было уже начало четвертого, и я подумал, что это звонит, наверное, он. Я не подошел к телефону: все равно я еще вчера решил, что ни на какой педсовет не пойду, — нечего мне там делать, пусть решают как хотят.

Я отложил книгу и подумал, что надо уйти, а то еще прибежит за мной кто-нибудь из школы. Перед уходом я посмотрел в словаре (батя меня приучил к этому), что значит слово «ханжа». Так назвал вчера Валечкин отец свою жену. Меня насмешило, что «ханжа» — это китайская хлебная водка, и, спускаясь по лестнице, я все раздумывал, какое отношение имеет эта самая водка к Валькиной матери, но так ни до чего и не додумался. Наверно, это слово еще что-нибудь значит. Надо узнать.

Интересно, я думал о чем угодно, иногда о самой, казалось бы, ерунде, и все-таки все время думал о самом главном, и даже самую пустяковую мысль обязательно поворачивал к этому главному. Подумал, например, о Валечкиной матери и сразу вспомнил свою, или подумал о том, что надо починить «велик», и вспомнил, как мы с мамой его покупали. И так все время.

Я вышел во двор как раз тогда, когда мимо нашей парадной проходил Ольгин отец — старшина милиции. Я хотел было заскочить обратно в подъезд, но он заметил меня и поманил пальцем. Ох, и не хотелось мне его видеть! Я подошел. Он внимательно посмотрел на меня и вдруг протянул мне руку, — вот уж чего я никак не ожидал от старшины милиции.

— Ну, ну, — сказал он, — такие, значит, брат, дела. Поручили мне, понимаешь, провести с тобой беседу.

Он улыбнулся, но сразу же нахмурился.

— Ты что же это, а? — сказал он строго. — Драться, понимаешь... Да еще как! Ты же его чуть не покалечил. И где? В школе! Нехорошо, Ларионов. Нехорошо.

Я молчал.

— Чего молчишь? — рассердился старшина. — Я ему внушение делаю, а он молчит. Ишь какой...

Я молчал. Он замолчал тоже. Потом заговорил задумчиво, как будто сам с собой:

— Ольга моя кричит и топает ногами, чтобы я не смел с тобой говорить. Что ты, мол, хороший. — Он засмеялся. — Самый, говорит, хороший. Ишь ты! Ну, не красней, не красней. — Он потрепал меня по плечу. — Знаешь, она у меня правильный человек, Ольга. Маленький, а правильный. Ей не верить нельзя. — Он помолчал, потом сказал: — Ну, будем считать — поговорили.

Он опять протянул мне руку и пошел, но через два шага обернулся: — Да, вот еще что: вы с Юркой Пантюхиным где в прошлое воскресенье были?

Ох! У меня совсем из головы вылетело. Чертов Пантюха! Вот ври теперь из-за него хорошему человеку. Я собирался с мыслями, как бы ответить ему так, чтобы он не понял, что я вру, но он не стал дожидаться и сам сказал:

— В Павловске, значит, были. Ну, ладно. — Он вздохнул. — Эх, пацаны, пацаны... — и пошел домой.

Только он ушел, я услышал над головой свист — это свистел мне Пантюха, высунувшись в форточку. С тех пор как мы поругались с ним на стадионе, я его не видел и первый идти к нему не хотел — слишком уж он раздражает. Но раз он первый меня зовет, так что ж.

— Чего тебе? — спросил я.

— Зайди, дело есть! — шепотом закричал он, как будто боялся, что старшина еще здесь.

Я замялся, а Пантюха начал ехидно ухмыляться.

— Да не бойся, Лельки нет, — сказал он.

Пантюха открыл дверь. Он стоял в передней в каких-то немыслимых трусиках ниже колен и пританцовывал от нетерпения. Я не выдержал и засмеялся — уж так он не походил на... Лельку.

— М-мамка, понимаешь, вс-се шмутки от-тобрала и з-з-заперла куда-то, чт-т-тобы д-дома сидел, а м-м-мне надо см-м-мыться, — быстро заговорил Пантюха. — С-с-слушай, у тебя есть какие-нибудь лишние шкары? П-п-принеси мне, ладно?

Надо бы мне его наказать, да уж ладно. Я принес ему свои тренировочные брюки и кеды, — хорошо, что догадался: всю обувь его мать тоже спрятала.

Пантюха одевался и говорил:

— Н-е-е, она не заперла. Я догадался: она все мои шмутки к этой вашей

соседке, напротив которая, отнесла. — Он засмеялся. — Н-ну, и хи-т-т-рая у меня мать — знает, что я к этой стерве ни за ч-что не пойду. Слушай, а чт-т-то тебе старшина говорил? Спрашивал?

Я рассказал ему о разговоре с Ольгиным отцом, но, конечно, не все. Он остался доволен.

— А он ни-ч-ч-чего, мужик, верно? — сказал Юрка. — А за Вальку тебе что будет? З-з-дорово ты его, гада!

Знает уже. Ну еще бы, Пантюха, да не знал!

— Наверно, из школы вышибут, — сказал я спокойно.

— Ну и ч-ч-черт с ней, со школой. Слушай, пойдем со мной к Наконечнику. Т-тот еще п-п-арень!

Мне было все равно. На педсовет я уже опоздал. К Наконечнику так к Наконечнику, лишь бы не думать хоть на время ни о чем. Да и интересно наконец, что это за Наконечник и какие у Пантюхи с ним дела. «Все смешалось в доме Облонских...»

Я был рад, что Пантюха не расспрашивал меня ни о чем. Всю дорогу он рассказывал о том, как они с Наконечником решили подзаработать и Генка — так зовут этого Наконечника — купил на вокзале у пьяного кавказца целый мешок лаврового листа. Целую ночь они раскладывали этот лист по пакетикам, а наутро пошли на Кузнечный рынок торговать. Вначале все шло хорошо — они продали пакетиков тридцать по десять копеек. А потом к ним подошел какой-то кавказец, взял один листок, растер его между пальцами, понюхал и закричал на весь рынок:

— Держи жуликов! Чем торгуешь, липой торгуешь! Это лавровый лист, да? Нет, ты скажи, дарагой, это лавровый лист?

Вокруг уже толпился народ, сбежались все кавказцы, которые торговали на рынке, и орал так, что ничего уже нельзя было разобрать.

— Это вишня, лавровая вишня, а савсэм не лавровый лист! — кричал тот дядька. — Торговлю честную подрываешь, да? А ну, пойдем в милицию!

— В милицию, в милицию! — закричали все, и Пантюха с Генкой Наконечником бросились бежать, оставив мешок с листом. Кое-как им удалось вырваться. Пантюха, впрочем, уверял, что их особенно и не держали, а только шумели. Но когда они побежали, за ними вдогонку бросились каких-то два типа, и вот тут-то, на Владимирском, их и увидел старшина — Ольгин отец. Им повезло: на остановке около собора стоял пустой троллейбус. Двери были открыты, и, как только они вскочили в него, он тронулся, и преследователи остались с носом, а старшина еще долго смотрел вслед троллейбусу. Так бы, может быть, все и сошло, если бы Наконечник на следующий день не поехал на другой рынок с тем же листом, который оставался у него дома. И его задержали, привели в пикет, отобрали лист и сообщили в милицию по месту жительства. Поэтому старшина и звал Пантюху, а тот сослался на меня, сказав, что старшина ошибся.

— Вот мне и надо Генке рас-с-казать, как дела, — сказал Юрка, — он еще в милиции не был, так чтобы знал, что говорить, понял?

Конечно, я понял и хотел сказать Пантюхе, чтобы он больше меня в свои дела не впутывал, — и своих забот хватает. Но не сказал, во-первых, потому, что Пантюха уж очень смешно рассказывал, ну просто всю старался меня рассмешить, и за это я был ему благодарен — хоть немного отвлекся, а во-вторых, какое это для меня сейчас имело значение, — одной заботой меньше, одной больше — ерунда!

— Он н-ничего, п-парень, Наконечник э-т-тот. Д-деляга. — Тут Юрка

засмеялся и покрутил головой как-то непонятно — не то восхищался этим делягой, не то осуждал. — Т-только вот с д-девками он... того... У н-него их в-вагон и м-маленькая т-тележка... А он...

Юрка зло сплюнул и замолчал. И мы некоторое время шли молча.

— Мне в-в-вот ч-т-то интересно, — вдруг сказал он, — к-т-то нас обжулил — тот тип на вокзале или те типы на рынке? А? Ты как думаешь?

Я не успел ответить, как я думаю, — мы уже звонили в дверь к Наконечнику. За дверью послышалась возня, шорох, было слышно, как кто-то сопел, стараясь сдержаться сопение.

— Н-ну, не с-с-сопи, открывай, — сказал Пантюха, — это я — Юрка.

Дверь тихонечко приоткрылась, и я наконец увидел знаменитого Наконечника. Ну и тип! Его даже описать невозможно, такой он был забавный. Он мне сразу напомнил какого-то артиста из кино, но какого, я не мог вспомнить.

— Пантюшечка, мальчик мой, я так рад, — сказал Наконечник и широко распахнул дверь. Он увидел меня и вопросительно посмотрел на Юрку.

— Это Сашка, Ларион, — сказал Юрка, — я тебе говорил.

— Друг моего друга — мой друг, — торжественно сказал Наконечник и протянул мне руку. — Геннадий Прохорыч Полторыбатько.

Я фыркнул. Геннадий Прохорыч не обиделся.

— Это хорошо, Пантюшечка, что у твоего друга есть чувство юмора. Меня оно спасает от тяжких раздумий о смысле жизни.

Вот сейчас я вспомнил, на кого он похож. В кинокартине «Иван Васильевич меняет профессию» есть такой, дьячок, что ли... Ну так это — вылитый Наконечник. Только Наконечник еще смешнее, длинный и тощий, действительно наконечник какой-то.

— Между прочим, Полторыбатько — это еще туда-сюда, — продолжал он. — Вот у меня есть родственничек, так тот вообще называется Задеринаго. И ничего, живет. Но прошу вас, юные друзья, в мои апартаменты.

Я хохотал уже совсем открыто, улыбался и Юрка, но сам Наконечник даже не улыбался. И вот что интересно — он совсем не кривлялся и не ломался, а говорил всю эту чепуху совершенно спокойно и добродушно и был до того забавный, что я просто не мог удержаться от смеха, хотя мне было вовсе не до смеха. Ему было лет девятнадцать-двадцать, но держался он с нами, как со своими приятелями, и мне сразу с ним стало просто. Конечно, мне было немного не по себе. Я думал, что Генка, наверно, не только лавровым листом занимается, но я старался не думать об этом, да в конце концов какое мне дело. И, как будто отвечая на мои мысли, Наконечник сказал:

— Итак, мой друг Юрий, я должен тебе сообщить, что Остап Бендер из меня не получил, и я решил вспомнить свою старую квалификацию — буду чинить фановые трубы. Между прочим, мой родственник Задеринаго говорит, что я классный водопроводчик и что он берется устроить меня в свое краснознаменное СМУ, если я, конечно, ос-те-пе-нюсь. Вот такие дела, мои юные друзья, — прощай свобода... Но что поделаешь, жизнь наседает со всех сторон.

— Ну и правильно, — сказал Юрка, — я т-т-тебе давно говорил.

Мы сидели в маленькой комнатушке. Она вся была забита какими-то деталями, металлическим хламом, велосипедными частями и инструментами. Даже к подоконнику были привинчены слесарные тиски. В комнате был один-единственный стул, и на нем восседал Геннадий Прохорыч, а мы устроились на раскладушке.

— Итак, на чем мы остановились? — спросил Наконечник. — Мы остановились на том, что участковый уполномоченный — старшина милиции товарищ Богомолов — вызвал на душевспасительную беседу моего друга Юрия-ибн-Пантюшечку...

— З-з-знаешь? — удивился Юрка.

— Я все знаю. Я даже знаю, что уважаемому свет-Пантюхе удалось отвертеться и не накапать на своего старшего друга. — Генка встал и торжественно протянул Юрке руку.

— З-з-значит, порядок? — спросил Юрка.

— Пока порядок, — сказал Наконечник, — но мне кажется, что это весьма неустойчивый порядок. И поэтому я усиленно думаю: а не принять ли мне ценное предложение моего родственничка?

— Н-ну и правильно, — опять сказал Юрка.

— Это решение надо отметить, — сказал Наконечник и полез под раскладушку, — тем более что я вижу: друг моего друга, — он кивнул в мою сторону, — находится в растрепанных чувствах.

Из-под раскладушки он достал какую-то бутылку с пестрой наклейкой.

— В винных погребах маркиза де... де... черт с ним, нашлась бутылка отличного старого плодovыгодного выделки тысяча девятьсот... э-нного года, — сказал он и поставил бутылку на подоконник.

До сих пор мне все это было забавно, но тут я маленько струхнул. Я вспомнил, как, когда мне было восемь лет, я напился до чертиков. У нас были гости, и, когда батя с мамой вышли в переднюю проводить их, я подкрался к столу и вылил в стакан остатки водки. Оказалось почти полстакана, я одним духом выпил и, задыхаясь, помчался к себе в комнату. Что потом со мной творилось — трудно описать. С тех пор я ни разу не пробовал пить, даже если иногда при гостях мне предлагали рюмочку разбавленного водой вина. Нет уж, увольте, подумал я, пить я не стану. И, конечно же, выпил. Ужасно слабoвольный я человек, — даже уговаривать меня не пришлось, так, поломался для приличия и выпил почти целый стакан этого «плодovыгодного». Ну и дрянь же! К счастью, Генка мне больше не предлагал, а Пантюха выпил совсем немного.

— Н-ну его, — мрачно сказал он, — я его ненавижу, это винище.

Тогда я еще соображал кое-что и понял, почему Пантюха ненавидит это винище. А уже минут через десять, ну может быть двадцать, я уже почти ни черта не соображал. Помню только, что мне море было по колено и я все порывался рассказать, за что я избил Валечку, но, кажется, так и не рассказал: Пантюха — молодец, он все-таки не дал мне.

А Генка выпил еще и вдруг запел противным голосом:

Менял я женщин тар-тарьям-пам,
Как перчатки...

Замолчал и сказал, подмигивая:

— Юрик, помнишь ту, в синем плаще?

Пантюха молча кивнул.

— Так я ее... тарьям-пам, все в порядке, — и он шелкнул языком.

— И-д-ди ты, — мрачно сказал Пантюха.

— Ну, ты у нас еще ребенок, Пантюшечка, — заржал Наконечник. Глазки у него стали какие-то масляные, и он начал хвастаться, каких только девок у него не было, и что любую может обработать, надо только знать, как к ней подойти, и хвастал, и врал, наверно, больше половины, а Пантюха зло ругался и тянул меня домой, а я не шел.

В голове у меня шумело, и море для меня становилось мельче и мельче, и, хотя было чуточку противно, я все же слушал и слушал и сам порывался что-то рассказать... Наташка, Лелька, Ольга вертелись у меня на языке, и я, кажется, уже ляпнул что-то, потому что помню, как Юрка двинул меня кулаком в поддыхало и я задохнулся, а он вытащил меня на улицу...

...Немножко я очухался на скамейке в нашем дворе. Рядом сидел Юрка и уговаривал меня пойти к ним и принять душ. Вспоминал об этом мне и сейчас противно и стыдно так, что хоть сквозь землю провались. Но тогда-то я был храбрый, как заяц во хмелю. Я кричал, что мне на все наплевать, что «жизнь дала трещину» (откуда-то слова такие выкопал, черт меня знает), что сейчас вот пойду домой и скажу отцу все, что я об этой истории думаю, скажу ему, что он трус и все взрослые трусы и подлецы и нечего их жалеть — они-то нас не больно жалеют. Только всё говорят: детей надо уважать, а где оно, это уважение, где?

— Я тебя спрашиваю, где оно? — орал я и грозился набить морду Долинскому, а потом начал орать, что все бабы одинаковы и надо только знать, как их «обрабатывать», и плакал, и орал, и грозился, и плевался какой-то тягучей липкой слюной, и текли у меня... сопли, а я казался себе героем, которого никто не понимает, и ругал последними словами и Наташку, и Ольгу, и Лельку, и весь мир.

А Пантюха терпеливо уговаривал меня пойти к нему домой и поспать, а потом принять холодный душ и у меня все пройдет и я стану человеком. Он поднял меня со скамейки и осторожно повел к парадной, но я вырвался и побежал от него. В парадной споткнулся и ткнулся мордой в грязную ступеньку. Пантюха меня поднял, я послал его подальше и полез вверх. Долго тыкал ключом в замочную скважину, упершись лбом в дверь, и когда она неожиданно открылась, я влетел в переднюю прямо в руки отца. А дальше начался какой-то сплошной ужас.

Вот сейчас, вспоминая все это, я вижу, что тогда я уже не был так пьян, просто меня, как говорят, занесло, и я не мог остановиться. Потом отец сказал, что это была самая настоящая истерика. Но тогда-то я ничего не соображал, а думал только о том, как бы позлее, пообидней высказать ему все, что мне пришло в пьяную башку.

Он стоял в коридоре и молчал, а я орал ему то же самое, что орал Пантюхе, и еще похлеще. Я видел, как он все больше бледнел и рука у него дрожала, когда он доставал из кармана кителя свою трубку. И я радовался, видя, что он бледнеет и молчит. Ага! значит, крыть нечем, радовался я. И тут же мне становилось страшно — почему он молчит? Ну, крикни, ну, заставь меня замолчать, ну, ударь меня, дай мне так, чтобы я отлетел.

И он ударил. Ударил, когда я закричал, что наша мать такая же... как и все бабы. Я отлетел к стенке и сполз по ней вниз, а он повернулся и так же молча ушел в свою комнату и плотно прикрыл дверь.

Я кое-как поднялся и вышел на площадку. Пантюха был здесь. Он повел меня вниз и вывел во двор, довел до скамейки на нашей аллее, усадил и сам сел рядом, а потом поддерживал, когда меня рвало, и вытирал мне платком морду. Потом я ревел, катаясь по скамейке, а он сидел рядом и только поддерживал меня, чтобы я не свалился, и ничего не говорил.

«Что же теперь будет, что же теперь будет?» — думал я... Все смешалось в доме Облонских, все полетело к черту, вся наша хорошая жизнь, наша дружная жизнь, которой тоже, я знаю, завидовали... Я... мне трудно

рассказать, что я чувствовал и о чем думал тогда. Все переплелось в какой-то непонятный клубок. Ведь того, что я сказал, он никогда мне не простит, не может, не должен простить. И тут же я подумал: ну и черт с ним, пускай не прощает, сам виноват, что так получилось. Зачем он говорил, что верит мне? Черта с два — верит! Если верит, почему же он ничего не сказал мне, как мужчина мужчине? Лучше вышло, что я сам узнал? Да? Он никогда не бил меня, мама иногда давала затрещину, а он никогда. Каково же было ему, если он ударил? И все-таки, все-таки я больше думал тогда о себе. Не признавался, а думал о том, как же я-то теперь буду? Я! Вот ведь что, — как я-то теперь буду?!

Пантюха сидел рядом и молчал. Мимо проходили люди. В одиночку и парочками. Парочки смеялись или молчали, взявшись за руки, и никому до нас не было дела, у всех было свое. Вдруг Юрка толкнул меня локтем и показал на другую аллею. Там, засунув руки в карманы шинели, быстро шел отец. Я не видел его лица, голова у него была опущена, как будто он что-то искал у себя под ногами.

— Т-тебя ищет, — сказал Пантюха.

— Ну... ну и черт с ним, — сказал я и почему-то громко всхлипнул. Мне стало холодно, и я начал дрожать какой-то противной дрожью. Я посмотрел вслед отцу, но его уже почти не было видно в тени деревьев.

— Н-ну, не х-х-хочешь к нам, — сказал Пантюха, — пойдем к Генке: у него переспшишь. Н-н-надо же спать где-то.

Я с отвращением замотал головой. И тогда к нам подошел Лешка.

— Здорово, — сказал он, — чего полуночищаете?

— Так... — сказал Юрка.

— А мне вот тоже не спится. — Он усмехнулся и подмигнул Юрке. — Все под окнами хожу.

— Г-гуляй отсюда, — сказал Пантюха.

— Строгий ты, Юрка, — сказал Лешка.

Он помолчал, а потом наклонился ко мне, взял за плечо и посмотрел мне в лицо.

— Эге, парень, — сказал он, — чтой-то у тебя неладно.

— А тебе что? — через силу сказал я.

— С-с-слушай, если т-т-ты та-к-кой хороший, — оживился вдруг Юрка, — п-пусти его к себе н-н-ночевать.

— А что?.. — начал было Лешка.

— А н-н-ничего. П-п-пусти, и все, — сказал Юрка.

— Понятно, — сказал Лешка. — Пошли!

...Мы сидели у Лешки на кухне, и он рассказывал мне, как ему за хорошую работу дали эту однокомнатную квартиру в новом доме и сейчас в самый бы раз жениться, да вот, понимаешь, какая петрушка... Я слушал его, но уши у меня как будто были заложены ватой и слова доносились откуда-то издали, и я вроде бы и понимал все, но как-то мне это было неинтересно, и думал я о своем.

Юрка еще там, с аллеи, ушел домой, и мы были с Лешкой вдвоем. Он поил меня крепким чаем, и голове моей становилось легче. Потом он спросил, есть ли кто-нибудь у меня дома и не будут ли беспокоиться. Я сказал, что нет, не будут, а сам подумал, что отец, наверно, уже обошел всех знакомых и, если уже пришел домой, не спит, и ходит и ходит по своей комнате, и дымит и дымит трубой. Лешка сказал, что, может быть, все-таки стоит

позвонить по телефону, и спросил, какой у меня номер. Я сказал, что не надо, и тогда он покачал головой и сказал, что да, видать, чего-то у меня серьезное стряслось, а я сказал, что ничего не стряслось, и вдруг взял и рассказал ему все и про Валечку, и про маму, и про Долинского, и про то, что произошло у меня с отцом, как я напился и наговорил отцу черт знает что, и что он меня ударил.

Не знаю, почему мне вдруг пришло в голову рассказать все этому парню, которого я и не знал-то как следует. Просто, наверно, стало неспособно держать все про себя и с кем-то надо было поделиться своими бедами. Никому из знакомых я бы не смог рассказать все, а вот Лешке взял и рассказал, и мне очень хотелось, чтобы он, ну, если не пожалел, то хотя бы посочувствовал мне. Я уже думал, что так оно и будет, — он слушал меня не перебивая и ни о чем не спрашивал. Он только изредка вздыхал и покачивал головой, и я радовался: вот нашелся человек, который меня понимает. А когда я кончил, Лешка сказал:

— Дерьмо ты! Какой номер телефона?

Я встал и пошел к двери. Лешка толкнул меня на табуретку.

— Сиди уж, герой, — сказал он. — Какой номер? Ну?

Я молчал. Мне было так тошно, что хотелось завывать, но я не выль — слез уже не было, да и что толку выть.

— Ну, молчи, молчи, — сказал он и надел плащ.

Он вышел в переднюю. Я услышал, как сперва открылась, а потом хлопнула дверь и в замке повернулся ключ — два раза.

Он пришел минут через десять. Я думал, что он поедет за отцом, но он слишком быстро вернулся, и я понял, что он все-таки позвонил по телефону, — наверно, узнал номер по справочной.

— Переночуешь у меня, — сказал он, — а утром вместе поедем домой. Сейчас с тобой разговаривать бесполезно, а утром я скажу тебе пару ласковых...

Мы легли с ним вместе на развернутом диване-кровати. Он сказал, что будет курить, и лег с краю. Мы долго не могли уснуть. Он-то почему не спал? Я видел в темноте огонек его папиросы и слышал, как он громко, со всхлипом, затягивается. Наверно, через полчаса он сказал:

— Сопишь? Ну, сопн, тебе полезно соппеть. О чем думаешь?

Я промолчал.

— Скажи, пожалуйста, — сказал он презрительно, — он еще и обиделся! Ну, тогда послушай, что я тебе скажу, как я твое геройство сопливое понимаю. Да как ты смел, шенок, о матери своей сказать такое? Подумать даже и то не имел права! А ты сказал, да еще кому сказал — отцу!

— А что ж он... — начал было я, но Лешка не дал мне рта раскрыть.

— Молчи! — закричал он. — Ты лучше молчи сейчас, а то я за себя не ручаюсь, могу так врезать... что... Ма-а-ать, понимаешь, ма-ать! Да если бы у меня мать была, я бы ее на руках носил, ноги ей мыл, руки целовал, а ты... Ведь ни черта ты не знаешь, ни черта не понимаешь, а туда же...

— Вот я и хочу понять! — закричал я. — А вы все такие умные, всё понимаете, почему же нам ничего не объясняете? Что мы — не пойдем, что ли? А потом удивляетесь, что мы разные глупости делаем, когда узнаем, какие вы на самом деле... хорошие.

Лешка вдруг успокоился и сказал уже тихо:

— То, что ты хочешь понять, — это правильно. Только ведь надо мужиком быть, а не старой бабой. Я ведь о чем говорю? Вот ты Вальку этого избил. Правильно. Нельзя мне тебе этого говорить, но я скажу — правиль-

но! Ты за мать заступился, а дальше что ты делаешь? Дальше ты сам оказываешься в тысячу раз хуже этого Вальки. Он про постороннего для себя человека пакость сказал. Со злости сказал, ну, может, из подлости, а ты о самом близком тебе такое, не узнав ничего, не поняв... Эх! Почему ты с отцом по чести не поговорил?

— Да как я мог с ним об этом...

— Смог же, — жестко сказал Лешка. — Напился для храбрости и смог. Знаешь, я сам выпить люблю, но напиться для того, чтобы подлость сделать, — это уж, знаешь, самая подлая трусость. Вот это что такое. Ты и есть — подлый трус. Вот ты кто. Обижайся не обижайся, а так и есть. Ты еще подумай, что ты с отцом делаешь?

Он замолчал и снова закурил, но сразу же смял папироску в пепельнице и сказал:

— Я спать буду, мне завтра вкалывать. А ты не смей спать. Думай. Не имеешь ты права сейчас спать. Думай, как тебе жить дальше.

И я думал, а утром, когда Лешка еще спал, тихо встал, оделся и ушел.

Отец еще был дома.

Когда я вошел в квартиру, он надевал шинель в передней. Он был гладко выбрит, но все равно было видно, что он не спал всю ночь. Губы у него были плотно сжаты и глаза какие-то холодные и жесткие. Он надел шинель, поправил привычно фуражку и сказал:

— У тебя на столе письмо. Прочти.

— Папа... — сказал я.

— Ладно, — просто сказал он, потом сморщился как от боли. — Прочти письмо и дождись меня.

Он ушел, а я долго стоял в своей комнате и смотрел на синий конверт, который лежал у меня на столе. Это было письмо от мамы, написанное еще до моего приезда из Красиков, как я понял, когда все-таки решился наконец прочитать его.

Письмо было какое-то путаное, сбивчивое, многие слова и фразы были зачеркнуты, но самое главное я понял. Мама писала, что ей очень тяжело, но что иначе она не может. «Я люблю детей и глубоко уважаю и ценю тебя, Коля, — писала мама, — я очень благодарна тебе за все, что ты для меня сделал, но жить так больше не могу». Она писала, что уже давно любит Долинского и не в силах больше мучиться сама и мучить всех. «Наверно, — писала мама, — я поступаю подло, но я ничего не могу сделать другого. Да, я воспользовалась твоим отсутствием, иначе у меня не хватило бы воли и я бы осталась на муку всем. Прости меня, если можешь. Ты добрый, смелый, сильный человек и поймешь меня, слабую бабу. И не сердись на меня — ведь ты меня и не любил никогда по-настоящему, то есть любил, конечно, но как-то уж очень спокойно, привычно, а мне надо было чего-то другого».

Дальше она писала, что не оправдывает себя, а ему желает всякого счастья и надеется, что он найдет это счастье, ведь он очень нравится настоящим женщинам, а она не настоящая.

Все это было в первой половине письма, а во второй говорилось о нас с Нюрочкой. «Детям скажи что найдешь нужным, я знаю, что ты поступишь правильно. Когда мы с Долинским (вначале там было написано «с Володей», но потом это было зачеркнуто, но разобрать было можно) устроимся, я смогу взять детей к себе, во всяком случае Нюрочку я заберу навер-

няка. А пока можешь им сказать, что я задержалась на гастролях, а я им, когда приду немного в себя, напишу».

Вот что было в этом письме. Было там что-то еще, но я не помню толком. Была там и какая-то странная фраза о том, что на этот раз это навсегда и возврата быть не может.

Значит, такое уже было когда-то? Значит, это уже не первый раз, так, что ли? А я-то ведь этого ничего не знал, не замечал даже...

Вот какое письмо написала мама. Вот что она сделала — мама. Взяла и уехала с Долинским. Очень просто — она нас любит, но Долинского любит больше; Колю — папу — она ценит и уважает, а Долинского любит. Все очень просто. Нам с Нюрочкой папа может что-нибудь сказать, например, что она задержалась на гастролях. А когда она там с Володей (который зачеркнут) устроится как следует, она детей, то есть нас, возьмет к себе, к себе и Володе. Уж Нюрочку-то она во всяком случае... Меня не во всяком, а Нюрочку во всяком. И все очень просто. Ведь это любовь... Ну, а папа — папа человек сильный и добрый, он все поймет и простит и поступит, как всегда, правильно. А если он не захочет поступить, как всегда, правильно? Вдруг возьмет и не захочет? Терпение у него лопнет всегда поступать правильно. Ты это учла, мама? И что значит — правильно? Может быть, он сейчас и не знает, что значит — правильно.

А мы с Нюрочкой как должны поступать? Тоже правильно?

А как это — правильно?

...Ну вот, теперь я все знаю. Мне от этого не легче, но все стало определенной; раньше я тоже что-то знал, но знал не наверняка, а теперь я знаю наверняка, только и всего. Раньше у меня была в основном злость, а сейчас еще прибавилась и обида. Раньше я еще надеялся, что это ошибка и все будет в порядке, а теперь я знаю, что все правда и ничего не будет в порядке. Раньше я думал, что даже если это и правда, то все еще можно поправить, а сейчас я начал бояться, что ничего уже поправить нельзя. Раньше я очень мало понимал, почему так все получилось, а теперь и совсем не понимаю: как же они, мои родители, жили все это время? Отец — он ведь умный, что же, он так и не понимал ничего? Значит, они ввали? Много, много лет подряд ввали и друг другу и нам с Нюрочкой? Как же это? Ведь не может же этого быть, ведь нельзя так! Или можно? Чтобы была «счастливая» семья, как у Валечки, да? Так какого черта вы вдруг перестали врать? Ввали, ввали много лет, а потом вдруг взяли и перестали и не подумали о нас с Нюрочкой. И как же ловко вы ввали, так ловко, что никто и не замечал ничего. Или это только я, дурак, ничего не замечал, а другие всё видели и молчали?

Ох, как я запутался! Как же все это случилось, и неужели ничего, ничего нельзя поправить? Батя, батя, ты же всегда говорил, что главное в человеке — честность. Как же?..

А дальше я сидел дома и ни на какие телефонные и дверные звонки не отвечал и ждал отца. И когда он пришел, мы поговорили.

А если сказать по правде, то почти и не было у нас никакого разговора. Так, перекинулись «по-мужски» несколькими словами, и все.

— Ты прочел?

— Прочел.

— Понял?

—

— Ну, вот...

— Ты прости меня, папа.

- Ладно. И ты тоже.
- Как на педсовете?
- Плохо.
- Исключили?
- Да. Но жить надо.
- Надо.
- Это я виноват.
- Брось, папа.
- Ну, ладно, что-нибудь придумаем.
- Придумаем.

Уже позднее я сказал ему:

- Ты только не пей, папа.
- Ладно. — Он усмехнулся. — И ты тоже.
- Ладно.

И совсем уже поздно вечером:

- Как с учебой будет, Саша?
- Пойду в ПТУ.
- Надо подумать. Могут не взять сейчас.
- Попробую.

Вот и весь разговор, который состоялся у нас тогда.

Мы не смотрели друг на друга. Трудно нам было смотреть друг на друга. Себя я ненавидел и жалел. А к отцу я стал относиться как-то странно: и жалко мне его было, и понимал я, что трудно ему, и презирал его за то, что он не смог со мной честно поговорить обо всем.

Здорово его стукнуло. Он даже как будто стал меньше ростом. И с тех пор мы с ним разговаривали очень мало и все только по делу. Мы как будто боялись друг друга и старались не вспоминать о том, что произошло между нами, и о том, что случилось с мамой. И как мне ни было плохо, я все-таки понимал, что ему еще хуже, чем мне. И как он ни крепился, я видел, что ему с каждым днем становится все хуже и хуже. Я просто не мог спокойно смотреть на него, когда он подолгу стоял у окна с пустой трубкой в зубах и изредка поглядывал как-то сбоку и снизу, словно украдкой, на большую фотографию мамы, где она снята совсем молоденькой и волосы у нее растрепаны от ветра, а она еще не смеется, но хочет засмеяться — вот-вот засмеется и закинет голову...

И вот, когда он смотрел так, мне хотелось подойти к нему и стать рядом. Ничего не говорить, а просто стать рядом. Но я не подходил.

И лишь однажды я спросил у него, знает ли мама, что Нюрочка больна. Он покачал головой и сказал, что нет, она не знает и не надо ее пока волновать — ей и без того нелегко, а Нюрочке ведь уже лучше. Он жалел маму! Я ничего не понимал. Больше мы на эту тему не говорили.

Я, конечно, видел, что он мучается, и считал, что это несправедливо, хоть мне и казалось, что во многом он сам виноват. Я и сам мучился и считал, что это совсем уже несправедливо, и я знал, что Нюрочка будет мучиться, когда станет постарше и поймет, что сделала мама. У меня и сейчас сердце разрывается, когда я прихожу к Ливанским навестить Нюрочку и она через каждые пять минут спрашивает, когда приедет мама, а я вру ей и уже так привык врать, что даже не краснею.

...А Долинского я ненавидел. Ночами я бил ему морду и расквашивал его красивый нос всмятку. Я видел, как он прямо терзает мою маму, не пуская ее к нам, и лупил его без всякой жалости и чем попало. Я становился чемпионом Европы по боксу и чемпионом СССР по самбо и бил этого До-

линского так, что у него только трещали кости и он летал у меня по всей квартире и только стонал.

И еще я злился на отца. Ведь это он должен бить Долинскому морду, а еще раньше, если он любит маму, то не должен был дать ей уйти с этим Долинским, а уж если прозевал, то должен найти их, набить Долинскому морду и привести маму за руку к нам. А то какой же он мужчина, если взял и просто уступил ему маму, и сам стоит у окна и сосет свою погасшую трубку.

А о маме я думал по-разному. Иногда так думал, что самому становилось страшно.

Однажды я спускался по лестнице, а на площадке внизу стояла наша соседка — та, что живет напротив. Она стояла с какой-то женщиной и громко говорила:

— Знаешь, я сама баба, но ее не оправдываю — двое детей. А «того» винить нечего. Если сука не захочет...

Тут они увидели меня и сразу замолчали. И заулыбались так ласково. И смотрели на меня так жалостливо. Может, мне и показалось, что они жалели меня, — мне тогда все время казалось, что на меня все смотрят как-то по-особенному, будто жалеют. Может, и не смотрели они на меня жалостливо, но я так разозлился на их улыбочки, что промчался мимо них пулей и нарочно чуть не сбил их с ног. И только потом, уже ночью, когда я думал опять о маме, я вдруг вспомнил, что сказала соседка, и уже не мог отвязаться от ее слов и от этой мысли.

И мне было так плохо... Я думал о маме и вспоминал, какая она веселая и красивая, и вспоминал разные случаи из нашей жизни, всякие — и хорошие, и плохие, — но больше почему-то хорошие или забавные, но эти проклятые слова, которые сказала соседка, не вылезали у меня из головы — я хотел от них отделаться и не мог; я говорил себе: «Дурак, дурак, ну какое это имеет



отношение» — а все-таки думал, что это имеет отношение, и вспоминал такие вещи, которые, может, и не похожи, а...

Как-то в прошлом году мы поехали покупать мне не то рубашку, не то куртку — не помню что. Мама всегда очень любила бегать по магазинам — примерять, смотреть, пробовать. Всегда долго выбирала какую-нибудь ерунду и была очень рада. И вот однажды она мне сказала, что мы поедем покупать не то рубашку, не то куртку, и мы поехали на Невский. На остановке получилось так, что она вошла с передней площадки, а я с задней, — народу было много.

Я видел, что она вошла, и начал протискиваться вперед, работая локтями и плечами. Мне несколько раз попало, но я все-таки лез вперед, думая все время о ней. Я добрался до середины трамвая и тут застрял. Я бы мог еще дальше протиснуться, но мне не захотелось. Мама стояла на передней площадке и улыбалась каким-то ребятам и хихикала с этими ребятами, и ей было очень весело. Я не стал протискиваться дальше — я подумал, что если ей весело с этими взрослыми парнями, то мне там делать нечего. Нет, наверно, тогда я совсем не так подумал, а подумал, что если она так радостно смеется с какими-то парнями и совсем забыла обо мне — о том, что я здесь, так ладно — я возьму и сойду на какой-нибудь остановке, а она пусть останется в трамвае и хихикает сколько ей влезет, а потом пусть ищет меня по городу, будет искать, искать и не найдет. Но я не вышел и стоял там, пока не освободилось место рядом. Тогда я крикнул через весь трамвай:

— Вера, иди сюда, есть место!

Я крикнул так несколько раз, и мама наконец понял, что это я зову ее. Она помахала мне рукой и начала пробираться ко мне, но эти парни, там на площадке, ее не пускали, и тогда она, улыбаясь, помахала мне рукой: дескать, вот видишь — не могу, но ты не беспокойся и сам садись. Я, конечно, не сел, на меня шипели, но я не садился и почему-то берег место для нее, а она там стояла и смеялась.

На углу Невского и Садовой мы вышли — я с задней площадки, а мама с передней — и пошли в Гостиный двор. Мы шатались по Гостиному двору так долго, что у меня закружилась голова и меня чуть не начало тошнить. А мама, как всегда, бегала от прилавка к прилавку, ей все очень нравилось, и она так была довольна, что я даже забывал о том, что у меня кружится голова.

А потом она кинулась к какому-то прилавку, а я уже настолько устал — не люблю я магазинов, — что остался в сторонке, дай, думаю, подожду ее здесь. Но я ее все время не упускал из виду — мы с ней на ВДНХ однажды потерялись. И вот я стою и не упускаю ее из виду, а рядом со мной стоят два дядьки. И один, такой розовый, в шляпе и в широких брюках, говорит:

— Меряла, меряла на миллион, купила на фитюльку, а бабка ничего...

— Мо-о-лоденькая, — сказал приятель, он тоже был в шляпе.

— Но в теле, — сказал тот розовый, и я так двинул его локтем в пузо, что почувствовал, как мой локоть куда-то погрузился, а дядька закричал и закашлялся и даже не успел обругать меня — я сразу рванул и начал пробираться к маме.

Я сказал ей, что у меня закружилась голова, и она сразу заторопилась, и мы быстро ушли из Гостиного двора, и мне пришлось выпить чуть ли не целый сифон газированной воды в «Кафе-мороженое» напротив.

Мы приехали домой, и мама сказала:

— А рубашку (или куртку) мы так и не купили!

— Я ему купил ракетку, — сказал папа.

— Ну и чудесно, — сказала мама, — а рубашку мы ему купим... на днях.

...А потом ко мне в комнату заходит мама, такая свежая, красивая, и пахнет от нее как-то очень вкусно, садится ко мне на диванчик и говорит, так хитренько улыбаясь:

— С-ань, а Са-а-ань...

— Ну, чего?..

— Са-ань...

— Ну, чего тебе?..

— Ты меня любишь?

— Мам, я спать хочу...

— Ты меня любишь?

— Мам, ну дай поспать... Смешная ты.

— Нет, любишь! Почему ты меня в трамвае Верой назвал, а не мамой?

А почему, в самом деле, почему?

— Ну... нечаянно, — говорю я и поворачиваюсь на другой бок.

А она вдруг целует меня и тормозит, целует и тормозит и говорит, что я умный и хитрый, — а я вовсе не хитрый, просто я подумал тогда в трамвае, что если она там улыбалась и хихикала с этими парнями, так это ей нравилось, а как бы они на нее посмотрели, если бы такой здоровый пацан, как я, крикнул бы ей «мама»... Ну!

Я молчу и думаю, что я, наверно, умнее ее, но, несмотря на это, я очень ее люблю, такую забавную. Вот она хитрит, хитрит, а я же все вижу, и она, наверно, видит, что я вижу, и оба мы делаем вид, что ничего не видим.

Она меня целует и говорит в ухо, так, что даже щекотно:

— Барбосик, ты не сердись, я тебе рубашку (куртку) куплю, такую хорошую...

А мне не надо никакой куртки. И я ничего-ничегошеньки не понимаю. И не могу на нее злиться. То есть могу, конечно, и иногда злюсь, но совсем недолго. Разозлюсь и через пять минут забуду, а когда она вот так тормозит меня и от нее так вкусно пахнет — я вообще могу все забыть и мне даже хочется поскулить немного и рассказать ей про все мои переживания... Но конечно, я ничего не рассказываю, а только смотрю на нее и думаю, что если мне и придется когда-нибудь на ком-нибудь жениться — так я женюсь обязательно на такой женщине, как мама...

Вот так. О чем бы я ни вспоминал, я обязательно натыкался на Долинского. И на маму. Рядом с ним. И мне хотелось выть и бить его до тех пор, пока он, красивый и бледный, не встанет перед нами всеми на колени. А потом я вспомнил ту фразу, которую сказала соседка на лестнице, и мне уже не хотелось его бить, и во мне все переворачивалось, и я только скрипел зубами оттого, что ничего не понимал и ничего не мог изменить. Я пробовал себя успокоить: мне ведь только четырнадцатый год, я просто еще не могу ничего понять. В этом возрасте надо отлично учиться и помогать государству сбором металлолома и посадкой деревьев, ну, и заниматься физкультурой, и если у тебя есть особые способности, то ты можешь стать чемпионом школы по настольному теннису или занять какое-нибудь хорошее место на городской математической олимпиаде.

Я и к Ливанским, если бы не Нюрочка, пожалуй, перестал бы ходить. Каждый раз, когда я приходил к ним, тетя Люка повторяла, что Арка-

дий Гайдар в шестнадцать лет уже командовал полком, и смотрела на меня укоризненно. А я никак не мог понять, к чему она говорит это, — ведь стоило мне только посмотреть на нее так, как будто я хочу спросить ее кой о чем, она сразу начинала ворчать, что я еще мальчишка и о некоторых вещах мне рано знать, и что я все равно ничего не пойму, и что главное для меня — это учиться, и так далее, и так далее. Как будто я не знаю, что Гайдар в шестнадцать лет командовал полком, а Володе Дубинину четырнадцати не было, когда он стал партизаном. Это ведь просто — вот так тыкать в нос и говорить красивые слова:

— Саша, надо быть честным...

— Саша, надо быть смелым...

— Саша, надо быть таким...

— Надо быть сяким...

— Саша, надо...

Мне кажется, что в последнее время со всех сторон слышу эти слова, хотя мне их и не говорят, а вот смотрят так, что я их слышу...

И, пожалуй, единственный человек, который мне не говорил ничего такого, — это Ольга. И поэтому мне с ней совсем просто. Она опять стала ходить к нам каждый день, и опять ворчала на нас с отцом, что мы «неухоженные», и прибирала квартиру, а иногда брала у бати деньги и мы ходили с ней за продуктами и она готовила домашний обед вместо наших голубцов и пельменей. Готовила она здорово, но, когда я ее спросил, как она научилась так здорово готовить, она расплакалась. Ее мама вот уже три года как не встает с постели — у нее какая-то тяжелая болезнь, — и Ольге приходится все делать дома.

С батей у нее был полный контакт, и мне казалось, что он всегда с облегчением вздыхает, когда приходит с работы и видит у нас Ольгу. С ней он подолгу разговаривал на разные темы и даже смеялся, но я-то видел, что зря она старается, — ему все «до лампочки», ему мама нужна, и никакая Оля тут не поможет. И я видел, что он совсем один, и вспоминал, как он говорил мне однажды: «Не дай бог, старик, остаться одному — хуже ничего на свете нет!»

И вот он шутит с Ольгой или говорит с кем-нибудь по телефону, а глаза у него далеко-далеко, и только когда он сидит с Нюрочкой, он смотрит как-то по-другому, но так, что на него самого тогда смотреть невозможно, — ведь Нюрочка очень похожа на маму... А я не похож... Я на него похож. И он на меня не смотрит, и все чаще и чаще от него пахнет водкой...

Как-то я пришел из спортивной школы — я ходил туда по-прежнему, ведь делать-то все равно нечего, — а у нас сидит Федор Алексеевич — адмирал, батин начальник и старый фронтовой друг. Я даже обрадовался: хоть этот вечер он не один будет. А потом увидел на столе бутылку коньяку. Я только посмотрел на бату, но ничего не сказал, а он засуетился:

— Вот, Сашок, видишь, Федор пришел. Ну, вот мы немножко и...

Я ничего не сказал, а Федор засмеялся своим хриплым басом.

— Ого! Строг он у тебя, — сказал он, — это хорошо.

Я пошел было к себе, но Федор задержал меня.

— Подожди, Санька, — сказал он, — дело есть.

И когда я спросил, что за дело, он сказал, что бате обязательно нужно ехать в командировку месяца на два, и довольно далеко, так что даже писать ему нельзя будет, и что я это время могу пожить у него.

— У Ливанских — Нюрочка. У них и так забот хватает, а у меня пожалуйста — живи сколько влезет. Только вот старуха моя на курорте, так что жить мы с тобой будем тоже по-холостяцки, ну, да тебе не привыкать.

— Зачем, — сказал я, — я и один могу пожить.

Они переглянулись, и Федор покачал головой.

— Нет, одному не стоит, — сказал он. — Николай волноваться будет, а ему там никак нельзя волноваться. Да и других у него волнений хватает — сам знаешь. Не маленький.

Они опять переглянулись, и я разозлился. Ну как же! Теперь-то они не считают меня маленьким. А одного оставить все-таки боятся.

— А с другой стороны, — продолжал Федор, — и у меня он тоже вроде один будет. Я ведь то в Москву, то еще куда... Да и с работы прихожу черт те когда. Да-а-а...

Федор вдруг оживился.

— Слушай, Коля, — сказал он, — а если его к боцману? А?

— К Андреичу? — спросил отец.

— Ну да! А что? Это — идея!

И судьба моя была решена, спорить было бесполезно. До приезда Федоровой «старухи-адмиральши» я должен был жить у старого боцмана, того самого безногого Андреича, у которого мы как-то были с батей. Я не возражал. Мне было на все наплевать.

Уезжать батю надо было рано утром, и он пошел к себе собираться. Мы остались с Федором. Он налил себе рюмку коньяку, выпил, крикнул, пососал лимон и засмеялся — как будто железо ржавое заскрежетало.

— Ну, ты даешь, — сказал он и удивленно покачал бритой догола головой. — Ну, даешь!

Я не понял, и он объяснил мне:

— Я про концерт, который ты батьке выдал.

Значит, отец рассказал ему. Ну что ж, я не имел права обижаться — Федор лучший его друг, а я... я ведь почти незнакомому человеку — Лешке — все рассказал. Так чего уж тут. И все-таки мне было обидно, что Федор над этим смеется. Ну да, у него характер такой, ужасно прямой характер. Он кому угодно все, что угодно, мог прямо в глаза сказать. И, пожалуй, его за это все уважали и побаивались.

Федор, наверно, не позволил бы увести от себя свою адмиральшу, свою «старуху». А «старуха» у него была что надо — маленькая, стройная, веселая и очень красивая. Он рядом с ней прямо каким-то слоном выглядел, а когда на нее смотрел, так глаза у него совсем телячьи делались. А она на него молилась, молилась прямо, и все тут. Нет, не уступил бы Федор свою «старуху» какому-то там Долинскому. Да и она от него не сбежала бы. А впрочем, может быть, и сбежала бы, может, еще и сбежит... Что будет делать Федор, если его адмиральша... Вон батю так скрутило, что узнать его нельзя. Никогда я не думал, что его так может скрутить, — человек войну прошел, чего только в жизни не перенес — и вот на тебе!..

Федор говорил мне что-то, но я только кивал, а сам ничего не слышал. Он разозлился:

— Ты что, как китайский болван, головой качаешь?! Ты слушай, что я тебе говорю... Ты, парень, на батьку не обижайся. Ему сейчас ох как кисло. И если по правде говорить, так я его нарочно в командировку посылаю. У него сейчас на берегу работы маловато, а там ее навалом будет. А когда у человека работы выше головы, ему всякой дури в голову меньше лезет. А Николай такой — если у него работа есть, он все на свете позабудет,

только давай. И ветерком его там обдует — проветрится. Это я тебе как мужик мужику говорю, и надеюсь, что ты поймешь все как надо. Конечно, я понимаю, что тебе тоже не сладко и одному оставаться тоже не ахти какой компот... Ну, уж ты, брат, продержись немного — батьку выручать надо.

Все это я понимал. Не понимал только одного — батьку выручать надо, а нас с Нюрочкой не надо, что ли? Мы что, уж совсем ничего не значим? Конечно, нас не сравнить с батей, но хоть что-нибудь мы ведь тоже значим. И если отцу не обязательно в командировку ехать — выходит, он просто удирает? Сматывается? Значит, он там будет свое горе лечить, а мы тут должны быть пай-мальчиками...

Ничего я этого не сказал. Все почему-то уж очень хотят, чтобы я был мужчиной. Что ж, попробуем...

Федор ушел, сказав, что заедет к Андрейчу и обо всем договорится, а завтра утром прийдет за батей машину и мы поедем на аэродром, а потом шофер отвезет меня к Андрейчу.

— Держи штурвал крепче, Санька, — сказал он на прощанье, — а мы тебя не оставим.

Ладно, подумал я, сейчас уж я сам себя не оставлю.

Батя собрался, и мы с ним немного поговорили. Совсем немного. Он говорил, чтобы я вел себя как следует, чтобы не скучал и не забрасывал самостоятельную учебу, чтобы ел как следует и не забывал Нюрочку, и что денег он мне оставит, и чтобы я их отдал Андрейчу, а тот мне будет давать, когда потребуется, ну все такое прочее.

Я слушал и кивал головой, и обещал навещать Нюрочку и не бросать занятий, а сам думал: «Эх, совсем не о том говорим мы с тобой, батя, совсем не о том...»

— А с Нюрочкой ты попрощался? — спросил я у отца.

— Я вчера весь день у нее был, — сказал он и вздохнул. А мне совсем его не было жалко.

Утром он улетел. И только когда самолет совсем не стал виден, какой-то комок застрял у меня в горле и торчал там до тех пор, пока я не приехал к Андрейчу.

А дальше все как будто остановилось. Что-то я делал, куда-то ходил, но все это так, как будто не я, а кто-то посторонний.

Заходили ко мне ребята — Гришка, Ося и даже Наташа приходила несколько раз. Гришка и Оська болтали о пустяках и рассказывали разные школьные новости, и не приставали с расспросами, и это было хорошо. Между прочим, они рассказали, что Конь беседовал с ними и сказал, чтобы они не бросали товарища в беде. Ишь какой благородный Конь! И еще он сказал, что если бы я пришел и по-человечески рассказал, в чем дело, то все можно было бы исправить, а так он ничего поделывать не мог — большинство педсовета, кроме Капитанской дочки, которая тоже ничего не могла объяснить, и еще кого-то, было за то, чтобы меня исключили. Я не обижался на педсовет. Что они могли еще сделать, — ведь они ничего не знали, а поступок-то действительно был хулиганский — это я говорю не для того, чтобы показать, какой я хороший, все, мол, осознал. Нет, я, в общем-то, не жалеюнисколько, что избил Валечку, просто я понимаю, что это не метод — решать все дела кулаками, — ничего ровным счетом не докажешь, только себе хуже сделаешь.

Гришка и Оська рассказали, что Валечка через неделю был уже в школе, пришел в синяках и шишках, тихий, как мышь, и с ним никто не разгова-

ривает, все догадались, что это он написал письмо Капитанской дочке. А потом в школе появился его отец, и ребята видели, как он волок упирающегося Валечку по коридору в учительскую. Валечка плакал, а у Панкрушина был такой вид, как будто он возьмет сейчас и выкинет Валечку в окошко. Через некоторое время в учительскую позвали Капитанскую дочку. Она недолго пробыла там и вышла бледная и строгая, а потом в класс боком пробрался Валечка и забился в угол.

После посещения Панкрушина все стали говорить, что Конь решил назначить новый педсовет для пересмотра моего исключения. Но меня это как-то совсем не волновало. Не хотелось мне ни в школу, никуда. Хотелось иногда уехать куда-нибудь далеко-далеко, чтобы забыть все и ни о чем не думать. Даже от ребят я уставал, хоть они и старались меня по-всякому расшевелить. Гришка и Оська хоть понимали, что мне не до них, и догадывались, когда надо уйти. Навешал Нюрочку и разговаривал с Ливанским об олимпиаде, а он смотрел на меня какими-то виноватыми глазами, и тетя Люка смотрела тоже какими-то виноватыми глазами. И мне было неловко перед ними и даже почему-то жалко их. Я старался больше сидеть с Нюрочкой, хотя это тоже было нелегко. Через каждые пять минут она спрашивала, когда придет мама и почему не приходит папа, и я врал ей.

...Я лежал на раскладушке, и сна у меня не было ни в одном глазу. Андрейч сидел за своим столиком и что-то бубнил себе под нос. Мне он был виден сбоку, и я все время поглядывал на него: очень он мне нравился, когда мастерил свои корабли. Повозится с какой-нибудь деталькой, потом сдвинет очки на лоб и рассматривает ее издали, поворачивает и так и этак, гладит огромными скрюченными пальцами, и лицо у него какое-то особенное — доброе и серьезное. Бормочет себе под нос, иногда улыбнется чему-то и даже курить забывает, — так и торчит потухшая беломорина под усами, а он только мусолит ее. Домусолит до конца, выплюнет под столик, закурит новую и про нее тоже забудет. А я лежу и поглядываю на него.

И тут пришел дядя Юра. Раньше он приходил всегда днем, а тут вдруг пришел часов в одиннадцать вечера.

— Спит? — тихо спросил он.

Я и не думал спать, но тут решил притвориться, что сплю, — не хотелось мне опять видеть его виноватые глаза и слушать всякую непонятную чепуху — не то утешения, не то наставления... Мне после этих разговоров чуть не плакать хотелось.

— Спит, — сказал Андрейч, — чего ему делается...

— Нет, Андрейч, не говорите, — сказал дядя Юра, — он очень переживает все это.

— А чего сейчас переживать-то? Сейчас надо жить, а не переживать. Пацан он еще, — сказал Андрейч, и я не понял, то ли он сердится, то ли рад, что я еще пацан.

— Пацан, — согласился дядя Юра, — но не кажется ли вам, Андрейч, что недооцениваем мы таких вот пацанов — ведь ему уже четырнадцать, а такие уже многое понимают.

— Это смотря какие пацаны, — подумав, сказал Андрейч.

— А себя, себя вы не помните в четырнадцать лет? — спросил Кедр.

— Себя?! — Андрейч громко захохотал и сразу прикрыл рот рукой, посмотрев в мою сторону. Я зажмурился.

— Себя! Да я в четырнадцать годов знаешь как за девчонками ухлестывал, — хихикая, сказал Андрейч. — А он — что, он домашний. Поди, и сейчас думает, что детей в капусте находят.

— Тише, — испуганно зашептал дядя Юра, — вдруг да не спит!

Я зажмурился еще крепче, и мне почему-то стало жарко, а Андреич рассердился. Он даже зашипел:

— Ну и что, если не спит?! «Тише, тише!» Вот мы всё так — тише да тише, все скрываем, а сами пакости у них на глазах делаем, а потом и руками разводим — откуда они все знают?

— Ну, а вы-то сами говорите, что уже в четырнадцать... — начал дядя Юра, но Андреич перебил его.

— Старый ты, писатель, а еще глупый, — сердито сказал он. — Я в десять лет теленка от коровы отцу принимать помогал, и мать моя, почитай, каждый год рожала, и видел я, каково это ей сладко было. А за девками ухлестывал, только ведь как? Прикоснуться не смел! Знаешь, когда я бабу в первый раз узнал?! То-то... В двадцать пять годков! — Он вдруг засмеялся. — Поздновато, конечно... Ну, правда, целоваться да обниматься я раньше начал, а чтоб чего-нибудь серьезнее — ни-ни! Потому — понимаю: кому забава, а кому и саночки возить.

Я лежал тихо-тихо, даже дыхание затаил, и хоть шевелилась у меня где-то мысль, что я ведь подслушиваю, а не слушать нельзя было — очень уж интересный разговор начинался. Надо же было мне разобраться в некоторых вещах, ну я и слушал. Наставил уши, как локаторы, и слушал.

— Вот так-то, — сказал Андреич, — а ты «тише»... Ты чего пришел-то, на ночь глядя! Стряслось опять что, или так — языком потрепать? Пси... психологию разводить?

— Нет, — не очень уверенно сказал дядя Юра, — ничего не стряслось... Просто, — он вдруг засуетился, подошел к вешалке и стал доставать из карманов плаща какие-то свертки, достал банку консервов и завернутую в бумагу бутылку.

— Вот, коньячок, — сказал он застенчиво и поставил бутылку на стол перед Андреичем.

— Мужской разговор, — крикнув, сказал Андреич. — Не иначе, со старухой поцапался.

— Поцапался, — грустно сказал дядя Юра.

— Чего не поделил?

— Все из-за этой истории, Андреич. Лиза считает, что мы должны вмешаться, а я категорически против... был категорически против, а сейчас... сейчас не знаю. Все это очень, очень сложно, и грубым вмешательством тут...

— А чего тут сложного, — рассердился Андреич, — сука Верка — и вся сложность. Да нет, сука и та своих щенят не бросает.

— Ну, нельзя же так, Андреич. Любовь — это такая область человеческой жизни...

— Не было у Верки любви, — решительно сказал Андреич, — не было. Николай — это верно — любит, а у нее не было. Это я ему с самого начала сказал: не любит она тебя. Так — благодарна за то, что в блокаду ее от смерти спас, а любви не было. А он, дурак, не верил, ну вот и кусай теперь локти.

— Я догадывался об этом, — сказал дядя Юра печально.

— Ты догадывался, а я знал, — сказал Андреич. — Вот ты все стишки пишешь, и все про любовь, а ни хрена ты в этой самой любви не разбираешься.

Они уже выпили, Андреич хватил целый стакан, а когда выпьет, он всегда идет в атаку. А я слушал, слушал, и все тут... Страшно мне было

слышать то, что говорил Андрич, и все время хотелось крикнуть, что это неправда, но я молчал и только слушал, и в башке у меня был сумбур, и все вспоминалась та противная фраза, которую сказала тогда на лестнице наша соседка.

Они выпили еще и стали кричать, что любви нет, потом, наоборот, что есть, и было непонятно, кто с кем спорил. Дядя Юра вспоминал каких-то поэтов и писателей, кричал про какую-то Петр... Петрарку и какую-то Лауру и про Ромео и Джульетту, а Андрич ругался и тоже кричал про какую-то Людмилу, и оба кричали, что Николай тряпка и баба, и ужасно жалели нас с Нюрочкой и говорили, что что-то надо сделать, а что сделать, так и не знали, и то соглашались, что Верку надо вернуть, то говорили, что любовь — это не картошка и никому мешать нельзя, и тут же Андрич говорил, что у нее и с этим артистом тоже никакой любви нет, а дядя Юра кричал, что это уж совсем черт знает что и Вера замечательный человек, а Андрич — старый развратник, если может думать так, а Андрич кричал, что он так не думает, и если Ливанский думает, то он не посмотрит, что он поэт, и выдерет ему все усы, очень даже просто... Так они кричали долго и совсем забыли, что я сплю, а потом, накричавшись, затихли, и Андрич только кряхтел, а дядя Юра вздыхал и сморкался. Когда он уже оделся, Андрич спросил его:

— А как девчонка-то?

Дядя Юра опять вздохнул очень тяжело.

— Вот из-за этого мы и поссорились с Лизой, — сказал он. — Она у меня очень суровый человек и не прощает людям никаких слабостей. И она очень осуждает Веру и считает, что девочке нужна мать.

— А ты не так считаешь, что ли? — спросил Андрич.

— Я, конечно, тоже так считаю, — быстро сказал дядя Юра, — но все это очень сложно и сейчас еще рано вмешиваться, — может быть, еще все образуется, а если сейчас вмешаться, можно только еще больше все осложнить. Пусть Вера как следует проверит себя, и если она действительно любит Долинского...

— Она уже раз проверяла, — фыркнул Андрич, и мне захотелось запустить в него чем-нибудь, ботинком, что ли, но я сразу же вспомнил мамино письмо, и мне расхотелось. Только на сердце стало еще тяжелее.

— Не знаю, ничего не знаю, — как-то отчаянно сказал Кедр. Он потыкался в дверь и насилу нашел ручку. Андрич еще долго кряхтел, кашлял, плевался, ругался, укладываясь спать. Наконец улегся.

А я не спал всю ночь...

Конечно, ни в какое ПТУ меня не взяли. Почти все время я сидел у Андрича в его полуподвале и смотрел, как он мастерит свои корабли, или читал, а иногда делал уроки — их приносили мне ребята, а чаще всего Ольга. Но занимался я через силу, нехотя, — просто надо было чем-то заняться, чтобы поменьше думать о всякой всячине. А вот читал я очень много, и всё «взрослые» книги. Детские меня уже не устраивали. Я прочел «Анну Каренину», и мне даже начало казаться, что я стал лучше разбираться в жизни и в том, что такое любовь, из-за которой люди делают так много глупостей. И еще много читал про любовь, даже знаменитого Мопассана, которого детям до шестнадцати читать строго воспрещается. Этот Мопассан совсем запутал меня, и после него снились такие сны, которые стыдно вспоминать.

Так я хватался то за одну, то за другую книжку, и то мне казалось, что я уже что-то понял, а то, наоборот, чувствовал, что понимаю все меньше и меньше. И наконец я решил плюнуть на всякие такие книжки и начал читать только про шпионов, — там, по крайней мере, все понятно. И еще фантастику. Хоть думать ни о чем не надо. И еще я решил, что до всего, наверно, надо доходить своим умом, самому надо понять, что к чему и почему на свете происходят разные истории вроде нашей. А как это доходить своим умом — я и не знал. И никого не было рядом, кто бы мог помочь, и я тыкался носом, как слепой котенок, в разные углы и набивал себе шишки.

Как-то я даже решил посоветоваться о своих делах — не обо всех, конечно, а о некоторых с Капитанской дочкой — она ведь умная и многое сможет понять. Я знал, по какой улице ходит она из школы, и решил подождать ее на углу, но так, чтобы ребята не видели. И я дождался ее. Она шла с... физиком и была очень веселой. Меня она не заметила: я спрятался в парадную и там стоял злой, пока они не прошли. И в голову мне лезли всякие мысли вроде: «Дыму без огня не бывает» — и еще, что все бабы одинаковы — вот идет со своим физиком и смеется, а до меня ей никакого дела нет, и, наверно, Валька тогда правду в том письме написал. И мне стало совсем нехорошо, и я окончательно решил, что ни с кем советоваться не буду, а буду жить как живется, и все... И все больше мне хотелось куда-нибудь уехать, чтобы не видеть никого из знакомых. И не то чтобы я злился на отца за то, что он уехал и оставил нас с Нюрочкой, нет, — мне просто было очень обидно. Ну почему он не говорил со мной по-настоящему? Боялся, что я не пойму? Или гордость не позволила? Если бы он хоть раз сказал мне: ладно, Сашка, проживем! Если бы хоть объяснил, почему так получается в жизни... А он уехал, смылся! А мне кто сейчас мешает смыться? Они оба могли, а я не могу, да?

Вот так я сидел на нашей аллейке и думал, думал, и башка у меня трещала от всех этих мыслей.

Уже темнело, и на аллейке никого не было, только изредка проходили парочки, и я смотрел им вслед и злился и на них, и на себя, и на весь мир. Я и не слышал, как подошла Лелька.

— Сань, а Сань, — сказала она и погладила меня по голове.

Я стиснул зубы. Ну, ну, подумал я, только ее мне сейчас не хватало. Я встал со скамейки и оперся спиной о дерево, о такую толстую липу или тополь, черт его знает.

— Чего тебе? — сказал я.

А она подошла близко-близко и опять погладила меня по голове, потом прижалась ко мне, и я чувствовал ее грудь и ноги и, как тогда у подоконника, никуда не мог деться, вминался в эту толстую липу и все без толку, а она прижималась ко мне все сильнее и сильнее и говорила:

— Сань, Са-ань...

— Уйди ты, — сказал я.

— Нет, не-е-ет, — сказала Лелька. — Жалко мне тебя, Саня.

— Дура ты, — сказал я.

— Ну и что? — шепотом спросила Лелька.

Она обнимала меня так, что я никак не мог отцепиться. Я отрывал ее руки от своей шеи, а она говорила мне, что я глупый. «Глупый, глупый», — говорила она мне, и я не знал, что делать, и мне было и противно и... приятно, приятно и противно. Я наконец оторвал ее руки от своей шеи.

— Сука ты, — сказал я.

Я еще держал ее руки в своих и почувствовал, как они вдруг стали каки-

ми-то ватными, — вот так — еще только что были живыми и теплыми и обнимали меня за шею, а как я сказал это, сразу стали другими — ватными, а потом деревянными. Я отпустил их. А она сказала:

— Глупый ты, глупый, — и ушла.

Зажглись фонари, и стало светло, и я видел, как она шла по нашей аллейке, шла, постукивая каблучками, и не оборачивалась. И руками она не размахивала, а были они как-то странно прижаты к бокам, как будто неживые.

А я рванулся в сторону и побежал по аллейке, и бежал под фонарями, и кусты мелькали передо мной, а я все бежал... Хва-а-атит! Хватит меня жалеть. Брось ты свои эти штучки, Лелька! Ты-то ведь девчонка, ну и ты по-другому не можешь, — наверно, ты думаешь, что если прижмешься — так это и все; нет, не все, наверно. Это, конечно, здорово, но это не все. Ты не сердись на меня, Лелька, не сердись, ладно? Мне-то сейчас не это нужно, Лелька. А что мне нужно, что? Может, мне нужно, чтобы кто-нибудь позвал меня в школу или чтобы кто-нибудь поговорил со мной по душам, не жалел, а просто поговорил и сказал бы: «Не беда, Сашка, проживем, еще и не такое в жизни бывает...»

...Вечером ко мне, вернее к Андреичу, пришел Пантюха. Он был какой-то скучный и долго мялся в дверях, а потом подошел к Андреичу, ткнул пальцем в один из кораблей и спросил:

— Эт-то фрег-гат «Б-баллада»?

— Ага, «Баллада», — презрительно сказал Андреич. — Откуда ты такой взялся?

— Оттуда, — мрачно сказал Пантюха. — Пойдем, Сашка, прошвырнемся.

— Ишь грамотный, — сказал Андреич. — Куда это на ночь глядя прошвыриваться?

— На танцы, — сказал Пантюха.

Андреич поперхнулся дымом:

— На танцы?! А ну, геть отсюда!

— Это мой друг, Андреич, — сказал я.

— Друг? — недоверчиво спросил Андреич. — Верно? — И он посмотрел на Юрку.

Я видел, что Пантюха хочет что-то ляпнуть, но он вдруг тихо сказал:

— Верно.

— Ну, раз верно, тогда другое дело, — сказал Андреич. — Смотри, Сашка, не поздно. Все же я за тебя отвечаю.

— Все за него отвечают, — проворчал Юрка, — а как до дела...

Андреич ничего не сказал и только покачал головой, вроде бы согласился.

Мы вышли, и я спросил Юрку, куда пойдем.

— Я же сказал — на танцы, — сердито ответил Юрка. Станный он все-таки парень — никогда не знаешь, чего от него ждать. И все-таки он настоящий друг — в этом я уверен.

Самое интересное, что мы действительно пошли с Юркой на танцы. Пантюхе зачем-то нужен был Генка Наконечник. Была суббота, а в субботу Генка всегда ходил на танцы в Удельный парк. Вот мы и отправились туда. У входа в закрытый павильон толпились ребята и девчонки, у которых, наверно, не было денег, чтобы попасть внутрь. А около них лениво проха-

живались дружинники с повязками и следили за порядком и чтобы никто не пролез бесплатно.

Юрка отыскал в толпе какого-то парня и спросил у него, где Наконецник. Тот кивнул на павильон. И после этого началась какая-то чепуха. Юрка потянул меня за собой, и мы подошли к входу, где стояли контролерша и дружинник.

— Т-тетенька, — заныл Пантюха, — пропустите, пожалуйста. У меня т-там братишка, м-мне его вызвать н-надо — м-мама у нас заболела...

— Знаем, какая у вас мама, — сердито сказал дружинник. Он взял Юрку за плечо, повернул и подтолкнул со ступенек.

— Ну, ч-честное с-слово, дяденька, — совсем уж со слезами в голосе сказал Юрка, — оч-ч-чень надо б-братишку. В-вот хоть у него, — и он показал на меня, — спросите.

Дружинник и контролерша посмотрели на меня, и я, злясь на Пантюху, кивнул, что да, мол, нужен братишка.

Контролерша неуверенно посмотрела на дружинника, а тот усмехнулся и сказал:

— Ну, если так уж нужен — так мы его вызовем сюда, а вам там делать нечего. Как зовут братишку-то?

— Генка, — нехотя сказал Пантюха.

— А фамилия? — спросил дружинник.

— Н-ни-нак... — начал было Пантюха, но вдруг махнул рукой и сбегал по ступенькам вниз.

— Ну и плюнь ты на него, — сказал я, — зачем он тебе?

Мы сели на скамейку. Пантюха мрачно молчал. Я молчал тоже — уж я-то знал его характер. Он заговорил первый.

— Н-надоело все, п-понимаешь, — мрачно сказал Юрка. — Этот все ходит и ходит. И мамка на меня уже к-как на в-в-врага какого смотрит, а чт-т-то я ей д-добра желаю — не понимает, — он махнул рукой. — Н-ну и милиция пристаёт, чт-то не учусь н-н-нигде.

— Ты же говорил...

— М-мало ли что я говорил. Д-да я недавно только и б-б-бросил учиться-то.

Я спросил его, не жалко ли ему было бросать школу юнг.

— Ес-с-сли бы, — сказал Пантюха и добавил совсем уже мрачно: — Я в-ведь в п-п-поварской школе учился — мамка меня т-т-туда засунула... Сама повариха, ну и...

И не до смеху мне было, а я все же засмеялся, уж очень это неожиданно было: Пантюха — и вдруг... повар!

— Т-тебе смешно, — грустно сказал он, — а мне хоть п-плачь: ф-фри-касе, б-б-бланманже, антрекот, с-с-сосиски с к-к-капустой... видеть не могу... Н-ну и д-дал деру. М-мамка ругается, милиция п-п-прицепилась. Эх!

Он помолчал, а потом вдруг крикнул:

— Ну их всех к черту! Вот в-возьму и смоюсь! Уб-бегу...

— Куда, Юрка? — спросил я, и сердце у меня заколотилось.

— М-мало ли мест есть. В Сибирь или еще куда... Все равно им не п-п-помешать.

— А зачем мешать, Юрка? Наверно, они и в самом деле любят друг друга. Вот и у тебя... семья будет... настоящая...

— К-как у т-т-тебя? — зло сказал Юрка.

Я встал. Он потянул меня за руку, и я опять сел. Чего уж там — ведь прав он, прав...

— Н-н-не злись, — тихо сказал Юрка, — сам н-н-не знаю, что п-п-плету...

Я не злился. Почему-то чужая беда нам всегда кажется меньше нашей собственной. И Юрка мне об этом напомнил — вот и всё.

— Деньги нужны, — сказал я, и Юрка посмотрел на меня, — для того, чтобы ехать, деньги нужны...

— Наконечник мне должен, — мрачно сказал Юрка, — он сегодня получил, я знаю, а завтра у него черта с два выпросишь.

Он решительно встал:

— П-пошли.

— Куда? — спросил я.

— Т-т-тут лазейка есть, — сказал Юрка, — ч-ч-ерез уб-б-борную.

— Не стóит.

— С-д-д-дрейфил? — сказал Пантюха и пошел за угол.

Через разбитое окно уборной мы попали в павильон. Народу там было немного, и все больше танцевали девчонка с девчонкой, а парни стояли у стенок, засунув руки в карманы, дымили сигаретами и посмеивались, переговариваясь между собой. Я еще ни разу не был на дискотеке, и мне было интересно, я только удивлялся, почему парни не танцуют, а потом понял: когда заиграли что-то вроде рока — они все, как по команде, отошли от своих стенок и начали приглашать девушек. А до этого играли какой-то не то «Краковяк», не то еще что-то. Мы стояли в углу, и я глазел по сторонам, а Юрка высматривал Наконечника. Танцы мне не очень нравились — ребята выламывались и дергались, а девчонки дрыгали ногами. Только несколько пар танцевали хорошо, и я даже загляделся на одну тоненькую, стройную девчонку, но лица ее я не видел — она все время танцевала ко мне спиной. А когда наконец повернулась, я узнал Лельку. Она была веселая, и глаза у нее блестели, и мне вдруг стало обидно: вот, подумал я, еще недавно меня жалела, а сейчас смеется и отплясывает с каким-то хиппарем. Правда, насчет хиппаря я со злости подумал, — парень хороший был, и смеялся он хорошо. Но все равно мне было обидно, как будто она меня обманула в чем-то, эта Лелька, хотя я и понимал, что было бы смешно, если бы она рыдала где-нибудь в уголке из-за моих переживаний. Что-то уж слишком обидчивый я стал...

Юрка тоже заметил Лельку.

— И эт-т-та з-з-здесь, — зашипел он. — Н-ну сейчас я ус-с-трою ей н-н-номер... — И он сделал шаг из угла.

Я схватил его за руку. Я даже разозлился — ну что, в самом деле, надзиратель какой-то, никому жить не дает.

— Да брось ты, — сказал я, — она ведь уже большая, чего ты ей мешаешь...

— А т-ты добренький, — опять зашипел Юрка, — б-большая... ишь ты... вот я ей с-сейчас... покажу, к-к-акая она б-б-ольшая, — и он рванул в сторону круга, но я так дернул его за руку, что он удивленно посмотрел на меня.

— Н-ну, ладно, ладно, — сказал он, — не трону я т-т-вою Лельку, не до нее мне сейч-ч-час. Я ей дома...

— Ох, и зануда ты, — сказал я.

Пантюха хотел что-то ответить, но только посмотрел на меня как-то странно, жалея вроде, махнул рукой и вдруг оживился.

— В-вот Наконечник, — сказал он.

Генка стоял неподалеку от нас с какой-то хорошенькой девушкой и что-

то рассказывал ей. Он сгибался чуть не пополам, кривлялся, елозил ногами по полу. Я даже удивился: ведь с нами он тоже трепался и говорил забавные вещи, а не кривлялся же и не ломался, как сейчас.

«Обрабатывает», — подумал я, и мне стало противно и... любопытно до невозможности.

— Пойдем, — сказал Пантюха.

— Да я-то тебе зачем? — спросил я.

— А он при т-т-ебе п-постесняется деньги зажать, — сказал Юрка.

Но не такой был парень Наконечник, чтобы кого-нибудь стесняться. Когда мы подошли, он раскинул руки и заорал на всю площадку:

— Кто пришел! Я не верю своим глазам: ты ли это, Пантюшечка? Решил прожигать жизнь? И не один, а со своим другом. Олечка, разрешите мне представить вам своих лучших друзей: это вот Юрик — отличнейший парень — львиное сердце. — И он слегка подтолкнул Юрку к девушке.

Она протянула Пантюхе руку, а тот даже не посмотрел на нее. Девушка покраснела, а Генка укоризненно покачал головой, но продолжал как ни в чем не бывало:

— А это Саша — тоже отличнейший парень, благородный и красивый...

Я покраснел, а девушка с опаской посмотрела на меня и опять протянула руку, но уже осторожно. Я быстро пожал ее. Рука была теплой и чуть влажной, и мне почему-то стало не по себе оттого, что эту девушку тоже зовут Олей.

— Н-н-аконечник, д-д-еньги г-г-гони, — сказал Пантюха.

Генка продолжал улыбаться, но глаза его сразу сузились.

— Простите, сэр, — сказал он, — я вас не понимаю.

— Ч-чего п-понимать — г-гони, и все, — упрямо сказал Пантюха, — т-ты п-получил...

Я дернул Юрку за рукав. Он отмахнулся и зашипел:

— Т-ты еще ч-чего? Д-д-добренький!

— А ну, отойдем, — сказал Наконечник. — Извините, Олечка, дела...

— Ч-чего отходить... — начал было Пантюха, но Наконечник взял его за плечо так, что он даже сморщился, и повел в сторону. Я пошел за ними. Девушка ничего не понимала, а на нас уже начали обращать внимание. Генка отвел Пантюху в угол, а мне махнул рукой, чтобы я остался в сторонке. Я не слышал, что они там говорили, видел только, как Юрка замахал руками, а Наконечник, согнувшись чуть не пополам, что-то втолковывал ему, и глаза у него совсем превратились в щелки, а лицо стало злым.

Так они говорили довольно долго, а потом Пантюха вдруг заорал на весь зал:

— У-у, гад, г-гони деньги!

— А ну, цыц! — сказал Наконечник и сунул под нос Юрке кулак.

Пантюха вцепился в Наконечника и начал орать уж что-то совсем несуразное. Генка взял его за отвороты курточки и стал трясти, а Юрка пытался лягнуть его ногой. Я бросился к ним и тоже вцепился в Наконечника. Нас окружили и начали смеяться и подначивать, но тут через толпу пробрались два здоровых парня с красными повязками и, ни слова не говоря, повели нас в штаб дружины. Я уже и не помню, как и когда Наконечник смылся, и в штабе мы оказались вдвоем с Пантюхой. Разговор был короткий: работаете? учитесь? где живете? зачем приперлись на дискотеку — ведь еще пацаны совсем, почему драка?

Мы не работали и не учились, адреса назвали, а насчет драки и того, кто

такой Наконечник, Юрка молчал, а я тем более. Пока выясняли, не наврали ли мы свои адреса, и записывали наши фамилии, фамилии родителей и место их работы, мы сидели в углу на скамейке и молчали. Пантюха старался на меня не смотреть. А мне было все как-то безразлично — ну, еще одна беда, все равно плохо. Вот тут у меня и мелькнула мысль уехать куда-нибудь, смыться к черту на кулички. Мне и раньше приходила в голову эта мысль, но как-то неопределенно, а тут она втемяшилась накрепко, и я сидел и твердил про себя: уеду, уеду.

Наконец нас отпустили, сказав, чтобы мы немедленно шли домой, и еще сказали, что о нашем поведении сообщат родителям по месту их работы. Только этого мне и не хватало! И тогда я совсем твердо решил, что уеду, удеру вместе с Пантюхой, а если он почему-либо передумает, то уеду один. В деревню, например, в Красику, или еще куда-нибудь.

Как только мы вышли из штаба дружины, Пантюха сразу начал ругаться страшными словами. Он поносил и Наконечника и себя за то, что связавшись «с эт-т-той п-падлой», и меня за то, что я... увязался за ним. Я даже и не злился на него, — он, по моему, от злости уже ничего не понимал.

Мы выходили из парка, и на одной из аллей я увидел Наконечника. Он держал под руку ту самую девчонку Олю и, наклонившись, что-то говорил ей. Девчонка смеялась. «Обработал», сволочь, подумал я со злостью на эту девчонку и с обидой за нее. Юрке я не сказал, что заметил их, — не хватало нам еще раз в милицию попасть, — а он так ругался, что ничего вокруг не видел.

Когда мы подходили к дому, Пантюха немного остыл и я спросил, какие деньги он требовал с Наконечника.



— Д-да вместе мы с ним одно дело сд-д-делали, — неохотно сказал Пантюха. — А тебе н-н-нечего в эт-ти д-дела лезть, у т-тебя и своих х-х-хватает.

Я не стал допытываться, — наверно, что-нибудь опять вроде лаврового листа. Я только сказал:

— Брось ты эти дела, Юрка, влипнешь, да и вообще...

— С-сам знаю, — сказал Юрка, — д-да ну их к чёрту, эт-т-ти д-деньги! Мне т-только ч-что обидно: я на них уехать д-думал, а т-теперь вот-т... п-потом он в-ведь ч-что г-говорил — в д-делах нужны честность и д-дове-рие, с-с-сам... — Юрка зло сплюнул.

— А как же он говорил, что хочет на работу поступить?

— А т-ты слушай его б-больше... Уже не п-п-первый раз т-треплется. — он вдруг воодушевился, — а я, если зах-х-хочу, его в д-два счета утопить м-м-могу. Ему з-знаешь как дадут за то, что он несовершеннолетних с-с-сбивает...

Пантюха продолжал говорить о том, как он может отомстить Наконечнику, а я думал, что он никогда не сделает этого, — не потому, что побоится, что ему самому тоже здорово достанется, а потому, что он просто не сможет сделать этого — не такой он парень, Юрка Пантюхин. Он замолчал, а потом тоскливо сказал:

— В-все равно уед-ду. Нельзя мне з-здесь оставаться, а т-то еще в-в-водку п-п-пить начну или в-воровать с-стану — Наконечник не от-вя-жется...

— Юрка, — сказал я.

— Ч-чего?

— Я с тобой поеду, — сказал я.

Юрка даже остановился:

— Н-н-ну?!

— Честное слово!

— В-вот это з-з-здорово, — сказал Пантюха.

А дальше мы сидели на нашей скамейке и обсуждали всякие планы — куда нам ехать и, самое главное, как уехать, откуда взять деньги и прочее. И договорились мы о том, что вначале поедem в деревню Красики к моим родственникам. Они нас примут — это я знал, — а дальше видно будет; может быть, заработаем в колхозе и поедem куда-нибудь еще — не сидеть же на самом деле на месте, раз уж решили уехать. Чтобы нас не хватились, мы решили прямо сказать, я — Андреичу и Ливанским, а Юрка — матери, что едем в деревню, а к будущей осени вернемся и опять поступим учиться, — все равно же год пропадает.

К Андреичу я пришел уже около двенадцати. Он поворчал немного для порядка, и мы улеглись спать. Ночью я долго строил всякие планы, и на душе у меня скребли кошки из-за Нюрочки и вообще, но я старался не думать об этом, — в конце концов со мной поступили еще хуже. А уехать было просто необходимо: не мог я больше тут находиться, боялся, что могу, как любила говорить тетя Люка, «покатиться по наклонной плоскости». Я и так уже, кажется, начал. И хоть мне было вроде на все наплевать, этого я все-таки не хотел. А если уеду хотя бы на время, то мне придется заботиться о себе самому, никто со мной нянчиться не будет, — значит, надо будет что-то делать.

Дядя Юра всегда говорит: «Главное — вовремя принять решение». Вот я и принял решение, и мне стало немного легче.

А утром за завтраком я как можно спокойней сказал Андреичу: .

— Андрейч, я, пожалуй, в деревню поеду, в Красики. Меня звали... Тут я немного соврал, но только немного — ведь в самом деле меня звали в деревню, правда, на лето, а не на осень и на зиму, но звали ведь...

— Ну?! — удивился Андрейч.

Я начал ему доказывать, что мне просто необходимо поехать в деревню. Ведь год у меня все равно пропал, здесь работать меня не возьмут, а там... и так далее и так далее. Расписывал все так, что даже сам удивился. Андрейч слушал и кивал головой, а я потихоньку следил за ним.

— Так, может, поехать? — спросил я наконец, когда уже совсем выговорился.

— Поезжай, коли у меня надоело, — с обидой сказал Андрейч.

Такого поворота я не ожидал. Я думал, что он станет отговаривать меня, начнет ворчать, что мне об учебе думать надо или еще что-нибудь, а он взял и обиделся.

— Что вы, Андрейч, — сказал я. — Мне у вас очень хорошо, совсем как дома...

— Ладно, не финти, — сказал он, усмехаясь. — Небось охота поехать?

Я кивнул, и Андрейч вдруг воодушевился.

— А что? — закричал он. — Матка уехала, батька уехал. Все, видишь ли, проветриваются, а парень тут куковать должен, и всякая чертовщина ему в голову лезет. Ан нет, пускай и он проветрится, — все одно здесь делать нечего. Поезжай, и все тут! — сказал он так, как будто я отказывался. — А батьке я сам все растолкую.

Он достал из стола деньги — те самые пятьдесят рублей, которые я ему отдал, и спросил, когда я думаю ехать... Я сказал, что еще не знаю и что, наверно, со мной поедет Юрка.

— Тот самый, дружок? — спросил Андрейч и задумался, и я уже начал жалеть, что сказал ему о Юрке, но он мотнул головой и сказал: — А что — вдвоем веселее. Валяйте. Ты только мне из деревни отпиши, что и как, а то мне перед отцом ответ держать, — он засмеялся, — скажет еще, что сплавил пацана, старый черт. Ан нет, я ему тогда такое скажу, что он всю жизнь кашлять будет. Валяй поезжай. Денег хватит, а не хватит — пришлю. Ты только отпиши.

Я и радовался, что так легко все получилось, и плакать мне почему-то хотелось... Я кое-как поблагодарил Андрейча и сказал, что Ливанские, наверно, не согласятся меня отпустить. Старик разозлился.

— А какое они имеют полное право запретить! — закричал он. — Николай мне тебя оставил, а не им, ну я и разрешаю. И точка. А если по-ет этот со своей Лизаветой ерепениться будет — ты скажи, чтобы они ко мне зашли, я им растолкую, что к чему.

Я пошел к Ливанским и рассказал им про деревню.

— Чепуха, — сказала тетя Люка, — куда ты не поедешь.

Дядя Юра не сказал ничего и задумался. Тетя Люка начала бушевать. Мало того, что его выгнали из школы, так он еще хочет стать гопником и ездить по вагонам, говорила она. Скажите, какой самостоятельный — возьмет и поедет в деревню, что он там не видел, в этой деревне, там своих лодырей и нахлебников хватает, и кто там о нем будет заботиться, и что скажет Николай, когда приедет, хотя Николай этот ничего не скажет, давно известно, что ему наплевать на собственных детей... Но этот, этот, как вам нравится, — его вышибли из школы, так он...

— Перестань, Лиза, — тихо сказал Кедр, — нельзя же так.

— Ах, так нельзя, — закричала тетя Люка, — а делать из ребенка преступника можно? Понимаешь, ты, замороженный идеалист, что его из школы...

И тут я не выдержал.

— Это из-за вас меня из школы вышибли, — тихо сказал я.

Тетя Люка задохнулась, а меня уже занесло.

— Если бы вы все не были трусами, — сказал я, — меня не выгнали бы из школы, понятно? Это вы со своим враньем сбили меня с толку, понятно? Вы скрывали и замазывали все и ничего не хотели мне говорить, а я узнал, и из-за этого меня вышибли из школы. Понятно?

Я говорил тихо, почти шипел, и видел, как побледнела тетя Люка, а Кедр горестно закачал головой. Тетя Люка села на стул и заплакала. Я растерялся, и вся моя злость улетучилась: уж больно это странно было — видеть тетю Люку плачущей. Потом мы все долго молчали, а тетя Люка всхлипывала и сморкалась. Наконец Ливанский сказал:

— Поезжай, Саша.

— Боже мой, — сказала тетя Люка, — поезжай, но ты подумал, что будет с Нюрочкой? Она так тоскует, а тут еще и ты уедешь.

Она знала, что сказать, эта тетя Люка! Но я был готов к этому. Я только стиснул зубы и промолчал.

Они вместе со мной зашли к Нюрочке, и я сказал ей, что ненадолго уеду. Она заплакала, и тогда я неожиданно соврал ей, что поеду за мамой. Тетя Люка возмущенно зашептала что-то, но Кедр сказал ей, чтобы она молчала. Нюрочка обрадовалась и отпустила меня быстро, и я был рад этому — мне просто было невмоготу...

Тетя Люка совала мне деньги, но я отказался: не хватало мне еще у них брать деньги. Я попрощался. Тетя Люка, рыдая, скрылась у себя в комнате, а Кедр вышел на площадку.

— В деревню, значит, Саша? — тихо спросил он и заглянул мне в глаза, и я понял, что он не будет писать мне писем в деревню. — Ну что ж, может, так и нужно. Ты становишься взрослым, Саша.

Он крепко пожал мне руку и слегка обнял.

Я пошел искать Пантюху, но не нашел: он носился где-то, наверно добывал деньги на дорогу. Я стоял во дворе и раздумывал, что мне делать дальше, и тут увидел Ольгу. Между прочим, я не видел ее уже несколько дней: почему-то она перестала заходить к Андренчу.

— Здорóво, — сказал я, — ты куда пропала?

Ольга не ответила. Вздернула подбородок и прошла мимо. Даже и не посмотрела на меня. Это что-то новое, подумал я.

— Ты чего? — спросил я, догнав ее.

— Отстань, — сказала Ольга.

Я пожал плечами и хотел уйти: у девчонок бывают иногда такие «закидоны». И лучше не обращать на них внимания. Но она не дала мне уйти. Когда я уже повернулся, чтобы идти, она вдруг так дернула меня за руку, что я чуть не упал.

— Ненавиж-ж-жу я тебя! — прошипела она.

Опять новости. Я раскрыл рот, а она так двинула меня кулаком под ребра, что я даже согнулся.

— Ты чего? — заорал я.

Она повернулась и побежала. Ну что в самом деле — чепуха какая-то... Я догнал ее, схватил за плечо, повернул к себе и вдруг неожиданно сказал:

— А я уезжаю.

— Куда? — быстро спросила она.

— В деревню, — сказал я.

— Надолго? А... — она хотела, наверно, спросить «зачем», но не спросила, и хорошо сделала. Злость ее куда-то улетучилась, и она стала задумчивой и грустной. Я сказал, что хочу зайти домой, чтобы взять кое-какие вещи, и Ольга молча пошла за мной.

В квартире был такой воздух, какой бывает, когда в ней долго не живут, и все вещи покрылись пылью, хотя я и жил-то у Андреича всего каких-нибудь две недели. Мне даже стало грустно как-то.

Ольга молчала и рисовала пальцем на подоконнике. Я взял пару книжек и рубашку, завернул их в газету и подошел к Ольге. Она быстро стерла что-то на подоконнике.

— Ты чего злая? — спросил я.

— Ничего, — сердито ответила она. — Ненавижу я тебя! Сам с этой Лелькой обнимался, а теперь спрашивает.

Вот оно что! Ну, уж этого я не ожидал. Значит, она видела... Я разозлился.

— Ну, и обнимался, — сказал я. — А что?

— Не смей с ней обниматься! — Она даже ногой топнула.

— Почему? — удивился я. — Что она, хуже других?

— Она, может, и лучше других, — ехидно сказала Ольга, — а все равно не смей!

— С кем хочу, с тем и буду...

— Не смей!

— Буду!

— Не... смей.

— Ну вот что... — начал я решительно, но Ольга вдруг закрыла лицо руками и выскочила из комнаты.

Вот уж что-то совсем непонятное! Что я — отчет ей обязан давать, с кем обниматься, или разрешения спрашивать, можно мне, мол, с такой-то девчонкой перемигнуться?

Я подошел к окну и на пыльном подоконнике увидел две буквы — «л» и «ю». «Лю» — было написано там, а остальное было стерто.

Я пошел в кухню. Ольга стояла у окна и опять водила пальцем по пыльному подоконнику. Я подошел и посмотрел, что она там пишет. Там были какие-то дурацкие рожи.

— Оля, — сказал я тихо.

Она быстро и удивленно посмотрела на меня. Я и сам удивился: никогда я не называл ее Олей — все Ольга, Ольга, а Олей почему-то никогда не называл.

— Что было на том подоконнике, Оля? — еще тише спросил я.

Почему-то мне очень важно было знать, что она там написала, ну просто обязательно надо было знать. Она наклонила голову и молчала, и продолжала рисовать дурацкие рожицы. Я написал на пыльном подоконнике две буквы — «л» и «ю» — и спросил, что это такое.

— Люцерна, — сказала Ольга сердито и покраснела.

Одна косичка щекотала ей щеку — Ольга резко отбросила ее за спину, и я опять подумал, что когда она сердится, то становится очень хорошень-

кой, и тут же подумал, что даже когда не сердится, то все равно очень хорошенькая. Вот Наташка очень красивая — к ней даже подойти иногда страшно, а Ольга не красавица, а просто очень хорошенькая, но не как какая-нибудь кукла, а... а... ну, не знаю как. И потом — она настоящий товарищ, и даже не товарищ, а самый верный друг. И мне от этого стало как-то тепло.

— Не понимаю, — сказал я.

— А я и знала, что ты чурбан непонимающий, — сказала Ольга и засмеялась. — Вот догадайся.

— А я знаю, — сказал я.

— Не знаешь!

— Знаю!

— Не знаешь!

Тогда я взял и приписал к тем двум буквам еще три и получилось — «лю...блю»...

— Да? — спросил я.

— Ну да, да, да! — быстро заговорила Ольга. — Ну и что? Нельзя? Ну да, я знаю, что ты любишь эту воображалу... Наташку, а с Лелькой обнимаешься. Ну и на здоровье! А я все равно... Злись не злись, вот.

Я стоял как дурак и смотрел на нее, и радовался, и, наверно, глупо улыбался, а она говорила, что ее ничуть не трогает, что я люблю Наташку, она только злится, что я полюбил такую надутую дуру, которая только себя и любит, а я думал, что нехорошо мне слушать такое про Наташку, которую я тоже... люблю, и что надо возразить ей, и не возражал, потому что сейчас я уже и сам толком не знал, люблю ли я в самом деле эту надутую... Наташку.

Она вдруг замолчала, и мы долго стояли друг против друга, и она смотрела мне прямо в глаза, и я смотрел на нее, и мне почему-то было очень хорошо, хотя я и понимал, что не должно мне сейчас быть очень хорошо, а было, и все. Потом она топнула ногой и сказала:

— Ну что ты молчишь? Ну скажи что-нибудь, чурбан бесчувственный...

А я не знал, что мне говорить, и сказал только «Оля», и взял ее за руку, а она прижалась ко мне и положила голову мне на плечо, и так мы стояли молча, и я боялся дышать. А потом вдруг взял и сказал, дурак:

— Можно я тебя поцелую?

— Нет! — сердито сказала Ольга и даже отскочила от меня. — Ты с... Лелькой целовался. Наташку любишь, а с Лелькой целовался. Вздасос.

Я чуть сквозь землю не провалился, и вид у меня стал такой, что Ольга не выдержала и засмеялась. Я тоже засмеялся и сказал, чтобы она не сердилась.

— На дураков не сержусь, — сказала Ольга.

Вот и пойми ее! А она как ни в чем не бывало начала говорить о моем отъезде, о том, что мне надо взять в дорогу, и что она обязательно будет навещать Нюрочку, и чтобы я обязательно писал ей. И так она обо всей этой чепухе здорово говорила, что я почти успокоился и только в душе клял себя за свои штучки-дрючки.

А потом... Оля поцеловала меня и сразу убежала, а я еще долго стоял в передней и улыбался.

Потом, когда я подходил к дому Андреича, я подумал, что последнее время я что-то слишком много стал... целоваться. Видно, все-таки я нравлюсь девчонкам, подумал я и даже плюнул со злости на себя за эти идиотские, какие-то воображальные мысли.

А утром ко мне пришел Пантюха. Он постучал в наше подвальное окошко, и я вышел. Под глазом у Пантюхи был здоровенный фонарь, и сам он был злой как черт.

— Н-наконечник, гад, только д-д-десятку дал, и то когда я ему п-пригрозил, что н-н-накапаю...

— А это? — спросил я и показал на синяк.

— А эт-т-то до эт-т-т-того, — сказал Пантюха и сплюнул, — э-т-то, когда я ему сказал, ч-т-то я о нем думаю. — Он вдруг засмеялся. — Н-ну, и ст-трусил он, к-когда я ему п-пригрозил.

— Идем, — сказал я.

— К-куда?

— К Генке.

— З-зачем? Он в-все равно б-больше не даст.

— Дурак ты! — заорал я. — Ты что, не понимаешь, что он тебя опять купил. Идем!

— П-пошел ты... — неуверенно сказал Пантюха. — Д-деньги ведь...

— У меня есть, — сказал я.

И мы пошли к Наконечнику и швырнули в его нахальную морду паршивую десятку, и он даже не стал нас бить — он так испугался, что долго бежал за нами и уговаривал взять еще денег, и упрашивал нас не сердиться, но мы послали его к черту, и он наконец отвязался от нас, пригрозив устроить нам такой фейерверк, что мы... Но мы наплевали на него — ведь мы уезжали.

Юрка был очень доволен, что развязался наконец с этим Наконечником, но потом опять помрачнел.

— У т-тебя есть, а у м-меня нет, — сказал он, когда я спросил его, чего он опять надулся.

— Так хватит нам, — сказал я.

— Нет, т-так не п-пойдет, — сказал Пантюха.

— Ну что ты за дурак, — сказал я, — если бы у меня не было, а у тебя было, ты что? Не дал бы мне?

— Н-не в этом д-дело, — сказал он.

А в чем дело, так и не сказал. Он о чем-то упорно думал и, когда я пытался что-нибудь предложить, только отмахивался. Потом он решительно сказал:

— П-пойдем!

И на мой вопрос — куда? — даже не ответил, только зло махнул рукой.

Я очень удивился, когда мы пришли к экскаватору, на котором работал Лешка. Он не заметил нас, и мы некоторое время стояли и смотрели, как он работает. И хоть нам было не до этого, мы невольно засмотрелись — уж больно здорово у него это получалось. Было совсем не жарко — солнце светило по-осеннему, но Лешка работал в одной майке. Р-раз! Он нажимал на рычаг, и мускулы на руках у него вздувались и блестели от пота, а ковш с грохотом врезался в землю. Р-раз! И ковш, наполненный землей, камнями, обломками кирпичей, поднимался вверх и одновременно поворачивался, а экскаватор гремел и дрожал, мотор ревел, и мускулы на Лешкиных руках опять вздувались и двигались, как две змеи. Р-раз! И Лешка отпускал рычаги, и ковш разевал свою пасть, и земля сыпалась из нее, а Лешкины руки отдыхали одну секунду, а потом опять все повторялось, как по команде. Лешка напевал сквозь зубы и изредка вздергивал голову, чтобы чуб не лез на глаза.

Потом он заметил нас и улыбнулся. Он остановил экскаватор, и ковш

повис над нами, как огромная лапа. Лешка слез и, вытерев руки паклей, подошел к нам.

— Здорóво, братья-разбойники! — сказал он. — Как жизнь?

— У т-тебя есть д-д-деньги? — сразу спросил Юрка, и я подумал, что услышался.

— Сколько? — спокойно спросил Лешка и пошел к экскаватору. Когда он взялся за свою куртку, висевшую на каком-то крючке, Пантюха, сморщившись, как от зубной боли, сказал:

— Тридцать.

Тут удивился Лешка.

— Чего? Рублей? — спросил он и задержал руку в кармане куртки.

— Н-не копеек же, — зло сказал Пантюха.

Лешка вытащил руку из кармана и подошел к нам.

— На какие расходы? — спросил он.

Пантюха повернулся и молча пошел от него.

— Да ты подожди, Юрка! — крикнул Лешка. — Должен же я...

— Н-ничего т-ты не должен, — сказал Пантюха. — Я д-думал, т-ты ч-ч-человек...

— Слушай ты, сопляк, — сердито сказал Лешка, — ты со мной такие разговорчики брось. Думаешь, если я... так надо мной издеваться можно? Зачем тебе столько денег?

— П-проехало! — сказал Юрка и пошел, засунув ручки в брючки и нагнув кепку на нос.

— Дурак ты, — огорченно сказал Лешка, — дурак, и все. — Он посмотрел на меня и развел руками.

И я, пожалуй, сейчас был с ним согласен, но что мне было делать? Я побежал за Юркой, и на углу все-таки оглянулся: Лешка стоял около своей машины и вытирал руки паклей — медленно-медленно.

Когда мы сидели на своей аллейке, я не выдержал и сказал Юрке, что он поступил все-таки по-дурацки.

— А ч-что, я ему все рассказывать должен? — мрачно спросил Юрка.

Я промолчал. Я понимал, какво было ему просить деньги у Лешки, которого он ни во что не ставил. Потом я сказал:

— Слушай, ты ведь решил матери насчет деревни сказать. Так если не хочешь у меня брать — попроси у нее.

— Неохота, — сказал Юрка, — д-да у нее и нет, наверно. А в-вообще-то попробуем. Т-только знаешь что — д-д-давай вместе пойдем... — Он отвернулся. — И Ольга п-позовем, а? Мамка в-вас о-б-боих здорово у-в-важает.

Он даже заикаться стал сильнее.

Я посмотрел на него, и он почему-то покраснел. Но вообще-то мне и самому пришла эта мысль, я только не решался говорить об этом Юрке — я знал, как он относится к девчонкам. А тут он сам предложил, и я удивился. И еще больше удивился, когда увидел, как он вдруг покраснел. Я ухмыльнулся, и Пантюха разорался. Но орал он недолго, и я не мешал ему. Он проорался, и мы пошли к Ольге. По дороге я сказал, что не обязательно говорить ей о всех причинах нашего отъезда, но Пантюха сказал, что Ольга мировой парень и что ей надо сказать всю правду.

— Д-да она и сама про твои дела все знает, — сказал он.

— Откуда? — спросил я, а Пантюха опять покраснел.

Это уж какие-то новости, подумал я и начал медленно злиться, но у Пантюхи был такой несчастный вид, что мне в конце концов стало смеш-

но, и я подумал, что Ольга действительно «хороший парень». И мне почему-то было жалко Пантюху.

Мы вызвали Ольгу, рассказали ей, в чем дело, и она согласилась помочь нам уговаривать Юркину маму.

У Юркиных дверей я замялся. Пантюха отвел меня в сторону и сказал на ухо, что Лельки нет дома.

— Что вы там шепчетесь? — спросила Ольга.

— Я ему с-сказал, ч-что у него... ш-ш-штаны расстегнулись, — ответил Пантюха.

Вот осел, ничего другого не придумал. Ольга фыркнула, а я покраснел как рак и таким красным вошел в переднюю, где, конечно, сразу увидел Лельку, которая сразу же заулыбалась. Пантюха свирепо затолкал ее в кухню, а сам зашел в комнату и уже оттуда позвал нас. Зинаида Ивановна — его мать — сидела на диване и что-то шила. Вблизи она показалась мне еще красивее, только вид у нее был очень печальный и усталый. Лицо бледное, а губы ярко-красные. Она обрадовалась, когда увидела нас.

— А я давно Юрику говорю, — сказала она, улыбаясь, — ты бы хоть пригласил своих друзей к себе как-нибудь, а он стесняется... Меня, наоборот, стесняется...

— Да будет тебе, — сердито сказал Юрка, и она смущенно замолчала.

Ольга сердито посмотрела на Пантюху, но он не заметил.

— Мам, — тоскливо сказал Юрка, — я с Сашкой в деревню поеду, ладно?

— В какую деревню, Юрик? — спросила Зинаида Ивановна.

Я, сбиваясь, начал рассказывать насчет деревни. Юрка молчал, а Ольга поддакивала. Зинаида Ивановна слушала, но я видел, что она никак не может понять, при чем здесь Юрка, если мне надо ехать в деревню. Тогда за дело взялась Ольга. Она очень толково объяснила, что нам с Юркой обязательно надо ехать в деревню, а то нас уже начинают считать тунеядцами, и если мы сами не уедем куда-нибудь на работу, то нас могут выслать из Ленинграда, очень даже просто. А в деревне для нас найдется работа — там всегда нужны люди, и если мы настоящие советские граждане, то просто обязаны помочь сельскому хозяйству.

Она говорила так здорово, что я уже всерьез начал думать о том, что в деревне без нас они там просто не обойдутся...

Юркина мать совсем перепугалась и начала причитать, что это она во всем виновата и что теперь делать и как теперь быть, чтобы Юрку в самом деле не выслали.

— Мам, — сказала Лелька, которая, оказывается, торчала в дверях и все слышала, — отпусти ты его в самом деле. Мы хоть отдохнем от надзирателя этого.

Юрка яростно обернулся, но я схватил его за руку, и он сообразил, что, в общем-то, Лелька сейчас говорит тоже нам на пользу.

— Уж я и не знаю, — сказала Зинаида Ивановна, но мы видели, что она почти согласна. Ольга подмигнула мне, а я подумал, что на Пантюхину мать больше подействовали Лелькины слова, чем Ольгины разглагольствования.

В общем, она согласилась. Почему согласилась — это уж не мое дело.

Зинаида Ивановна заставила нас выпить чаю с вареньем. За столом Лелька села рядом со мной и то и дело прижималась к моему колену своим коленом. У меня горели уши, и я все время старался отодвинуться

подальше, но она все равно доставала меня своим коленом — я уже сидел на самом краешке стула и не знал, куда деваться. Ольга сидела напротив меня и сердито смотрела на Лельку, которая усмехалась себе в блюдечко. Пантюха тоже глядел на Лельку и свирепо сопел. А Лелька все трогала меня своим мягким коленом и хихикала в блюдечко, черт бы ее забрал. И только Зинаида Ивановна ничего не замечала и расспрашивала меня про Красики, и говорила, что я хороший мальчик и со мной она не боится отпустить Юрика хоть на край света, и давала всякие наказания Юрику, как он должен там, в деревне, себя вести и что надо взять ему с собой в дорогу. Выходило, что Пантюхе для его багажа нужно будет заказывать грузотакси.

Потом Лелька встала, подошла к зеркалу, достала из сумочки помаду и начала подкрашивать губы.

— К-куда? — спросил Пантюха.

— Не твое дело, — ответила Лелька.

— Н-не пойдешь! — сказал Пантюха, подошел к Лельке, вырвал у нее из рук помаду и хлопнул ее об пол. — Х-хватит!

Лелька вдруг заплакала.

— У-у, надзиратель, — сказала она, всхлипывая. — Надоели вы мне все! — и выскочила в переднюю.

Мы услышали, как хлопнула входная дверь.

Зинаида Ивановна виновато смотрела на нас, а Пантюха пыхтел и сопел.

Мы с Олей ушли.

Во дворе она вдруг засмеялась.

— Ты что? — спросил я. Мне было жалко и Пантюху, и Зинаиду Ивановну, и Лельку тоже было жалко.

— А у тебя уши горели, как помидоры, — сказала Оля.

— Вот еще! — сказал я. — С чего это?

— Ладно, — сказала Оля, — я ведь все видела.

Я надулся.

— Ну, я не сержусь, — сказала Ольга и взяла меня за руку. — Ты не виноват — это все она.

— А может, и виноват, — буркнул я.

— Не воображай, пожалуйста, — сказала Оля и опять засмеялась.

Вот и пойми этих девчонок! Голова от их шуточек кругом идет...

— Слушай, Саша, — сказала Оля тихо, — чего вы там с Юркой на дискотеке натворили?

Час от часу не легче! Как же тут не смяться куда глаза глядят?

— Ничего особенного, — сказал я, — дали одному гаду...

— Не ври, мне папа рассказал. Если не хочешь — не говори. Только не ври.

— А что мне врать — раз ты сама все знаешь.

— А ты все-таки расскажи.

Ну, я рассказал ей все, что было, и она, по-моему, обрадовалась.

— Только-то?! — сказала она. — А я уж думала... Понимаешь, меня папа просил с тобой поговорить, — она засмеялась, — на воспитательные темы...

— А сам он не мог, что ли?

Она кивнула.

— Не мог. Ему... тебя жалко. Он говорит, что просто смотреть на тебя спокойно не может, — так ему тебя жалко.

Опять какие-то новости, подумал я: жалостливый старшина милиции. Ужасно люблю, когда меня жалеют!

— А тебе меня жалко? — зло спросил я.

— Нет, — сказала Оля, — я вообще, наверно, жалеть не умею. Человека особо жалеть не надо. Помогать ему надо.

И мы с ней опять поцеловались, как тогда, в первый раз, и я помчался домой. Не домой — к Андреичу. И в первый раз за все время мне не захотелось уезжать. Но я все равно уеду. И Оля считает, что это правильно. И она будет мне писать.

А вечером ко мне неожиданно пришел Лешка. Адрес Андреича он узнал у Ольги.

Я познакомил его с Андреичем, и они сразу заспорили о каком-то бегу-чем такелаже. (Лешка, оказывается, служил на флоте и в этих делах разбирался.) Андреич ругался и кричал, что Лешка в парусном деле ни хрена не понимает, а туда же лезет. Спорили они долго, но остались довольны друг другом. Я уже думал, что Лешка забыл обо мне — не к Андреичу же он в самом деле пришел, — но он наконец вспомнил и сказал, чтобы я проводил его. Мы вышли, и Лешка сразу спросил, что у нас с Пантюхой за дела и зачем нам нужны деньги.

— Ты пойми, — сказал он, — я ведь ему добра желаю.

Я задумался: сказать или не сказать, и решил не говорить, — ведь Юрка-то не хотел ему ничего говорить, что ж я — продам его, что ли?

— Ну, как хотите, — сказал Лешка и достал из кармана тридцать рублей. — Ты только скажи: ничего плохого?

— Честное слово! — сказал я, но, если говорить по правде, и сам не знал, плохо или хорошо то, что мы задумали с Юркой.

Лешка протянул мне деньги:

— На́ вот, отдай ему. И пусть не злится.

— Не надо, — сказал я, но он сунул мне деньги в карман куртки и ушел.

И меня не очень мучили угрызения совести. Я понимал, конечно, что это не очень красиво, но мне так нужно было уехать, что совесть у меня куда-то спряталась. Денег теперь нам хватит, и мы можем ехать хоть завтра.

А на следующий день все полетело к черту, вверх тормашками: появился Юркин отец. И Юрка уже никуда не мог ехать. То есть мог, конечно, но не хотел, и это мне казалось вначале очень странным, потому что отец его был... Ну, ладно, лучше все рассказать по порядку, спокойно, не волнуясь.

Утром я пошел к Пантюхе отдать ему Лешкины деньги и сказать, что мы можем ехать хоть сейчас. За дверью их квартиры я услышал какие-то крики и чей-то плач. Я долго не решался позвонить, и только когда там стало потише, позвонил. Дверь мне открыл Юрка. Я никогда не видел его таким: он был очень мрачный, но не просто мрачный, а какой-то торжественно мрачный.

— Хорошо, что ты пришел, — сказал он шепотом. — Знаешь, где Алексей работает? (Он сказал «Алексей», и я удивился: никогда он раньше не называл так Лешку.) Беги к нему, и пусть он сейчас же идет сюда, и сам приходи.

Он даже почти не заикался. Я открыл было рот, чтобы спросить, но Пантюха подтолкнул меня и сказал:

— Ну, понял? Д-да побыстрей!

Лешку я нашел на экскаваторе. Он работал как черт, чуб свисал на глаза, и на лице блестели капельки пота, а губы были крепко сжаты. Экскаватор грохотал и скрежетал, и Лешка долго не слышал, что я зову его. Тогда я забежал вперед и замахал руками. Лешка увидел меня и сразу остановил экскаватор, слез и подбежал ко мне. Наверно, вид у меня был такой, что он с ходу спросил:

— Что случилось?

— Не знаю, — сказал я. — Пантюха просил, чтобы ты сейчас же шел к ним...

Лешка ничего не сказал. Он заглушил мотор экскаватора, накинул прямо на майку ватник, и мы побежали. Он молчал, но я видел, как он волновался. Я волновался тоже — никогда я не видел Пантюху таким...

Юрка открыл нам дверь.

— А-а, — сказал он, — п-проходите.

Мы зашли в комнату. У окна стояла Зинаида Ивановна и, закрыв лицо руками, плакала. Лелька стояла, прислонившись спиной к стене, засунув руки в карманы передника, и лицо у нее было злое-презлое — такого я тоже никогда не видел. А на кушетке, развалившись, сидел какой-то дядька в потрепанном пиджаке и грязной рубашке. Он был лысый, и лысина у него блестела, как будто была смазана жиром. Лицо у него было красное, и остренький носик тоже блестел. Он смеялся, широко открывая рот, и были видны гнилые зубы. В общем, этот тип был довольно противным, и я никак не мог понять, кого он мне напоминает, а когда наконец сообразил, мне стало очень не по себе: дело в том, что он был здорово похож на Пантюху, вернее, Юрка был здорово похож на этого типа, хотя, конечно, Юрка совсем не противный.

— Испугались?! — сказал дядька. — Подмогу привели, — и опять засмеялся, а потом вдруг громко запел:

Жена найдет себе другого,
А маа-ать...

Он оборвал песню и подмигнул Лешке. У Лешки на скулах заходили желваки, и он сделал шаг в сторону дядьки. Юрка встал между ними и крикнул:

— З-замолчи ты, а н-ну, замолчи!

Дядька тихонько отодвинул Юрку и подошел к Лешке. Он был на голову ниже его и вообще какой-то плюгавенький. Я увидел, что он здорово пьян, и подумал, что сейчас Лешка врежет ему так, что он и костей не соберет, — такой вид был у Лешки. Но этот тип не испугался. Он, прищурившись, посмотрел на Лешку, а потом довольно спокойно сказал:

— Я Пантюхин Петр Иванович, ейный законный супруг. — Он ткнул пальцем в сторону Зинаиды Ивановны, и та заплакала еще громче. — А ихний, — он показал на Лельку и Юрку, — родной папа. А... вы, извиняюсь, кто будете? — спросил он Лешку.

Лешка ничего не ответил. Лицо у него стало какое-то серое. Он неловко сел на стул и смотрел мимо Пантюхина, туда, где около окна плакала Зинаида Ивановна.

— Жена найдет себе другого? Да? — сказал Пантюхин, кривляясь, и опять подмигнул Лешке.

— Да замолчи ты, ради бога! — крикнула Лелька. — Чего ты издеваешься?!

— Что ты, доченька, — удивился Пантюхин, — разве я издеваюсь? Имею я полное право знать, кто это к моей жене законной в гости ходит, когда меня дома нет? Имею?

Я стоял в дверях и не знал, что делать. Мне так жалко было их всех, и я так ненавидел этого типа... Пантюхина, что готов был броситься на него, сбить с ног и бить, бить ногами, как... Валечку. Но я стоял и смотрел и не знал, как и чем помочь им.

— С-с-слушай ты, п-папочка, — тихо сказал Юрка, — мамки тебе не видать, к-как своих ушей. Т-ты это запомни...

Он подошел к Лешке.

— Т-ты на ней жениться хотел, да? — спросил он. — Ну, в-вот и женись. И забирай ее отсюда с-сейчас и чтобы эт-тот, — кивнул он в сторону отца, — ее и п-пальцем не мог т-тронуть. П-понял?

Лешка молча кивнул, поднялся со стула и подошел к Зинаиде Ивановне.

Пантюхин засвистел, а потом засмеялся.

— Ну, сынок, ай, сынок, рассудил! — Он вдруг оборвал смех и сказал медленно: — А мне куда ж? Опять в тюрьгу, да? Это так вы отца родного встречаете-привечаете? Да? Ну, погоди, сынок...

Лешка резко повернулся и шагнул к Пантюхину.

— Ну, ну! — взвизгнул Пантюхин, но все-таки отошел от Юрки.

— А т-ты с нами будешь. З-здесь жить будешь, со мной и с Лелькой, — спокойно сказал Юрка.

И тогда закричала Лелька. Она отскочила от стены, схватила с буфета какую-то вазочку, грохнула ее об пол и начала кричать.

— Рассудил, — кричала она, — распорядился, надзиратель! Эту туда, этого сюда, самих тоже сюда... А ты спросил кого-нибудь, кто как хочет?

— Верно, дочка, верно, — обрадованно забормотал Пантюхин.

— А ты молчи, пьянчуга чертов, — кричала Лелька, — опять приехал нашу жизнь заедать?! Хватит! А меня ты спросил, братишка милый, хочу ли я с ним жить? Мамку ты определил, благо нашелся хоть один из вас человек, а меня ты на что определяешь? Его пьяную блевотину подтирать, подштанники загаженные стирать? Да? К черту! Я молодая... Я жить хочу, понимаешь ты, надзиратель проклятый, жить... Надоели вы мне все хуже смерти... Уйду!

— К-куда ты уйдешь, д-дура, — сказал Пантюха презрительно.

— Куда? Найдутся добрые люди, помогут... Не дадут пропасть.

Она рывком отворила дверцу шкафа и выкинула оттуда чемодан. Он раскрылся, и из него посыпались туфли, платья, еще что-то. Я нагнулся помочь ей, но она сильно оттолкнула меня, так, что я ударился об стенку.

— А этого... еще зачем привел? — закричала она. — Чтобы на посмешище нас выставить, да? А ну катись отсюда, чистюля сопливый! — И она замахнулась на меня какой-то тряпкой.

Я попятился к двери. Пантюхин захохотал.

— Зверь девка, — кричал он, — вся в меня!

— М-молчи, з-зараза! — орал Юрка. — А то как д-двину!

— К черту! — кричала Лелька. — Видеть вас не хочу...

И только Лешка с Зинаидой Ивановной тихо стояли у окна, и Лешка что-то говорил ей, а она слушала и утирала слезы, и изредка тревожно поглядывала на Юрку, Лельку и Пантюхина. Я пошел к двери и уже в передней услышал, как она сказала:

— Не сердитесь на меня, дети, и ты, Петя, не сердись — не могу я иначе. А ты, Леля... — дальше я ничего уже не слышал. Я сбежал по лестнице, выскочил во двор и успокоился только на нашей скамейке в сквере. Я сидел долго, мысли мои скакали, я пытался разобраться и понять, что произошло и кто из них прав. Потом я увидел, как по улице пробежала растрепанная Лелька, а через некоторое время в ту же сторону прошли Зинаида Ивановна и Лешка. Он нес два чемодана, а у Зинаиды Ивановны в руке была только сумочка. А еще через некоторое время ко мне подошел Юрка. Он сел рядом, помолчал немного, а потом сказал как-то очень мягко:

— Т-ты не сердись, ее ведь тоже п-понять надо... И на меня н-не сердись. Я д-думал, они тебя п-постесняются.

Я не сердился: что я, не понимаю, что ли? Он опять помолчал, потом уже совсем другим тоном спросил:

— Д-деньги у т-тебя есть с собой? Понимаешь, ему... б-бадьке... опохмелиться надо. Я его запер, сказал, что принесу пол-литра.

Я достал тридцать рублей — те, что дал Лешка, и протянул ему.

— К-куда столько, — сказал Юрка.

— Это твои, — сказал я, — на дорогу.

— Откуда? — спросил он и сразу махнул рукой. — Н-не п-поеду я, Санька. Н-не м-могу.

И я в первый раз увидел, как Юрка Пантюхин плачет. Юрка Пантюхин! Он сморкался и плевался, и вытирал слезы ладошкой и всхлипывал, как маленький, и ругался совсем как взрослый — зло и гадко. И я не знал, что ему сказать, потому что понимал, что ничем утешить я его сейчас не могу. Я только бормотал что-то вроде да брось ты, да ладно, да хватит тебе в самом деле, а больше ничего придумать не мог, и в голове у меня была каша, и мне все время казалось, что вот сейчас я соображу что-то очень важное для меня.

Когда Юрка успокоился, я все же спросил:

— А как же ты?..

— Н-не знаю, — тоскливо сказал Юрка. — К-как-нибудь п-проживем... Н-не могу я его сейчас б-бросить, понимаешь, н-не могу, и все тут... Один он совсем остался... Как же я м-могу...

Он взял из тридцати пять рублей, а остальные вернул мне.

— Т-тебе пригодятся, — сказал он. — П-поедешь?

Я не знал. Все опять как-то перевернулось, я уже привык к тому, что мы поедем с ним вместе, а тут вдруг... Я понимал Юрку, понимал, что иначе он не может, и мне было очень жалко его, и я... гордился им, что ли... Комок сидел у меня в горле, когда Юрка говорил, почему он решил остаться... Но, конечно же, мне было обидно, что все срывается, хотя я Юрке этого и не говорил, — подло было бы сказать ему это.

— Т-ты заходи, Сашка, — сказал Юрка, — мне с-с-сейчас некогда будет, а ты... — Он улыбнулся, и улыбка у него была такой жалкой, что мне опять чуть не плакать захотелось. Он ушел, а я долго смотрел ему вслед, как он шел, засунув руки в карманы и надвинув кепку на самые глаза.

И все-таки я уехал. Но поехал я не в деревню, а в Иркутск — к маме, за мамой... Как это получилось, я и сам не могу объяснить. Наверно, на меня так подействовала эта история у Пантюхиных. Всю ночь после этого я не спал и думал, и думал, а утром как-то сама собой пришла мысль поехать за мамой. Я был уверен, что стоит ей увидеть меня — и она вернется к нам, бросит Долинского и вернется. Я представлял себе, как я подойду

к ней, возьму ее за руку и привезу домой. И как раз к этому времени придет из командировки батя, и Нюрочка поправится, и мы снова все будем вместе и все будет опять хорошо. Нет, конечно, я понимал, что первое время нам всем, кроме Нюрочки, будет очень трудно жить, но мы ведь люди в конце концов, и мы любим нашу маму. А без нее нам никак нельзя. И отцу, и мне, и Нюрочке. Отец палец о палец не ударит, чтобы вернуть маму, — в этом я был уверен. Еще бы, он такой умный и добрый — он все понял и простил, еще бы, он такой благородный, что никому мешать не будет. Тогда я помешаю — я поеду и верну ее к нам. Если они сами не могут поступать правильно, тогда я попробую доказать им, что я тоже кое-что значу. Ведь смог же Юрка решить все правильно? Почему же я не могу? Ведь послушались его все — и Зинаида Ивановна, и Лешка, и даже его отец. Почему же меня не слушаются? Вот примерно как я думал, когда решался ехать в Иркутск. Конечно, я мог бы просто написать письмо маме и рассказать ей все. Но почему-то мне казалось, что письмо — это так, пустые слова, бумага, а тут надо обязательно увидеть маму и чтобы она увидела меня. И еще, правда, об этом я боялся думать, но мне казалось, что если я увижу маму, то все пойму и, может быть, я и не захочу, чтобы она возвращалась. Я гнал эту мысль от себя, но она все же нет-нет да лезла в голову, хотя я и старался изо всех сил представлять себе, как я приеду с мамой домой и нас радостно встретят батя и Нюрочка... Словом, я решил ехать.

И когда я твердо решил это, мне стало даже легче. Я понимал, что не так-то просто будет мне, четырнадцатилетнему парню, добраться до такой дали, как этот далекий Иркутск, но мне всегда все говорили, что не надо бояться трудностей, вот я и попробую, что это значит.

Ни Андренчу, ни Ливанским я не сказал, куда решил уехать. Они преждем думали, что я еду в деревню вместе с Юркой. Андрейч, может, и отпустил бы меня, а вот для Ливанских это была бы целая трагедия. Сказал я об этом только Юрке и Оле. Оля вначале чуть не расплакалась, а потом у нее загорелись глаза и она сказала, что я, в общем-то, молодец, а Юрка долго молчал, а потом сказал, что, может быть, мне лучше проситься обратно в школу, а остальное все само собой делается. Что-то случилось с Юркой — я его просто не узнавал. Он стал тихий, но не пришибленный, а какой-то спокойный и серьезный.

Почти перед самым отъездом случилась одна вещь, которая чуть не сорвала мне все. В подвал к Андрейчу вдруг пришла Мария Ивановна — Капитанская дочка. Она была очень веселая, расспрашивала меня о моем житье-бытье, восхищалась Андрейчевыми кораблями и наконец сказала, что мое дело все-таки пересматривается в районо и, наверное, через неделю я смогу опять вернуться в школу. И это очень хорошо, потому что нельзя же мне без конца болтаться без дела.

Она сообщила это так радостно, что мне даже стало не по себе: они там стараются, переживают за меня, а я и забыл почти о школе и думаю только о своих несчастьях. И что я могу сказать, если я даже не обрадовался этому известию, а только сделал вид, что обрадовался. Нет, неправда, конечно, я обрадовался, но не так, как обрадовался бы еще недели две назад, когда еще не решил ехать к маме...

Я что-то говорил и благодарил, а сам думал: ну что стоило ей прийти дня через два, когда я был бы уже далеко и ничего этого не узнал бы, и мне не пришлось бы притворяться. А сейчас, выходит, я должен буду обманывать и Капитанскую дочку и всех ребят, которые, я знаю, ждут меня в школе.

А она радовалась за меня, и Андреич тоже радовался, а я все время боялся, что он скажет ей о том, что я собирался в деревню, но он, молодец, ничего не сказал — видно, догадался по моему виду, что нельзя об этом говорить. И я чувствовал себя по-дурацки и не знал, что мне делать.

Она ушла, и я подумал, что теперь я, наверно, ее долго не увижу.

Когда она ушла, Андреич покосился на меня и спросил:

— Деревня-то побоку?

— Поеду, — сказал я.

— В батьку! — сказал он, и я не понял — осуждает ли он меня за это или наоборот. Скорее все-таки — наоборот...

С Ливанскими я попрощался, а к Нюрочке даже не зашел — она ведь думала, что я уже уехал, и мне лишний раз волновать ее и себя было ни к чему. Дядя Юра как-то по-особенному пожелал мне счастливого пути, а тетя Люка, всхлипывая (что-то она стала часто всхлипывать), сказала, чтобы я берег себя и, если что нужно, чтобы я обязательно написал...

Провожали меня Оля и Юрка. Когда до отхода поезда осталось две минуты и у Оли покраснели глаза, Юрка сказал:

— Т-ты д-давай пиши... и вообще...

Оля засмеялась. Такой я ее и запомнил: глаза красные, а сама смеется, закинув голову...

— И ты пиши, — сказал я.

— А куда же напишу я? — сказала Оля.

— Напиши куда-нибудь, — сказал я.

...Поезд стучал-постукивал и бежал мимо каких-то городов и сел, и поселков и лесов, и рек и перелесков, и стучал по мостикам и переездам, и покачивался с боку на бок и катился далеко-далеко.

...Я не буду рассказывать, как я приехал в Москву, и как я взял билет до Иркутска на Ярославском вокзале, и как я сел в поезд и залез на верхнюю полку и заснул. А потом проснулся, и около меня шевелились какие-то рыжие усы и что-то мне говорили.

— Подъем, подъем, — услышал я. — Так можно все на свете проспять! Смотрите, юноша, какая красота!

Я вначале ничего не понял — я только увидел рыжие усы, которые шевелились около меня. Я повернул голову — и передо мной побежали какие-то картины: озеро и в нем плавают утки, потом лесок и коровы около, потом цветные поля и опять коровы и ели, и сосны... и опять озеро...

Дядька с рыжими усами, похожий на верблюда, спросил, как меня зовут.

— Саша, — сказал я.

— Великолечно, — сказал дядька. — А ну-ка, Саша, слезайте, будем пить чай.

— Спасибо, — сказал я и слез со своей верхней полки.

— Идите умойтесь, — сказал дядька. — У вас есть полотенце?

— Есть, — сказал я.

Я достал сумку, расстегнул «молнию» и вынул полотенце, мыло в коричневой мыльнице, пасту и щетку в зеленом футляре. Очереди не было, и я быстро помылся. Когда я вернулся в купе, на столике уже стоял чай и были разложены всякие припасы, и Верблюдч, прихлебывая из стакана, говорил что-то другому дядьке, которого я и не заметил раньше.

— Здравствуйте, — сказал я.

— А-а, Саша, — сказал Верблюдыч, — садись-ка.

— Эт-т-та что? — спросил дядька.

Рожа у него была красная, одет он был в полосатую пижаму. У него тоже были усы — не такие, как у Верблюдыча, а маленькие «сопливчики» под носом...

Я сел рядом с Верблюдычем, и он мне подвинул стакан с чаем.

— Тебя как зовут? — спросил полосатый в пижаме.

— Саша, — сказал я.

— А ты кто? — спросил дядька.

— Физик, — сказал я.

— Химик? — спросил дядька.

— Астробиолог, — сказал я.

— Ну, ладно, ладно, — сказал Верблюдыч, — пей чай, Саша...

— Спасибо, — сказал я.

— Вот они — мо́лодежь, — сказал дядька в пижаме и ткнул в меня пальцем.

— Ну чего «они», — сказал Верблюдыч. — Тебе сколько лет, Саша?

— Шестнадцать, — сказал я.

— Знаем мы, — сказал дядька.

— Шестнадцать, — сказал я.

— Ну что вы, в самом деле, — сказал Верблюдыч.

— Я знаю, что я, в самом деле, — сказал дядька в пижаме. — А куда, если не секрет, едете? — спросил он.

— В Иркутск, — сказал я.

— Великолепный город, — сказал Верблюдыч, — я сам оттуда.

— Ага, — сказала «пижама». — А ты что же там — живешь?

— Ага, — сказал я.

— Ага, — сказала «пижама». — Ха-а-роший ты парень...

— Ага, — сказал я.

— Саша, — сказал Верблюдыч, — вы первый раз по этой дороге едете, я вам хочу красивые места показать.

Мы вышли из купе и стали около окна.

— А к кому вы, если не секрет, едете? — спросил Верблюдыч.

— Секрет, секрет, понимаете, секрет! — чуть не заорал я. — К отцу.

— Великолепно. А он что, там работает?

— Да.

— А где, если...

— Секрет.

— Понимаю. А на какой улице он живет?

Чтоб ты пропал, чтоб вы все провалились, и ты, верблюд несчастный.

Если бы я знал хоть одну какую-нибудь улицу в Иркутске!..

— На улице... Карла Маркса, — сказал я, надеясь, что такая-то улица там наверняка есть.

— Великолепная улица. Главная. А дом?

— Двадцать пять, — сказал я.

У Верблюдыча брови поползли вверх.

— Вы уверены? — осторожно спросил он.

— Уверен, — сказал я в отчаянии.

...Поезд все шел и шел. Стучал-постукивал на стыках и покачивался, и катился далеко-далеко, а я стоял у окна и думал обо всем: о маме, о бате, о Нюрочке — как она там — и о себе, конечно, и мысли эти были не очень веселые, — грустные и непонятные были эти мысли...

— Не сообщить ли в милицию, — сказал однажды дядька в пижаме. Он думал, что я не слышу.

— Что в милицию? — спросил Верблюдыч.

— Насчет пацана, — сказал дядька, — чего-то он подозрительный.

— Странный вы человек, — сказал Верблюдыч.

— Странный не странный, а поколение нынче уж а с н о е, — сказала «пижама».

— Слушайте, вы... — сказал Верблюдыч.

С тех пор я старался как можно меньше бывать в купе, и, когда Верблюдыч звал меня пить чай, я вначале смотрел, нет ли там этой «пижамы», а уж потом заходил. А Верблюдыч относился ко мне хорошо — стоял подолгу со мной у окна и рассказывал много интересного про Сибирь и ни о чем не расспрашивал.

Не помню, какая это была станция. Помню только, что довольно большая и поезд стоял там долго. Я подошел к окну и увидел, что «пижама» разговаривает с милиционером и показывает на наш вагон, а милиционер кивает и собирается войти в вагон... «Конечно, за мной», — сразу подумал я.

Я кинулся в купе — Верблюдыча не было, схватил свою сумку и куртку и помчался в другой вагон. Поезд тронулся, и я увидел, как дядька в пижаме лез в наш вагон, а за ним и милиционер, придерживая сумку и пистолет. Я стоял на площадке соседнего вагона и видел, как они оба влезли. Я зажмурился и уже приготовился прыгать, но меня кто-то сильно ухватил за шиворот, и я почти повис в воздухе.

— Совсем чокнулся, — сердито сказал какой-то бас.

Он держал меня за плечо своей огромной лапищей, и я видел на ней синий якорь и надпись. Потом он повернул меня к себе, и я увидел здоровенного молодого парня в клетчатой ковбойке.

Я испугался — может, это проводник? Хотел потихоньку вывернуться, но он заметил и так сжал мне плечо, что я еле удержался, чтобы не зарорать.

Но парень оказался пассажиром. В его купе никого не было — только на верхней полке спала, укрывшись простыней, женщина. Парень усадил меня, сам сел напротив. Я сидел опустив голову, и черт знает что творилось у меня на душе.

Парень вдруг присел передо мной на корточки, как перед маленьким, и заглянул мне в глаза.

— Однако ты, паря, чего-то не тое, — сказал он. — У тебя, я гляжу, настроение... того...

Женщина на верхней полке чуть приподняла простыню с лица, и я увидел большой карий глаз. Парень погрозил ей пальцем.

— Не шебаршись, не шебаршись, Зойка, — сказал он, — человека выручать надо. Ну, рассказывай, — сказал он мне и опять сел напротив.

Я молчал: что, в самом деле, я ему рассказывать буду?

— Не хочешь, — удовлетворенно сказал парень, — вот и я такой же был — упорный. Ну, тогда я буду спрашивать, а ты отвечай. И не думай молчать! Я знаешь кто? Я самый законный жулик в Сибири, и меня не проведешь. Не веришь?

Зойка захихикала, и он опять погрозил ей пальцем.

— Не веришь, значит, — с сожалением сказал парень, — тогда смотри, — и он поднес к моему носу огромную лапищу. Якорь я заметил еще там, на площадке, а вот надпись разобрал только сейчас. «Не забуду мать

родную» — было написано там. Я пожал плечами, тогда он быстро скинул с себя ковбойку и остался в майке, и я чуть не ахнул — так он весь был зарисован. На груди — голая женщина, на правом плече — какой-то черт с котомкой за плечами идет по луне и надпись: «Почему нет водки на луне»; левая рука вся переплетена огромной змеей и тут тоже надпись: «Нет счастья в жизни». Что-то там было еще нарисовано, но я не успел заметить: парень быстро натянул рубашку.

— Нашел чем хвастаться, охламон, — смеясь, сказала Зойка из-под простыни.

— Надо же мне к нему в доверие войти, — сказал парень, — сдается мне, он из нашей породы, из жуликов.

Я даже задохнулся от возмущения.

— Э-т-то п-п-почему еще? — сказал я, заикаясь.

— Скажи-ка, — удивленно сказал парень, — еще заикается! А если милиция за тобой бежит, а ты — от нее, так ты кто? Честный человек, да?

Видно, у меня было такое выражение, что парень вдруг замолчал. Он внимательно посмотрел на меня и спросил:

— Сам откуда?

Я сказал. Парень присвистнул и спросил, чего это меня так далеко занесло.

Ну и пришлось мне кое-что ему рассказать, не все, конечно, а так, кое-что. Еду, мол, к матери, а отец уехал надолго, и мне надо же с кем-нибудь жить. Кажется, он поверил. Он только спросил, знаю ли я, где живет мать, и когда я замялся, он сказал, что ничего — он в Иркутске все знает и уж как-нибудь ее разыщет.

— А чего от милиции бежал? — спросил он. — Без билета, что ли?

Я показал ему билет. Он пожал плечами.

— Чудак, — сказал он. — Ну, не мое дело. Мы вдвоем в купе едем. Если уж тебе с милицией не хочется встречаться — спрячу, за сына выдам. А сейчас мы подрубаем. Зойка, давай слезай, люди есть хочут.

— Отвернитесь, мальчики, — сказала Зойка, и мы вышли в коридор. Мы стояли у окна, и перед нами бежала степь. Ровная-ровная — ничего на ней нет, только изредка попадаются три-четыре березки — белые, стройные — да еще маленькие озера, как разбросанные там и сям зеркала. Когда долго смотришь в вагонное окно, особенно если едешь по ровному месту, все начинает вдруг поворачиваться, кружиться, и тебе кажется, что ты стоишь на месте, а это земля и все, что на ней, крутится вокруг тебя. Вот и степь эта тоже начала кружиться, и я смотрел и смотрел, и ни о чем не думал, и был рад этому.

Парень стоял, опершись локтем левой руки на раму, и над головой его вился сигаретный дым, а правая рука с синим якорем и надписью висела вдоль тела и чуть подрагивала в такт движению поезда.

— Миллионы гектаров, — сказал парень задумчиво.

— Ага... — сказал я.

— Что понимаешь, суслик.

Я хмыкнул.

— Видишь, сколько земли пропадает? Ее ведь пахать надо. И вот что я тебе скажу: вот эти степи мы тебе положим на тарелочку и преподнесем.

Зажатая в его пальцах сигарета догорела почти до конца, он обжегся и чертыхнулся. Потом он рассказал мне, какой он классный комбайнер, сколько гектаров он скашивает и как валится с ног, проработав несколько суток без сна.

— А кем я был? — спросил он. — А был я, и верно, знаменитым жуликом и вором в законе по всей Западной и Восточной Сибири. Не веришь? Спроси у Зойки. Это она меня человеком сделала. Эх, Зойка, Зоя, — он даже задохнулся, — это такой... это такая... э-э, да что ты понимаешь — тут целый роман — и сочинять не надо.

— Заходите, мальчики, — сказала у нас за спиной Зоя.

Мы зашли, и я сразу посмотрел на нее — очень уж интересно, какая же она такая, если из этого татуированного медведя-жулика сумела человека сделать. Она была очень красивая и чем-то очень похожая на Олю. Я раскрыл рот, а парень сказал:

— Ну, Зойка, ну, Зойка...

А она подмигнула мне, засмеялась и сказала:

— Тебя как зовут? Саша... Так ты, Саша, этого трепача не слушай — он тебе наговорит бочку арестантов. Ты меня слушай. Вот приедем мы в Иркутск, и если тебя мама не встретит, то поедешь к нам. У нас комната хоть и одна, но зато очень миленькая. И будешь жить у нас, пока не найдешь свою маму. А этот лоб, — ткнула она пальцем в сторону парня, — будет нас с тобой кормить, поить и одевать, и подавать нам кофий в кровать. Потому — я сейчас в отпуске и имею право отдохнуть, а ты еще маленький и себя прокормить не можешь, а он, — и она опять ткнула пальцем в парня, — он такой здоровый бугай, что смело может прокормить целый детский сад, не то что одну женщину с ребенком... Будешь кормить?

— Буду!

— И кофий подавать будешь?

— Буду! С цикорием! И знаешь, роди ты мне сразу четверых! Всех кормить буду и кофий подавать буду!

— Ну уж, четверых, — сказала Зоя и немного покраснела.

— А что? Очень даже просто — вон у какого-то дровосека в Канаде жена пятерых принесла, а сама тощая, как кошка. А ты у меня ничего! Что надо, и всё на месте. Да ты не красней, чего тут краснеть, что он — маленький, не понимает? В декрете она у меня, понимаешь, — сказал он и засмеялся, поматав головой, — в декрете, это ж надо же...

Я не знал, что такое «в декрете», но, по-моему, догадался правильно — у Зои, наверно, скоро будет ребенок, вот они и радуются. И я почему-то радовался вместе с ними, а потом вдруг приползла откуда-то в голову подлая мысль. Вот они радуются, а потом она возьмет и бросит этого парня, который так ее любит, и своего ребенка и уедет с каким-нибудь артистом. Мне даже тошно стало от этой мысли и стыдно, ну и свинья же я...

Я незаметно вышел из купе, — они так увлеклись разговором, что не заметили. Зоя догнала меня уже в конце коридора, обняла за плечи так, что я спиной почувствовал ее теплую и крепкую грудь, и зашептала:

— Ну что ты, Саша, обиделся, да? Ты не сердись, это просто мы такие дураки счастливые, что о чужом горе забываем, но мы тебя в обиду не дадим — Ленька и я. Пойдем, покушаем и все решим, и все хорошо будет.

И у меня комок подступил к горлу, и я шел послушно, и чувствовал Зоину грудь, и вспомнил, что так иногда обнимала меня мама, и мне было хорошо и стыдно, что я так плохо мог подумать об этой Зойке...

А поезд все шел, и за окном неслась осенняя тайга — желтая, красная, зеленая, синяя, золотая, — ели, березы, сосны, осины, пихты, лиственницы, и опять березы, и так долго-долго кружилась вокруг поезда тайга, и на нее не скучно было смотреть — такая она была разная и красивая...

И Леонид с Зоей прятали меня в своем купе и ни о чем не расспрашивали, а просто кормили меня и обращались, как со своим.

...На какой-то станции я увидел в окно Верблюдыча и «пижаму». Они стояли около пивного ларька, и Верблюдыч оглядывался по сторонам, как будто искал кого-то, потом пошел вдоль вагонов и заглядывал в окна.
«Наверно, меня ищет», — подумал я и спрятался.

...И вот мы подъезжаем к Иркутску. Я долго стоял у окна, а потом зашел в купе. Зоя лежала на своей верхней полке. Леонид стоял в проходе, облокотившись одной рукой о полку, а другая его рука, большая, с синим якорем, лежала у Зойки на животе. У Леонида был такой вид, будто он к чему-то прислушивался. Вдруг он отнял свою руку и как-то странно посмотрел на нее, а потом стал улыбаться и улыбался все шире и шире, и я, глядя на него, тоже стал улыбаться не знаю чему, и Зоя улыбалась на своей полке немножко смущенно, но радостно.

— Стучит, — сказал Леня тихо, — стучит, понимаешь?

Он облапил меня так, что у меня затрещали кости, и заорал мне в самое ухо:

— Стучит, понимаешь, стучит!

Я не понимал, и тогда он подвел меня к полке, на которой лежала Зоя, взял мою руку и потянул ее куда-то вверх.

— Ну что ты, Леня, — смущенно сказала Зойка.

— А что? Пусть понимает, что к чему. Не маленький, — сказал Леня радостно и опять взял меня за руку.

Тогда Зоя, улыбаясь, сказала:

— Дай-ка руку, Саня.

Я, ничего еще не понимая, протянул ей руку, и она положила ее осторожно себе на живот. Я боялся пошевелиться и вдруг почувствовал, как будто что-то тихонько толкнуло меня в руку, потом еще раз уже посильнее, и опять еще сильнее кто-то стучался там внутри Зоиною круглого, крепкого живота.

— Стучит? — шепотом спросил Леонид.

— Стучит, — так же шепотом ответил я.

— Сын, — сказал Леонид, и Зойка засмеялась.

Я выскочил из купе, стал в коридоре около окна и еще долго чувствовал на лице немного обалделую улыбку, и в мою руку кто-то еще долго тихонечко толкался...

...Иркутск. Мы вышли все вместе — Леонид, Зоя и я, и пока они мешкали с вещами на платформе, я тихонечко зашел в газетный киоск. Я видел, как из того вагона, где я ехал раньше, вышел дядька в пижаме — видно, он ехал дальше, — а за ним сошел Верблюдыч и даже не попрощался с этой «пижамой». А потом я увидел, как Зоя и Леонид начали оглядываться по сторонам, а потом, оставив свои вещи, стали бегать по платформе вдоль поезда.

— Шляпа! — кричала Зоя. — Развесил уши. Где мальчишка?

— Ну, Зойка, ну, Зойка, — бормотал Леонид, — ну, не пропадет же он в самом деле, у него же мать здесь...

— Не верю я, — кричала Зоя, — ты видел, какой он странный. Беда у парня, наверно, а ты бросил... Ко-офий подавать... Шляпа ты с ушами!

Я слышал все это и думал — вот сейчас выйду из-за киоска, засмеюсь и скажу: «Ну, чудачки, эх, чудачки — вот он я».

Но я не вышел и ничего не сказал: зачем я буду еще этих хороших ребят в свои дела впутывать, у них и своих забот хватает.

Они поругались еще немного, потом взяли вещи и ушли. Я видел, как они все время оглядывались. Я подождал еще некоторое время, потом вылез из своего укрытия, сел в автобус и поехал на ту сторону Ангары — в город.

Было начало седьмого, и я сразу же пошел в театр. На афише в вестибюле я прочел, что сегодня идет спектакль, в котором играет мама и... Долинский. Я купил билет, оставил в гардеробной сумку и забрался на второй ярус. Не помню, какая это была пьеса. Я ничего не видел и не понимал. Я видел только маму — такую родную, знакомую, красивую и грустную. И комок стоял у меня в горле, и я глотал его и никак не мог проглотить. И мне все время хотелось крикнуть: мама, мама! Я здесь, вот он я, я за тобой приехал, ну хоть погляди на меня! Но она не глядела. А потом на сцене появился красивый, грустный и бледный Долинский, и я чуть не задохнулся...

Спектакль кончился, и я, как в каком-то тумане, вышел из театра. Я стоял у служебного входа, спрятавшись за толстым деревом, и ждал, когда выйдет мама. И вот она вышла, и, конечно, не одна, а с Долинским. Он поддерживал ее под руку и что-то говорил весело и словно радуясь чему-то. А мама устало улыбалась и молча кивала головой. Я не подошел к ним. Если бы еще она была одна — тогда я, наверно, не выдержал бы и бросился к ней, но она была с Долинским, и я не подошел, а тихонько пошел за ними.

Они пришли на берег Ангары и сели на скамейку, и Долинский продолжал говорить, чему-то радуясь. Я не слышал, что они говорили, но видел их хорошо — рядом со скамейкой светил фонарь, — и я хорошо видел их глаза и лица. Потом я нечаянно высунулся из-за дерева, и мама посмотрела в мою сторону. У меня так забилося сердце, что я даже испугался, что упаду. Мама только глянула в мою сторону и сразу отвернулась. Потом будто ее что-то задело, она опять посмотрела в мою сторону. Я стоял в тени, и, наверно, ей плохо было меня видно, и она еще несколько раз посматривала, как будто украдкой, а я словно прирос к месту и не мог сдвинуться. Мама еще раз посмотрела на меня и вдруг встала, но сразу же села опять, как будто у нее подогнулись ноги. Она провела рукой по лицу, тряхнула головой и что-то сказала Долинскому. Он посмотрел в мою сторону, но меня не увидел: я быстро спрятался. Он покачал головой, обнял маму за плечи и стал ей что-то тихо говорить, а она прижалась к нему и положила голову на его плечо. Потом отстранилась, взяла его голову в свои руки и посмотрела ему прямо в глаза. Я это хорошо видел. Я видел, как она на него смотрела. Она ни когда не смотрела так на отца... А потом... потом она поцеловала его так, как она никогда не целовала отца. И я ушел. Я шел, и слезы капали и капали, и мне было так плохо, как еще никогда не было...

Потом я долго стоял на мосту через Ангару и смотрел в глубокую и прозрачную воду, в которой отражались огни станции. Говорят, что Ангара одна из самых красивых рек в мире. Может быть, может быть...

И вот я стоял и думал. Надо ехать домой к отцу, к Нюрочке, надо возвращаться в класс, надо возвращаться в спортивную школу, надо узнать, как там в Ленинграде живут Юрка и Оля и Капитанская дочка, — в общем, надо жить...

И кажется, я уже немного начал понимать, что к чему. Хотя, наверно, до конца я так и не пойму всего. Наверно, до конца никто не понимает...

*Невероятно
насыщенная
жизнь*





ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

В соседнем дворе живет Венька Жук. То есть настоящая его фамилия не Жук, а Балашов, а Жуком его зовут потому, что он маленький, черный и очень шустрый, настырный, как говорит наша дворничиха Светлана. Венька учится в нашем классе, а вернее сказать, не учится, а так себе — проводит время. И дневничок у него прямо загляденье — весь вдоль и поперек исписан разными чернилами — замечание на замечании, а о двойках я уже и не говорю. В общем, типичный «трудный». В классе он ни с кем не дружит, а на улице у него есть дружки-приятели: один тощий и длинный с причесочкой, как у этих английских парней-музыкантов, «битлов», что ли, и зовут его как-то странно — Фуфло, а другой — хорошенький такой светленький мальчик с зелеными глазами и на вид совсем тихоня, а на самом деле чуть не главный у них заводила. И прозвище у него почему-то — Хлястик.

И вот как-то в самом конце августа иду я себе потихоньку домой и вижу, как в соседнем дворе эта троечка лупит одного мальчишку. Я его знаю. Нет, вернее, я с ним и не знакома, а просто он последнее время стал очень часто попадаться мне на пути. Почти каждый день. И посматривает на меня, а я, конечно, делаю вид, что и не замечаю его вовсе. Один раз он даже попробовал со мной познакомиться. Я шла из магазина и в уме подсчитывала, могу ли купить с оставшейся сдачи мороженое — как-то я забыла в этот раз спросить разрешения у бабушки и вот думала: рассердится она или нет. Я остановилась у тележки с мороженым и стояла там немножко задумчиво и не сразу заметила этого мальчишку, а он стоял рядом и спокойненько ел эскимо. Ну, если бы он только ел эскимо, это бы еще ничего, а он ел и пялил на меня глаза и вроде даже улыбался. А глаза у него были какие-то синие-синие. Нахальные. Весь он белобрысый, на носу веснушки, а нос курносый. Невысокий, но такой спортивный мальчишка. Ест себе эскимо и пялит на меня глаза. Я, конечно, очень сердито и очень гордо подняла голову и хотела уже идти дальше — ну его, это мороженое, — а он вдруг засмеялся, подмигнул мне и спросил:

— Хочешь мороженого? — и полез в карман, наверно, за деньгами.

— Вот еще новости, — гордо сказала я и опять хотела идти, но почему-то не пошла.

— По глазам вижу — хочешь, — сказал он и опять засмеялся.

— У вас... милостивый государь, весьма ву... вульгарный способ заводить знакомство с девочками. Я этого не люблю, — еще гордее... нет, горже... нет, ага, вот так, еще более гордо сказала я и пошла. Очень здорово

я поставила его на свое место. И он весь как-то понурился и грустно опустил свои синие-синие глаза... Чепуха! Никуда он их не опускал, а снова засмеялся и сказал мне вдогонку:

— Вот чудачка: «милостивый государь»! А мороженое-то мировое, и вообще я знаю, как тебя зовут. Маша. Вот.

Тогда я нарочно вернулась к тележке, купила себе самое большое мороженое за двадцать восемь копеек и, не глядя на белобрысого, ушла.

А он только крикнул мне вслед:

— Ишь какая строгая!

Да, строгая. И правильно. Женщина должна беречь свою честь. Об этом мне часто говорит бабушка и иногда папа. А от бабушки мне за мороженое здорово попало. Не потому, что она пожалела сдачу, а потому, что я не спросила. И я ужасно разозлилась на этого мальчишку.

Так вот, иду я домой, а в подворотне Ванька Жук, Фуффло и Хлястик лупят этого мальчишку изо всех сил. А он молчит и только отбивается, и из носу у него капает кровь. Но сопротивляется он отчаянно — у Фуффы, например, уже огромная дуля под глазом. Я хотела пройти мимо — ну и пусть этому белобрысому попадет как следует за мороженое, но потом остановилась. Ведь это все-таки несправедливо — трое на одного. Я положила авоську с яблоками на тумбу у ворот и ринулась под арку.

— Венька Балашов! — сердито сказала я. — Ты что это делаешь?! Это благородно — трое на одного? Да? А ну! — И я дернула Веньку за шиворот так, что он отлетел в сторону. Он так удивился, что даже не сопротивлялся, а только открыл рот. А Фуффло со злобным видом подошел ко мне, взял меня за плечо своими клещами и прошипел:

— А ну отвали, не то кэ-эк дэ-эм!

— Ах ты, Фуффло несчастное! — сказала я и дала ему здоровую затрещину. Тогда Фуффло двинул меня кулаком в глаз, и глаз у меня сразу заплыл, наверно, не хуже, чем у него самого. Венька заорал на него:

— Эй, ты! Ты ее не трогай! Она у нас учится.

— Пэ-эдумаешь, — сказал Фуффло.

А белобрысый подскочил к нему и тоже вплепил хо-о-ро-шую затрещину.

— Девчонок бить? Да? — сказал он.

А Хлястик, как только начались эти дела, куда-то испарился. Фуффло было опять полез в драку, но Венька сказал ему что-то на ухо, и он отстал. А тот мальчишка вдруг выскочил из подворотни, посмотрел направо, потом налево и припустил по улице.

«Ну и ну, — подумала я, — стоило еще за него заступаться». Глаз распух и здорово болел, и я приложила к нему платок. Венька достал из кармана пятак и протянул мне.

— На, приложи, — сказал он, — синяка не будет.

Я поддала ему по руке, и пятак выскочил и куда-то покатился. Фуффло бросился его искать, а Венька сказал:

— Ну и дура, — и пошел во двор.

Я вышла на улицу, но авоськи с яблоками на тумбе уже не было. Веселенькая история! Послезавтра в школе собрание, а у меня под глазом фонарь — ничего себе отличница и член совета дружины. И яблок нет, и дома будет — ой-ой-ой... И все из-за этого белобрысого. Ой-ой-ой! А ему хоть бы что — взял и удрал, как маленький. Очень мне было грустно и обидно. Эх! Прошли времена мушкетеров, запросто можно получить синяк под глазом.

...Как назло, дома все были в сборе. И бабушка, и папа, и мама, и даже мой братец Витька. То его никогда дома не бывает, а тут — нате вам, пожалуйста! Он еще только перешел в четвертый, но уже страшная язва.

— Эге, — сказал он, — что-то здорово у нас в квартире светло стало.

Он, конечно, сразу заметил мое украшение. Все, что не надо, замечает...

— Боже! — сказала мама. — Что это? Витя, принеси мне капли Зеленина — они на тумбочке в спальне. — И села на кресло и прикрыла глаза рукой.

— Ха-ха-ха! — сказала бабушка. — Вот это вполне современная девочка. Впрочем, я в детстве тоже дралась. А где яблоки? Оля, не волнуйся — я сейчас сделаю ей примочку. Ха-ха-ха! Какой потрясающий эффект это произведет в школе! Надеюсь, ты дала сдачи?

— Так! — сказал папа. — Я начинаю сомневаться в том, что именно труд сделал обезьяну человеком.

Я стояла, отвернувшись к окну, чтобы они не очень смотрели на мой фонарь, а мне он в стекло был виден — ничего себе... Я старалась быть спокойной — что уж тут при таких обстоятельствах волноваться, и поэтому, когда папа начал говорить про труд и обезьяну, я довольно спокойно подумала: при чем тут это? И спокойно спросила:

— Почему?

— Ты спрашиваешь — почему? — тоже очень спокойно сказал папа. — Ну что ж, я тебе объясню все очень обстоятельно.

Я подумала, что папа, чем он становится старше, тем он делается все больше и больше обстоятельным. Он начинает объяснять вещи, которые мне уже давным-давно понятны. Притом объясняет их очень долго и обязательно цитирует.

— Я не люблю приводить цитаты, — говорит он, — но тут я не могу удержаться...

И дальше пошло, поехало — минут на сорок.

Вот и сейчас: стоило мне сказать это проклятое «почему», он моментально начал лекцию. Он сказал:

— Потому, что у меня перед глазами изумительный пример. — Он ткнул пальцем сперва в меня, потом в Витьку, который принес маме капли и стоял ухмыляясь. — Я вас с самого раннего детства приучал трудиться. И вообще, и я, и мама, и бабушка учим вас только хорошему, а вы все-таки растете обезьянами.

— Я-то тут при чем? — пробурчал Витька. — У меня, что ли, фонарь под глазом и яблоки пропали?

— А вы, милостивый государь, помолчите, — сердито сказал папа. — Вы-то уж абсолютно типичный представитель семейства макаковых. И у вас нос в пуху, пожалуй, не меньше, чем у вашей очаровательной сестрицы.

— А зачем оскорблять-то? — заныл Витька. — Макаковый...

— Нет, я, кажется, плюну на всю педагогику и однажды выдеру тебя за твое нахальство. Он еще обижается!

— Гриша, ну что ты говоришь, — простонала мама, — как можно...

— Очень даже можно, — сказала бабушка, — нас в детстве драли. И ничего. Выросли вполне интеллигентными людьми.

— Боже мой, — опять застонала мама, — ну нельзя же так...

— Я и говорю: можно, но не нужно, — сказала бабушка. — Профессор Переперченко, с которым я работала на курорте в Одессе в одна тысяча девятьсот тридцатом, нет, кажется, в одна тысяча девятьсот двадцать девятом, а впрочем, в тридцать пятом... так вот, профессор считал, что

от синяков очень хорошо помогает какое-то средство, я забыла, как оно называется.

— Я не люблю цитировать, — продолжает папа, — но сейчас я просто не могу удержаться. — И он идет к стеллажу и достает том Чехова, а я думаю, как же я пойду в школу с таким глазом, и надеюсь, что бабушка вспомнит рецепт профессора от синяков. Но бабушка, как только услышала, что папа собирается читать Чехова, удобно усаживается в кресло напротив мамы. Она очень любит слушать, как папа цитирует. «Это обогащает», — говорит она в таких случаях.

Но читать Чехова папе так и не удается, в передней раздается звонок.

— Открой, — говорит папа Витьке и продолжает искать нужную страницу. Витька идет в переднюю, оттуда слышен чей-то вроде бы знакомый голос, а потом входит Витька с ужасно вредной улыбочкой и говорит мне:

— Там к тебе... хахаль пришел.

— Ха-ха-ха, — смеется бабушка, — ужасно современный ребенок. Ха-ха-ха! Как это? Хяхаль?!

— Боже, — говорит мама, — только этого не хватало...

Я делаю свирепый вид и показываю Витьке потихоньку кулак, а сама думаю, кто же это, неужели... Г. А.? Вот уж вовремя! И хочу бежать в переднюю, но папа таким ужасно повелительным жестом останавливает меня, твердыми шагами идет в переднюю, и оттуда доносится его вежливый, но совершенно ледяной голос:

— Прошу вас, входите.

И в комнату заходит... тот самый белобрысый. Нос у него распух, но он улыбается во весь рот, и в руках у него... моя авоська с яблоками.

— Здравствуйте, — говорит он, — меня Сеней зовут.

Очень нужно знать, как его зовут! А он заметил меня и подмигивает. Я даже задыхнулась от возмущения, а он как ни в чем не бывало говорит:

— Вот твои яблоки, — и кладет авоську на стол.

— Так, — говорит папа, — а позвольте спросить, молодой человек, откуда у вас оказались яблоки дочери?

— Нашел, — смеется мальчишка и опять подмигивает мне.

— А у него нос распух, — говорит Витька.

Папа внимательно смотрит на нос белобрысого, потом медленно переводит взгляд на мой заплывший глаз. И мама тоже. И бабушка. А Витька скромненько ковыряет в своем носу, и я готова его убить.

— Я, кажется, вспомнила рецепт примочки для глаз, — говорит бабушка, — думаю, она поможет и носу.

— Обойдется, — говорит мальчишка, — вы не беспокойтесь, у меня и почище бывало. А вот ей, — он кивает в мою сторону, — ей бодяга поможет. Мне сейчас некогда, а вы, — он смотрит на папу, — пошлите кого-нибудь в аптеку. Вот его хотя бы, — он показывает на Витьку. — А то как она в школу пойдет?

Витька от неожиданности вынул палец из носа и разинул рот. Папа как-то странно крикнул и посмотрел на маму. Мама только развела руками.

— Ну, я пошел, — улыбаясь, говорит белобрысый. — До свиданья.

— Спасибо, — растерянно говорит папа, — заходите.

— Спасибо, — говорит белобрысый, — на той неделе забегу.

В дверях он поворачивается и говорит мне:

— Маш, ты приходи часов в семь в садик на Некрасова. Дело есть.

— У-у-у... — говорю я.

Слышно, как хлопнула входная дверь. Мама встала с кресла и пошла к папе.

— Ты что, Гриша? — слабым голосом спросила она.

— Ты не волнуйся, Оля, — ласково говорит папа, — я разберусь. Иди полежи, отдохни, — и он легонечко выпроваживает маму, потом поворачивается к Витьке: — И вас, милостивый государь, попрошу, — он указывает на дверь.

— Вот, всегда выгоняют, — занял Витька.

— Марш отсюда! Ты сегодня вел себя, как не подобает вести себя мужчине. Нет! Скорее ты вел себя, как... как старая сплетница и еще, еще, как... мелководный провокатор. Вон!

— Ну уж, сплетница, ну уж, про... провокатор, — ноет, скрываясь, Витька.

— Марш! — кричит папа и громко захлопывает дверь за Витькой. Некоторое время он ходит по комнате. Потом останавливается и что-то очень спокойно говорит:

— Садись, Мария.

Ну, добра теперь не жди: когда папа называет Витьку милостивым государем, а меня полностью — Мария, значит, он здорово сердится. А когда он здорово сердится, он может принять самое неожиданное решение, например, три месяца не пускать меня в кино или прийти в школу и попросить, чтобы ко всем моим общественным нагрузкам прибавили еще парочку. И прибавляют. В школе почему-то очень уважают моего папу.

— Итак, Мария, объясни, пожалуйста, что, собственно, все это означает? — говорит папа, когда я нехотя усаживаюсь на краешке стула. — Кто этот загадочный Семен?

— Да откуда я знаю, — говорю я чуть не плача.

— Так. Интересно. Я бы сказал, даже очень интересно. Он называет тебя по имени, он приносит тебе яблоки с распухшим носом...

Я не сдержалась и рассмеялась, потому что вдруг представила себе яблоки с распухшими носами. Папа сердито посмотрел на меня.

— Он с распухшим носом приносит тебе твои яблоки, — продолжает папа, — и, наконец, он назначает тебе свидание в семь часов вечера под часами...

— В садике, — неожиданно для себя говорю я, — на Некрасова.

— В садике, — соглашается папа. — Так вот. И ты утверждаешь, что совсем, то есть абсолютно незнакома с этим... молодым человеком, а между тем у тебя под глазом синяк... а у него распух нос.

— Почему абсолютно, почему абсолютно? — бормочу я. — Я его знаю, то есть... не знаю... ну, в общем, знаю... и не знаю.

— Мистика! — говорит папа и машет пальцем перед моим носом. — Финтишь, Мария. Мария, не финти!

— Да я не финтю, я...

— Надо говорить — финчу.

— Ну, финчу.

— Ага, значит, финтишь.

— Да не финтю, — уже кричу я, — я сказала, что я не финтю, а финчу!..

— Я и говорю — финтишь.

— Папа, — я стараюсь говорить спокойно. — Папа, это ты мне сказал, что надо говорить — фин... чу, ну вот я и...

— Словом, ты и тут фин... — Но в этот день неожиданности сыпались,

как из какого-то мешка. Не успел папа договорить — послышались три веселых звонка в передней. И я сразу выскочила открывать. В дверях стояла наша дворничиха Светлана — такая хорошенькая татарочка, а за ней какой-то огромный военный с погонами полковника.

— Папа дома, Машенька? — запела Светлана. — Вот этот товарищ, — она сделала глазки в сторону военного, — его разыскивает.

— Папа! — крикнула я, ужасно радуясь, что получила отсрочку, и удивляясь, кто бы это мог быть — у нас знакомых военных вроде бы и нет и по службе папа никакого отношения к военным не имеет — он преподает литературу в педагогическом институте. — Папа! К тебе.

Папа вышел в переднюю и зажег свет.

— Кто там? — сердито спросил он. Увидел Светлану и улыбнулся. Между прочим, я еще давно заметила — он всегда ей улыбается.

— А, Светланочка, — ласково сказал он, — чем могу служить?

— Григорий Александрович, — опять запела Светлана, — вот товарищ военный разыскивает, ой как интересно, по всему Ленинграду одного своего товарища, он его, понимаете, с самой войны не видел. Зовут его Гриша Басов. Вот я и подумала, что, может...

— Я Басов, — сказал папа, и я увидела, что он волнуется. — Проходите, пожалуйста.

Полковник шагнул в переднюю. А дальше случилось такое, что я, наверное, до самой смерти не забуду, и, как вспомню, мне реветь хочется.

Военный вошел в переднюю и уставился на папу, а папа уставился на него. Он был немного старше папы — голова у него была совсем седая и под глазами много мелких морщинок, но он был красивый, настоящий офицер — это я сразу заметила. Они долго молча смотрели друг на друга, а у Светланы голова завертелась из стороны в сторону — то на папу, то на полковника. И я тоже пялила на них глаза и тоже почему-то волновалась так, что сердце чуть не выпрыгивало.

Потом полковник снял фуражку, достал платок и вытер пот со лба. И тихо засмеялся. Он посмотрел на Светлану и сказал:

— Он, понимаешь. Он. Гриша. Гриша Гвоздик.

Тогда папа снял очки, руки у него дрожали.

— Дядя Вася, — тихо сказал он, — Василий Андреевич, комбат, товарищ комбат...

А полковник стоял и улыбался. А папа вдруг подошел к Светлане и поцеловал ее в щеку, потом подошел ко мне, тоже поцеловал в щеку, а потом убежал в комнату. Мы слышали, как папа кричал что-то в комнатах, а потом появился, подталкивая испуганную маму. За ними выплыла бабушка, а за ней протиснулся в переднюю Витька.

— Вот, дорогие мои, — торжественно сказал папа, — это тот самый человек, который... которому... которого... — Папа махнул рукой. — Словом, это тот самый человек. — Папа снял очки и начал их быстро-быстро протирать. — Он меня нашел, а я его нет, но он меня нашел, и я просто не знаю, что сказать. Так это прекрасно. Вот.

— Григорий, — сказала бабушка в нос, — ваше волнение очень трогательно, но, может быть, вы нам скажете все же...

— А разве я не сказал? — удивился папа. — Это командир батареи товарищ старший лейтенант Василий Андреевич Волжанин. Это... мой комбат.

— Боже мой, — сказала мама. — Витя, принеси мне капли Зеленина.

— Не пойду, — сказал Витька, — мне тоже интересно.

Бабушка величественно выдвинулась вперед.

— Это как в романе, — сказала она опять почему-то в нос и улыбнулась самой любезной улыбкой. — Вы читали роман, не помню уж чей, «Бомбы падают вниз»? Вот там довольно похожая ситуация.

Папа сердито посмотрел на нее, а мама дернула за рукав.

— Не понимаю... — начала бабушка.

— Ой, — спохватилась мама, — а что же это мы здесь стоим?

— Да, в самом деле, — сказал папа.

— Просим, просим, — сказала бабушка.

— Проходите, проходите, — сказала мама.

— Прошу, прошу, — сказал папа.

И все они начали толкаться в дверях, стараясь пропустить вперед Василия Андреевича и только мешая ему и друг другу. Наконец кое-как все протиснулись в комнату и принялись усаживать гостя, выбирая ему лучшее место.

— Ну-с, — сказала бабушка, — рассказывайте, рассказывайте. — И она устроилась поудобнее в своем любимом кресле. Ужас как она любит всякие рассказы.

В дверь заглянула Светлана, и папа крикнул:

— Светланочка, заходите, заходите!

— Ну что вы, — сказала она, — мне неудобно. У вас тут все свои. Я лучше в другой раз, — и прошла в комнату и тоже села на краешек дивана.

Я села к столу и, вспомнив про свое украшение, повернулась ко всем в профиль, чтобы синяк не был виден. Сидеть так было не очень удобно, приходилось косить, чтобы видеть гостей. В суматохе мы и не заметили, как уселись сами, а полковник остался стоять посредине комнаты, все так же посмеиваясь.

— Расселись! — мрачно сказал Витька, встал со стула и пододвинул его гостю.

Василий Андреевич громко засмеялся и сел. Тогда все ужасно сконфузились и вскочили со своих мест. «Да, да, что же мы, садитесь, садитесь, ах, ах, как же это мы, садитесь, садитесь!» — закричали все, а гость замаяхал обеими руками, и тогда опять все уселись на свои места и начали вздыхать и улыбаться, а потом вдруг, переглянувшись, стали смеяться и хохотали долго — у бабушки даже слезы на глазах выступили, а Василий Андреевич стал вытирать платком лоб. А когда, наконец, все успокоились, он встал и сказал чуть хриловато — наверно, все еще волновался:

— А ведь мы с тобой еще и не поздоровались, Гриша.

Папа вскочил, уронив стул, и бросился к нему, и они поцеловались три раза, обнимаясь крест-накрест. А все мы смотрели и ужасно радовались. «Вот так встречаются старые боевые друзья», — думала я с гордостью. Мы очень много слышали от папы о Василии Андреевиче. Папа говорил о нем как о самом лучшем, самом добром, самом смелом, самом сильном человеке, которого он когда-либо встречал в жизни, но говорил всегда с грустью, так как считал, что его комбат погиб. И вот оказывается, он вовсе не погиб, а разыскал своего верного ординарца, и вот они сидят друг против друга и вспоминают минувшие дни и битвы, где прежде рубились они. Потом папа спохватился.

— Василий Андреевич, дядя Вася, — он повел рукой, показывая на всех нас, — это моя семья.

— Очень, очень приятно, — сказал дядя Вася.

— Моя жена Оля, — гордо сказал папа.

Мама встала и почему-то ужасно покраснела. Василий Андреевич внимательно посмотрел на нее и подошел к ней.

— Хорошая жена, — сказал он серьезно, и мама покраснелась еще больше. — Не возражаешь? — спросил он у папы, и они с мамой тоже три раза поцеловались. И мама стала похожа на девочку.

— Моя теща Антонина Петровна, — сказал папа и поклонился в сторону бабушки.

— Фи, — сказала бабушка, — ужасное слово «теща». Я Олечкина мама. — И, не вставая с кресла, она протянула дяде Васе руку, как важная дама, для поцелуя.

— Хорошая те... мама, — сказал дядя Вася и подошел к бабушке. Он поцеловал ей руку, а потом, улыбаясь, сказал: — Но этого мне мало, — и наклонился к бабушке.

— Ах, — сказала бабушка и расцвела как маков цвет. — Витенька, подержи очки. — И они тоже три раза поцеловались.

— Это мой сын Виктор, — сказал папа.

Витька сам подошел к полковнику и сунул ему руку. Вид у него был такой, точно он проглотил аршин, и на носу выступили капельки пота.

— Отличный парень, — сказал дядя Вася и пожал руку Витьке, как мужчина мужчине. И Витька даже засопел от гордости и надулся, как индюк.

А я сидела и волновалась, и боялась, как бы гость не заметил мой синяк, и думала, как же я к нему подойду, чтобы он не заметил, а еще думала, что хорошо, если он и меня поцелует... три раза...

— Это моя дочь, — сказал папа, — Маша.

Я кое-как сползла со стула и боком подошла к дяде Васе и так, боком, остановилась около него.

— Отличная дочка, — сказал дядя Вася, — а чего ты на меня смотреть не хочешь?

— Стесняется, — сказал Витька противным голосом.

— Ну, раз стесняется... — сказал полковник и потрепал меня по волосам, а я пулей вылетела из комнаты и дала себе клятву уничтожить Веньку Жука и всю его фуфлиную компанию, а заодно и Витьку, и этого белобрысого Семена...

Я стояла в передней и слышала, как там в комнате все громко смеялись и говорили одновременно, так что отдельных слов разобрать было невозможно. Я прислушивалась — не говорят ли что-нибудь обо мне, но моего имени не упоминалось, и, с одной стороны, я была рада, а с другой стороны — мне почему-то было обидно: вот ушла — и все сразу обо мне забыли. Им так весело, а я стой тут со своим синяком, и никто обо мне даже не вспомнит. Ну и ладно — обойдусь. Вот пойду в семь часов в садик на Некрасова — интересно, что вы тогда скажете?

Только я это подумала, как в переднюю вошла Светлана — такая довольная и веселая, что можно подумать, будто именно ее разыскивал полковник, а не нас. Впрочем, он нас и не разыскивал, он даже не знал, есть ли мы или нет. Он разыскивал папу, своего однополчанина, а не нас.

— Ой, как хорошо-то, ведь это надо же, — сказала Светлана. — А ты чего здесь стоишь? Там так весело, так хорошо, просто ужас. Ой, что это с тобой? Кто это тебя так? Наверно, Венька из двадцать седьмого? Вот такой-сякой! Ну, я ему! А ты примочки делай — я тебе скажу, какие... — Она разохалась, разохалась и начала меня жалеть и успокаивать, а мне от

этого еще тошнее делалось. Дались им эти примочки! А если не помогут тут примочки? Как я в школу пойду, как я с Г. А. встречусь? Хороша умница-разумница, красавица-раскрасавица! И как я в комнату войду к нашим?

Светлана еще немножечко поохала и убежала. Я тоже хотела уйти, но не уходила: надеялась, что все-таки кто-нибудь вспомнит обо мне и выйдет, и позовет. И вышел... Витька. Он хотел что-то сказать, но не успел — я схватила папину сандалию и треснула ему по лбу: пропадать так пропадать.

— Ты чего? Ты чего? — заорал Витька. — Второй фонарь хочешь?

Я замахнулась на него второй раз, и он скрылся, держась рукой за лоб. И тут в переднюю вышла бабушка. Она посмотрела на меня, подошла и обняла за плечи.

— Со мной был подобный случай в одна тысяча девятьсот... ну, да это неважно. Но я не очень расстраивалась. Молодость. Ах, молодость, — сказала она и вздохнула. — Где ты, моя молодость?! Вот тебе три рубля. Пойди, пожалуйста, в кондитерскую и купи торт. Тебе надо проветриться. На сдачу — зайди в аптеку и купи эту, как ее, бодягу, и тогда мы сделаем примочку, и все будет в порядке. — Она поцеловала меня в лоб и подтолкнула к двери.

Я спускалась по лестнице и думала, что все-таки бабка у меня отличная. Забавная, но все, все понимает, и хоть и сердится на меня иногда, а в трудную минуту всегда выручит и поможет.

Я уже спустилась в парадную и услышала бабушкин голос.

— Машенька, — кричала она, — не забудь, скоро семь часов! Домой можешь прийти в восемь.

— Ладно! — крикнула я и только уже на улице сообразила, что она имела в виду. Ну и бабка! Как бы не так — и не дождетесь, ни в какой садик на Некрасова я не пойду. Не на такую напали. Сама же мне говорила о женской гордости...

На углу в гастрономе я купила хороший торт, и у меня осталась сдача. Раздумывая, в какую аптеку поближе, я остановилась. И как раз напротив оказался этот садик на Некрасова, а часы около бани показывали без трех минут семь. Как же я попала именно в этот гастроном — ведь есть другой, гораздо ближе. Это просто что-то таинственное. Вроде как ее... телепатии — я толком не знаю, что это такое, но, кажется, передача мыслей на расстоянии. Я украдкой глянула в садик. Ну, так и есть: ходит теле... патик несчастный и поглядывает на часы над баней. «Нет! Этому не бывать», — сказала я себе и направилась в обратную сторону. Правда, ноги стали у меня какие-то деревянные и передвигались еле-еле, и мне почему-то ужасно хотелось обернуться — наверно, это тот несчастный белобрысый телепатик на меня действовал. Но я оказалась сильнее и, не оглядываясь, дошла до аптеки, а он пусть походит там часик. Ишь вообразил!

В аптеку мне лучше было бы не ходить. Когда я спросила будяк, все стало надо мной смеяться и поправлять: «Не будяк, ха-ха-ха, а бодяга, ха-ха-ха, вот так синяк, ха-ха-ха, тут вряд ли бодяга, ха-ха-ха, поможет, хи-хи-хи».

Только вышла из аптеки с проклятой бодягой в одной руке и с тортом в другой, как — бац! — мне навстречу идет собственной персоной Г. А.

— Мэри! — говорит он радостно. — Чао, Мэри! Очень рад тебя видеть. Ты давно приехала? А я как раз сегодня хотел тебя навестить.

Он смотрит на меня во все глаза, и я вижу, что он действительно рад меня видеть, и готова провалиться сквозь землю.

— Здравствуй, Гера, — говорю я, криво улыбаясь, и наклоняю голову,

чтобы хоть как-то спрятать свое украшение. — Я тоже очень рада тебя видеть. Но ты извини, я сейчас тороплюсь, ты позвони завтра.

— Я тебя провожу, — говорит Гера.

Я только вздыхаю — спорить с ним бесполезно: он человек железный, и как он сказал, так всегда и выходит.

Мы идем по улице, и я хочу идти слева от него, сами понимаете почему, но он не дает мне — он мне еще в пятом классе сказал, что слева всегда должен идти мужчина. Я мысленно машу рукой — будь что будет — и задираю голову. Он смотрит на мой чудный профиль (он еще в середине шестого класса сказал, что у меня классический профиль). Он смотрит на мой чудный классический профиль и говорит, что я, в общем-то, весьма неплохо выгляжу, даже поправилась. Я собираюсь было обидеться — и этот издевается, но, посмотрев на него, вижу, что он вовсе и не издевается, а когда он будто бы незаметно переходит на правую сторону от меня и берет у меня из рук торт, я чуть не всхлипываю от радости. «Вот ведь какой — сделал вид, что ничего не заметил. Настоящий парень! Нет! Не прошли времена мушкетеров», — думаю я, и мне сразу становится наплевать на свой синяк, и я иду рядом с Г. А., гордо задрав голову, размахиваю пакетиком с бодягой и рассказываю, как я провела лето, и кто к нам сегодня приехал, и скорее бы в школу. И он рассказывает, как он ездил с отцом по Кавказу, и как они ходили по горам, и плавали по морю, и тоже говорит, что он соскучился по школе и по ребятам, но я-то знаю, кого он особенно имеет в виду, и мне очень хорошо. Я думаю, вот будет здорово, если мы сейчас встретим того белобрысого Семена. Пусть бы он посмотрел, с каким мальчиком я иду и беседую, — увяли бы сразу его веснушки. И вообще рядом с Герой этот Семен просто замухрышка. А Г. А. — самый лучший мальчишка в классе, самый красивый, смелый, умный и вежливый — к девчонкам относится не так, как некоторые. И еще я думаю, что хорошо бы, если бы нам навстречу попались тихоня Зоенька и воображала Юлька. Представляю, как у них бы вытянулись мордашки. Вот так я иду и думаю, и поглядываю по сторонам, и почти не слышу, что говорит мне Гера, а навстречу, как назло, никто не попадается. Я сосредотачиваюсь и посылаю свои мысли на расстояние белобрысому Семену, но что-то ничего не получается, наверно, Г. А. меня отвлекает. Мы подходим к нашему дому, и я говорю:

— Может, зайдешь, Гера, познакомишься с нашим гостем.

— Неудобно, — говорит Гера серьезно, — у вас сегодня вроде семейное торжество. Но, знаешь, мне пришла в голову мысль: пригласить бы этого полковника и твоего папу в школу. Они бы нам рассказали о боевом прошлом.

— Очень здорово! — радуюсь я. — Но только это надо обязательно тебе, а то я... как-то не солидно. — Я смеюсь и показываю на свой синяк.

Гера ласково улыбается.

— Я не хотел тебя травмировать, — говорит он, — но раз уж ты сама... Как это получилось? Если не хочешь, конечно, не говори, но, может быть, я смогу помочь?

И я ему все-все рассказываю, и мне сразу становится легче. Правда, почему-то я не рассказала о том, как тот белобрысый приходил к нам, и про садик тоже не рассказала... Гера слушает меня очень внимательно и сочувственно покачивает головой.

— Ну что ж, ты молодец, — говорит он, и я таю от радости, — но я считаю, что это дело так оставить нельзя. Надо принять меры. Этот Венька уже порядочно всем надоел — пора положить конец!

Он говорит это так решительно, а мне сейчас так хорошо, что мне становится жалко бедного Веньку и его компанию, и я говорю:

— Знаешь, Гера, ну их. Они ведь трусы, и Фуфле тоже уже попало, а тому белобрысому, наверное, так и надо. Наверно, он сам к ним пристал.

— Ну, ладно, я подумаю, — говорит Г. А. Но говорит он это как-то так, что, боюсь, Веньке все-таки попадет — ведь Гера занимается в секции бокса.

— Ты только не очень его, Гера, — говорю я.

Г. А. удивленно смотрит на меня, потом смеется.

— Нет, бить я его не буду, — говорит он, — не волнуйся.

На этом мы расстаемся, договорившись, что Гера утром зайдет ко мне и мы будем приглашать полковника дядю Васю и папу в школу.

А в парадном меня встречает Венька Жук.

— Ну, ну! — говорю я, а сама думаю: что за денек выдался сегодня.

— Нажаловалась, — мрачно говорит Венька, — красавчику этому.

— Ничего я не нажаловалась, — злюсь я, — просто рассказала своему... товарищу. Да ты не бойся — он тебе ничего не сделает.

— Его бояться? — удивляется Венька. — Красавчика этого?

— Какой он красавчик? — сердито говорю я. — Он просто настоящий мальчишка. Не то что некоторые...

— Красавчик, — убежденно говорит Венька, — ты еще подожди — наплачешься от этого... товарища. — Он сплевывает, а потом, помолчав, спрашивает: — Болит глаз?

Я не отвечаю, тогда он лезет в карман, достает какой-то сверточек, протягивает его мне и говорит:

— Вот, примочку сделай — бодяга.

Я начинаю хохотать как сумасшедшая. Венька обалдело смотрит на меня.



— Ты что? Чокнулась? — спрашивает он, а я хохоча поднимаюсь по лестнице, хохоча открываю дверь и вхожу в переднюю.

— Смеешься? — говорит Витька. — Смейся, смейся. Тебе еще за это попадет, — он тычет себя в лоб пальцем, а на лбу у него розовая шишка — здорово, оказывается, я его треснула папиной сандалией!

— Шишка! — говорю я, смеясь. — Ничего себе — хорошая шишечка. Теперь у нас совсем светло стало!

— Ты не задавайся, а то дядя Вася... — говорит Витька.

— Что дядя Вася?

— Он знаешь, он знаешь, он знаешь какой?!

— Я-то знаю, — говорю я и, оттолкнув Витьку, иду с тортом в комнату, откуда слышны смех и веселые голоса.

Глава вторая

В самом деле — зачем полковнику самовар? Сейчас вроде из самоваров никто чай и не пьет — даже в деревне. Я очень удивилась, когда утром услышала, как Василий Андреевич сказал папе:

— Пойду-ка я сейчас по городу поброжу, вспомню старинушку, а заодно и самовар поищу.

Папа засмеялся и спросил:

— А зачем вам самовар?

Что ответил полковник, я не слышала. Я еще лежала в постели, а они шли из папиного кабинета, наверно, в кухню или в ванную. «Ну ладно, — подумала я, — самовар так самовар». И повернулась на другой бок поспать еще немного: вчера все засиделись очень поздно за столом, да, кроме того, я долго не могла заснуть — такие были интересные разговоры-воспоминания. Нас с Витькой даже не гнали спать — забыли. И про мой фонарь забыли. И примочку из этого будяка-бодяги не сделали. Я и сама забыла — так было интересно.

Дело в том, что полковник — он тогда был еще лейтенантом — воевал на Ленинградском фронте. Сам он из Сибири, а воевал за наш город и очень его полюбил. Ему с фронта — а фронт тогда был совсем рядом, знаете, совсем недалеко от Кировского завода — довольно часто приходилось приезжать по делам в город. И вот однажды в темный и страшный зимний вечер лейтенант наткнулся на мальчишку, который вез на санках что-то длинное, завернутое в простыню. Мальчишка был грязный, худой-худой и совсем выбился из сил. Когда лейтенант его увидел, он сидел на ступеньках какого-то подъезда и плакал. Лейтенант помог ему довести санки до одного двора, куда все из этого района свозили такие санки. На них, страшно сказать, лежали умершие от голода люди. И этот мальчишка тоже вез... с-свою м-ма-му... Ох...

...И вот лейтенант помог отвезти мальчишке его... маму в этот жуткий двор, где людей складывали, как дрова, а потом, если были машины, отвозили на кладбище...

Узнав, что у мальчишки больше никого не осталось — отец его погиб на фронте, сестренка тоже умерла, — он, лейтенант, уже больше не отпустил от себя мальчишку. Он его накормил тем, что у него было, а у самого-то было совсем немного, и забрал с собой на фронт. Ему, конечно, здорово попало от начальства, но мальчишку все-таки оставили на артиллерий-

ской батарее, которой командовал лейтенант, и мальчишка стал сыном полка. Это был мой папа — Гриша Басов, Гриша Гвоздик — так его называли на батарее: уж очень он был тоненький. И больше они уже с лейтенантом не расставались почти до самого конца войны, когда во время боев уже совсем недалеко от Берлина комбата убили (так все считали тогда), а моего папу ранили.

Вот о чем они вчера вспоминали. И все это было очень тяжело слушать, но не слушать было нельзя. Надо было слушать!

А потом они вспоминали разные боевые эпизоды — их была целая уйма. И много было смешного. Я смеялась со всеми, а про себя удивлялась: вот, они еще могут шутить и смеяться, и даже разыгрывать друг друга. Я-то удивлялась, но все-таки думала, что, наверно, без этого нельзя. Если не шутить и не смеяться, так совсем жутко станет. Я по себе знаю, когда у меня случается что-нибудь ужасно плохое, такое, что даже жить иногда не хочется, — посмеешься над чем-нибудь, а может, и над собой, и сразу становится легче. Папа тоже часто любил говорить, что чувство юмора — великая вещь, и его лично чувство юмора спасало в очень тяжелых случаях жизни. И, как всегда, он говорит, что не любит цитировать, а сам опять цитирует. Я не очень понимаю цитату, но она мне почему-то нравится, и я ее даже переписала в свою тетрадку:

«Чувство правды и чувство юмора должны покидать человека последними. Пока они присутствуют, человек еще жив, что бы с ним ни случилось.

Первое помогает осознать себя реально в этом мире, а второе — отнестись к этому своему реальному положению оптимистически».

Я не совсем понимала, что такое «реально» и что такое «оптимистически», но папа мне объяснил. Реально — это значит, не как тебе кажется, а как есть на самом деле, а оптимистически — это значит, что ты веришь, что все будет хорошо и правильно.

Мне это нравится, и я стараюсь развивать в себе и чувство правды, и чувство юмора. У меня это, конечно, не всегда получается, как говорит Г. А., «главное — понимать, чего ты хочешь, а кто хочет, тот добьется». Вот я, кажется, тоже начинаю цитировать Г. А.! А что ж, если это правильно?

Вчера они немножко выпивали, а потом ели мой торт и все время вспоминали и кричали: «А помнишь? А помните?» И смеялись, а иногда становились грустными и молчали, вздыхая, и покачивали головами. И мы тоже смеялись и тоже молчали и вздыхали. Потом они опять начинали вспоминать, и мы все слушали, и даже бабушка не пыталась вспоминать случаи из своей жизни, а их у нее вагон и маленькая тележка по всякому поводу и без повода. Она только иногда говорила: «А вот, помню...» — но как только все начинали на нее смотреть, она махала рукой — нет, мол, что вы, я в другой раз.

А мама сидела молча, иногда доставала платочек и, отворачиваясь, вытирала потихоньку глаза, а когда полковник рассказывал что-нибудь героическое про папу, она гордо посматривала на нас с Витькой — смотрите, какой папа у вас был молодец. И вот что интересно — кое-что из того, что они вспоминали, я уже знала раньше, но как-то относилась к этому довольно спокойно. «Так ведь это когда было, и потом, ведь очень многие воевали, не один мой папа, да и как он там очень уж воевал, ведь он был совсем мальчишкой» — так я примерно думала. А вот сейчас, когда услышала от другого человека, увидела этого другого человека и сразу поняла, что это очень хороший человек, и стала смотреть на папу совсем по-другому, и мне даже стало стыдно, что я в душе над ним иногда посмеивалась. И потом я

еще думала, что папа гордый и скромный, — он ведь почти не рассказывал о себе. О других и о Василии Андреевиче любил рассказывать, особенно в День Советской Армии, а о себе не любил. А оказывается, он тоже кое-что сделал, и хоть у него всего только медали, и то только одна «За отвагу», остальные все или «За оборону» или «За взятие», а все-таки он здорово воевал. И именно потому, что он был совсем мальчишкой, ну, немного старше, чем я сейчас (это-то и удивительно), — ему было гораздо труднее, чем взрослым, но он воевал, как многие взрослые, и даже лучше некоторых.

И не только ему спасали жизнь, но и он один раз спас жизнь своему комбату. Вот о чем они говорили вчера.

«Но зачем же все-таки полковнику самовар?» — подумала я и повернулась на другой бок. Но поспать мне не удалось — в комнату зашел папа.

— Вставай, соня, — сказал папа и пощекотал меня за ухом. — Витьку не будем будить, пусть поспит — он вчера совсем замучился. Бабушка тоже устала и, по-моему, переволновалась. Пусть спит. Мне надо часа на три в институт, а мама уже ушла на работу. А вы с полковником быстренько позавтракайте и идите погулять. Он просит тебя показать ему город. Ясна установка? — спросил он голосом полковника.

— Ясна! — заорала я шепотом.

— И совсем я не замучился, — хриплым голосом сказал вдруг Витька, — а Ленинград я лучше ее знаю. И потом, как она с таким фонарем пойдет?

— В самом деле, — сказала бабушка, — нельзя с таким глазом идти рядом с офицером — это будет его компрометировать. Вите действительно надо отдохнуть — он еще маленький и не привык ложиться так поздно. И потом, вы же не станете отрицать, милый Гриша, что я значительно лучше ребятшек знаю Петроград. Итак, с полковником, — сказала бабушка в нос, — иду я. Это решено. Гриша, выйдите, мне надо одеться.

— Дудки! — заорала я, теряя чувство юмора. — Он со мной хочет! Он меня попросил!

Я вылетела из кровати, напялила халатик и помчалась в ванную. Ванная была закрыта, и там фыркал и рычал морж.

— Ух, хорошо, эх, отлично, и-их, здорово, — рычал морж и плескался так, будто он хотел переплыть Северный Ледовитый океан.

— Василий Андреевич! Дядя Вася! — закричала я.

— А? Что? Кого? — кричал дядя Вася из ванной. — Не слышу!

— Подождите! Не плескайтесь! Не плещитесь минуточку.

— А? Что? Кого?

— Это я, Маша!

— Кого? Что?

И в это время, конечно же, к дверям ванной подскочил в одних трусиках Витька, а за ним выкатилась и бабушка, и все начали кричать и перебивать друг друга, а папа стоял в передней и хохотал как сумасшедший.

— Ой, — говорил он сквозь смех, — ой, не могу, Василий Андреевич, вы не вылезайте, они вас на части разорвут, ой, ах, не могу... Ха-ха-ха!

Я сориентировалась довольно быстро. Пока Витька с бабушкой перекивали друг друга, я помчалась на кухню, скоренько вымылась, помчалась в комнату, скоренько оделась, причесалась, перевязала бинтиком глаз, помчалась опять в кухню, выпила бутылку кефира и съела булочку, и, когда полковник вышел из ванной, я сидела и с чинным видом ждала его уже совсем готовая, а Витька с бабушкой все еще ссорились, кому первому идти в ванную, и папа их уговаривал не ссориться, а сам хохотал.

Полковник испугался.

— Что случилось? — спросил он. — Отчего такой шум? Почему такой крик?

Папа ему все объяснил.

— Ну что ж, — серьезно сказал полковник, — мне, конечно, очень приятна такая забота... Но я думаю, что...

— Я уже готова, — скромно сказала я, выходя из кухни. — Доброе утро.

— Хм, — сказал полковник, — как по боевой тревоге. Но я думаю, что мы можем пойти... — Он посмотрел на меня.

— Конечно, — сказала я, — пока они соберутся...

— Хм, — опять сказал полковник, — я думаю, что мы можем пойти вчетвером. А? — И он опять посмотрел на меня.

— Конечно, — сказала я, почему-то заикаясь, и ушам моим стало жарко.

— Ну и отлично, — сказал полковник.

Мы позавтракали — мне пришлось съесть еще и яичницу — и все вчетвером чинно вышли из дому. Все были очень довольны, а я ругала себя последними словами. Папа дошел с нами до угла и почему-то все время с хитрой усмешкой посматривал на меня. Он попрощался со всеми, а меня отвел в сторону и сказал на ухо:

— По-моему, ты получила весьма наглядный урок благородства.

Не может не сказать, сразу видно — учитель. Как будто я сама не поняла. Просто я хотела... мне хотелось... я думала: вот будет здорово, если девочкам из класса, которых мы встретим, обязательно должны встретиться, увидят меня с настоящим полковником, да еще с Героем Советского Союза — он вчера был без Звезды, а сегодня надел. Увидят одну, а не со всем семейством. Это будет ах и ох! Умрут от зависти, а так, когда мы все вместе — это не то: может, полковник просто бабушкин знакомый. Вот это-то и обидно. Я некоторое время шла сзади и переживала, но потом начала по кусочкам собирать свое чувство юмора, и мне, наконец, стало смешно: что это я, в самом деле, как четвероклашка какая? Бабушка в это время очень важно шла рядом с полковником, а Витька, как собачонка, забегал все время вперед, путался у дяди Васи под ногами и смотрел на него, задрав голову. Я догнала их и пошла рядом с полковником, наступая Витьке на пятки. Он ужасно злился и шипел на меня, но ничего поделать не мог — я шла как каменная. Тогда он плюнул и пошел впереди, но все время оглядывался и налетал на прохожих. Полковник, по-моему, все это видел и усмехался, потом он потянул Витьку и всунул его между собой и бабушкой, да еще и руку ему на плечо положил. Витька высунулся из-за спины полковника и скорчил мне рожу. Ну и пусть: он же в самом деле еще маленький — всего в четвертом.

В общем, постепенно все наладилось, и мы шли и разговаривали. Разговаривала, впрочем, больше одна бабушка. Нам с Витькой только иногда, когда бабушка переводила дух, удавалось вставить словечко.

Мы вышли на улицу Пестеля и пошли к Литейному. Бабушка, как самый настоящий экскурсовод, рассказывала об истории Ленинграда. Полковник кивал головой, но мне казалось, что он не очень-то и слушает. Он все время смотрел по сторонам, и вид у него был какой-то такой, как будто он что-то вспоминает. На углу Пестеля и Литейного он вдруг остановился и посмотрел на большой высокий дом.

— Это Дом офицеров? — спросил он неуверенно.

— Ну конечно, — сказала бабушка, — это вторая половина девятнадцатого века, Василий Андреевич, обратите внимание вот на это здание.

— Вот, — сказал полковник, — я, кажется, здесь был. Вот этот дом мне, кажется, знаком.

— А у нас построили Дворец спорта, — сказал Витька, — и мы теперь в хоккеей всем покажем!

— Витя, — сказала бабушка, — ты странный человек, я рассказываю полковнику про Петербург, а ты...

— Ничего, ничего, — сказал полковник, — все в порядке...

Мы перешли на ту сторону Литейного и не спеша пошли дальше.

— Вот, Василий Андреевич, обратите внимание, — говорит бабушка, — в этом доме жили Некрасов и Пирогов. Здесь, кстати, жила и Авдотья Панаева...

— Здесь? — спрашивает полковник.

— Музей, — говорит Витька. — «Вот парадный подъезд...»

— Что? — спрашивает полковник.

— «По торжественным дням...», — виновато говорит Витька.

— Нет, это — напротив, — говорит бабушка. — «Целый город с ким-то недугом...»

— Ну, правда? — спрашивает полковник.

Вот что интересно: я бегала по Литейному сто раз и сто раз пробегала мимо этих мест. И вроде бы знала, что здесь, в этих местах есть что-то замечательное, но думала, наверно, о чем-то другом, и мне эти места были, как говорят наши мальчишки, «до фени».

— Вот парадный подъезд... — говорит Витька.

— По торжественным дням, — говорит полковник.

— Вот видите, как вы хорошо помните классику, — говорит бабушка. — Это было в то время министерство земельных уделов.

— По торжественным дням, — задумчиво повторяет полковник и, освобождаясь от Витьки, и от меня, и от бабушки, идет на ту сторону. На него едут машины, но он не смотрит на них, а идет себе на ту сторону.

— Во дает! — говорит Витька, удивляясь.

«Ты-то что понимаешь, сморчок», — думаю я, но сама-то тоже не очень много понимаю.

С той стороны полковник машет нам рукой, и мы бежим к нему: впереди бабушка, помахивая сумочкой, за ней — Витька, а дальше не спеша бегу я.

— Вот это — парадный подъезд? — спрашивает Василий Андреевич.

— Да, — отдуваясь, говорит бабушка. — Но я не понимаю...

— Эх, — говорит полковник и садится на ступеньку. И сразу у него делается очень грустный вид. Витька садится рядом, а бабушка оглядывается по сторонам.

— Неудобно, полковник, — говорит она в нос, — встаньте.

— Прошу прощения, — говорит полковник, вставая, — лирика! — Он трет лоб и смущенно смотрит на бабушку. — Вы уж, Антонина Петровна, простите, — воспоминания. Вот здесь я его и встретил.

— Кого? — кричу я.

— Гришу. Гвоздика, — говорит полковник. — Да.

— Ах, вот оно что, — говорит бабушка и вздыхает. — Да, да. Это... это... — Она разводит руками и опять вздыхает.

Витька внимательно оглядывает подъезд и хмурится. И мы стоим некоторое время молча. Потом бабушка берет Василия Андреевича под руку. Витька берет его за руку, и они идут по Литейному, а я сажусь на ступеньки

этого подъезда и глажу тихонько ступеньки рукой, и мне становится все как-то странно — будто это я, а будто и не я, а тот худой-худой мальчишка, который везет на саночках завернутую в белую простыню свою маму, а кругом все так тихо и стоят вмерзшие в лед трамваи и троллейбусы, и лежит посреди Литейного бомба. Лежит. И вот-вот разорвется. И троллейбус, в котором сидят замерзшие люди, взлетит на воздух, и вверх полетят обломки и еще что-то, о чем страшно сказать...

Г. А. говорит, что самое главное в человеке — это чтобы он знал, что он хочет. Тогда человек будет на высоте. Ну, а если человек хочет... убивать? Тогда он тоже будет на высоте? Нет, это все, конечно, ерунда, и Г. А. наверняка так не думает. Я сижу на ступеньке, трогаю ее рукой и думаю: вот здесь сидел мой папа. Ему было тринадцать, столько, сколько мне сейчас...

Конечно, они за мной возвращаются.

— Вот она, — кричит Витька, — дура! А мы ее...

— Пошли, — говорит полковник. — Чего ты тут застряла?

— Она очень впечатлительная девочка. Я вам говорила об этом, полковник, — говорит бабушка.

«Полковник» она обязательно произносит в нос, мне даже не передать это: «по-о-н-л-л-нковник».

— Ладно, — говорит полковник, — идите вперед, мы за вами.

Они — бабушка и Витька — идут впереди, а мы за ними.

— А ты, пожалуй, действительно... — говорит полковник.

— Ну и ладно, — сердито говорю я, хотя сердиться мне и не на что.

— Ну и ладно, — говорит полковник. — Тебе сколько лет?

— Тринадцать... исполнилось, — говорю я.

— Мне минуло тринадцать лет... — сказал Василий Андреевич словно про себя и замолчал.

Мы шли рядом с ним в десяти, нет, пожалуй, в пятнадцати шагах за бабушкой и Витькой. Я видела, как Витька оборачивался, а бабушка поворачивала его обратно и что-то говорила ему, а он опять оборачивался, а бабушка брала его за затылок и снова поворачивала обратно.

— Понимаешь, — заговорил полковник, — я вот старый солдат, и вроде моя профессия... убивать людей...

— Людей? — удивилась я.

— Врагов, — сказал полковник, внимательно посмотрев на меня, — конечно, врагов...

Я задумалась.

— Ну ладно, — сказал полковник, — тебе не об этом думать надо. Тебе надо жить, старушка. Хорошо жить. Весело. — Он помолчал и задумчиво сказал: — Странно, что я с тобой на такие темы разговариваю...

— Ничего не странно, — сказала я. — А что лучше — молчать? Да?

— Да нет, — сказал полковник, — просто я это к тому говорю, что тебе надо хорошо жить, весело. Вот для этого — я всю жизнь военный. И не жалею. А война, — он махнул рукой, — война паршивая штука. Давай-ка догоним их, а то обидятся. Ну, побежали.

Мы побежали и догнали наших. Витька был какой-то притихший, а бабушка очень громко начала говорить.

— Обратите внимание, полковник, — кричала бабушка, — на этот дом! Почему-то считалось, что именно в этом доме жила «Пиковая дама»...

— Ну? — сказал полковник и посмотрел не на большой и довольно красивый дом, а на будку — есть такие милицейские будки: зеленые с золотом и за стеклом регулировщик.

— Да, представьте себе, какая обывательская ошибка! — кричала бабушка. — На самом деле это особняк маркизы де Шевро. Потом этот особняк купили Юсуповы, у них вообще в Петербурге была чуть ли не половина лучших домов...

— Очень интересно, — говорил полковник.

— А у нас еще в Московском районе есть зимний стадион, — орал отдохнувший Витька, — на двадцать восемь с половиной тысяч!

— Очень интересно, — говорил полковник.

А я злилась — очень ему интересно про каких-то маркиз и князей слушать. Ишь какой вежливый.

— А настоящий дом «Пиковой дамы» совсем не здесь! — кричала бабушка. — Он на углу Гоголя и Гороховой, то есть Дзержинского. Это дом знаменитой «усатой княгини» Голицыной...

— И рядом с проспектом Гагарина, — орал Витька, — будут теплые бассейны, хоть зимой купайся, как в Москве!

— А куда мы так бежим? — спросил Василий Андреевич на углу Невского и Литейного.

— Действительно, Витя, куда мы так бежим? — спросила бабушка.

— Бежим, и все, — сказал Витька.

Они остановились, и я подошла к ним. Глаз под повязкой очень ныл, и мне было почему-то довольно грустно.

— Это Невский? — спросил полковник.

— Да, — сказала бабушка торжественно, — это Невская перспектива.

Она хотела продолжать. Я это видела. Она хотела опять открыть рот и уже больше его не закрывать, потому что на Невском есть о чем поговорить до самой Дворцовой площади, а там... О, там! Я тоже решительно открыла рот, но полковник взял меня за локоть.

— Что-то жарко, — сказал он.

— Газировочки бы, — сказал Витька.

Полковник посмотрел по сторонам и увидел на противоположном углу кафе-мороженое ресторана «Москва».

— Есть идея, — сказал он, — мы сейчас пойдем есть мороженое и пить газированную воду.

— Н-ну... — сказала бабушка.

— И шампанское. Холодное. Полусухое.

— Полусладкое, — сказала бабушка и улыбнулась.

И все-таки со мной случаются иногда странные вещи: думаешь, думаешь, думаешь — вот бы случилось, и случается. Не совсем так, как думаешь, но что-то около того. Мы сели за столик, а полковник (я его теперь буду называть все время полковником — так удобнее, а то «Василий Андреевич» — слишком длинно, а «дядя Вася» — как-то сладко) пошел заказывать мороженое.

— Какой отличный человек, — сказала бабушка, доставая пудреницу.

— Ага, — сказал Витька. — Дядя Вася, мне два сливочных, одно д еховое, одно земляничное и три разных! Ассорти!

— А тебе? — спросил меня полковник от буфета.

Я помахала рукой. Не потому, что я уж такая скромная, а потому, что мне действительно было сейчас все равно. Полковник кивнул. Бабушка пудрилась. Витька пыжился. А я посматривала по сторонам. Этот кусочек кафе, где продают мороженое, был совсем маленьким. Вообще-то кафе большое, но оно уходит на несколько ступенек вниз, и там люди пьют кофе и

едят, а здесь у самого входа — таким угольничком — едят мороженое и сидят мальчишки и девчонки, которые ужасно хотят казаться взрослыми. Девчонки громко смеются, щурят глазки, незаметно — это они думают, что незаметно, — поправляют юбочки на коленях. А мальчишки потихоньку курят сигареты и пускают дым под стол. Я даже засмеялась: сидит с двумя девочками Коля Иванов — он сейчас в девятом — такой важный, его все побаиваются, мне-то его бояться нечего — он меня даже и не знает. Ну вот, он сидит с двумя девочками — славные такие девочки, одну я, кажется, тоже знаю — и пускает дым под стол, и такой довольный, такой храбрый. Я посмотрела на него и подумала: а как бы он пускал дым под стол там, на том парадном подъезде? Понимаю, что несправедливо, а подумала, и все. И еще я подумала: а что такое доброта? Вот нажмет кто-то кнопку — и никаких тебе Фуфлей, или, как его там, фуфел, никаких тебе хлястиков (я почему-то уверена, что этот Хлястик подлый), никаких тебе врагов. И бело-брысых с веснушками не будет. Откуда он только взялся?! И Веньки Жука не будет. Не будет, и все! А Г. А.? Тоже не будет? А папы? А мамы? А полковника? А Витьки? А бабушки?

— Маша! — крикнул полковник.

— А? — спросила я, очнувшись.

— Иди-ка помоги мне.

— Я пойду, — сказал Витька и выскочил из-за стола.

— Какой отличный человек, — сказала бабушка. Она уже кончила пудриться и начала подкрашивать губы. — В нем есть что-то аристократическое.

— Офицер... — сказала я.

— Ты злая, Маша, — сказала бабушка и убрала помаду в сумочку.

— Прости, бабушка, — сказала я.

И вот тут я увидела, что какая-то девочка машет мне из-за углового столика. Я присмотрелась и узнала Юльку из нашего класса, а рядом с ней, конечно, Зоенька. Я помахала Юльке в ответ, а она замахала еще сильнее — звала меня. Я развела руками, дескать, не могу, занята. Тогда она вылезла из-за своего стола и подошла к нам.

— Здравствуйте, Антонина Петровна, — сказала она очень ласково. — Здравствуй, Маша. Вы тоже мороженое едите?

— Здравствуй, Юленька, — сказала бабушка. — Я тебя давно не видела. Ты почему...

— Я только что приехала, — еще ласковее сказала Юлька, — с юга. Я так соскучилась по Машеньке. — И она наклонилась, чтобы меня поцеловать.

— Осторожно! — закричала бабушка. — У нее... инфлуэнца!

Юлька отшатнулась. Ах, какая у меня все-таки отличная бабка.

— Ничего особенного, — сказала я, — просто насморк.

Подошла Зоенька. Мне просто не хочется говорить, как она лебезила вокруг полковника. А он ничего не замечал и их тоже угощал мороженым. Я Фле-еле съела один шарик, Витька навалился вовсю, а бабушка выпила с полковником шампанского и покраснелась, разрозовелась, рассиропилась и начала приглашать и Юльку и Зоеньку к нам в гости. Вот и пойми ее! И Витька тоже приглашал их в гости, и полковник тоже. А я думала: я же хотела, чтобы именно они увидели меня с полковником, и ведь я обрадовалась, когда Юлька меня на ухо спросила: не меня ли позвал от буфета этот полковник — Герой Советского Союза? И я же так гордо и независимо ответила, что — да, меня, и вообще... А теперь этот самый полковник хохочет

с ними, как будто меня тут и нет, а Зоенька тихим голосом спрашивает, что у меня с глазом, и говорит, что от всяких глазных болезней помогает — у-у-у! — бодяга... И Витька хохочет, а бабушка улыбается, а полковник очень серьезно соглашается с Зоенькой.

А потом Юлька встает и так торжественно говорит:

— Вы меня простите, товарищ полковник, тут не совсем подходящее место, но я воспользуюсь случаем. Разрешите нам, — она обводит рукой меня и Зоеньку, — от имени класса пригласить вас к нам в шестой, простите, теперь уже в седьмой «б» на встречу с Героем.

Вот дура! Я чуть не заорала от злости.

— С каким героем? — спрашивает полковник.

— Да с вами же! — говорит Юлька.

— Не знаю, не знаю, — говорит полковник, улыбаясь, — я скоро уезжаю. — И почему-то смотрит на меня.

— Полковнику надо отдохнуть, — совершенно разозлившись, говорю я. — А вы тут пристаёте...

— До свидания, — говорит Витька, — привет.

— Заходите, девочки, — говорит бабушка так ласково-ласково, что я уже и совсем не знаю, как к ней относиться.

Полковник встает и провожает девчонок до двери. Они идут и довольно кисло улыбаются. А полковник возвращается, смотрит на меня очень сердито и говорит что-то совсем непонятное:

— Ты что, Мария, на меня инвентарный номер повесила, что ли?

А я не знаю, что со мной такое: мне хочется реветь и драться.

Я выскакиваю из-за столика, роняю Витькино мороженое и вылетаю на улицу. Идет себе народ, идет, смеется, разговаривает, и никому до меня нет дела. И нет ни одного человека, который бы меня понял.

— Здорово! Ты почему не пришла? — слышу я какой-то знакомый голос.

Ну, что сказать?! Это какая-то фантастика. Белобрысый Семен тут как тут, как будто его звали.

— Куда? — спрашиваю я.

— В садик на Некрасова.

— Чего тебе надо?! — ору я.

— Вот чудачка, — говорит белобрысый, улыбаясь. — Как бодяга?

Провалитесь вы все пропадом с этой бодягой.

— Что тебе надо?

— Да ничего, — говорит он, пожимая плечами, — вчера надо было, а сегодня ничего. Сегодня я тебя случайно увидел. Смотрю: стоит и ревет.

— Я реву?

— Ну не я же.

— Я не реву.

— Ну и правильно. Чего реветь-то.

— А я и не реву.

— Я и говорю. Хочешь мороженого?

Какой-то совершенно ненормальный парень. Я ему ясно показываю, что мне до него никакого дела. Подумаешь, заступилась за него. Так если на его месте был кто-нибудь другой, я бы тоже заступилась — ведь трое на одного.

— Хочу мороженого, — говорю я, — идем.

— Куда? — удивляется он.

— Сюда, — говорю я и тащу его в кафе.

— Знаешь, — говорит он, — у меня на это дело денег не хватит.

— У полковника хватит, — говорю я.

— А... тогда пошли, — говорит он, и я никак не могу понять: то ли он дурак какой-то сумасшедший, то ли он надо мной смеется.

Мы заходим в кафе, и я смотрю на наш столик. А там идет какой-то спор. То есть не спор, а просто Витька и бабушка, стараясь перекричать друг друга, что-то доказывают полковнику. Наверно, какая я дура. Ну и ладно. Ну и пусть. Я иду к столику и тяну за собой Семена. В общем-то, и не тяну, а просто веду за руку, и когда я сообщаю это, мне сразу становится боязно — совсем смеяться будут. Пусть бы он сопротивлялся. А зачем? Не все ли равно. Теперь-то уж совсем все равно. И все-таки я думаю: что же я им скажу насчет этого Семена? Но говорить мне ничего не приходится. Мы подходим к столику. Витька свистит, а бабушка улыбаясь говорит:

— Здравствуйте, здравствуйте, юный рыцарь! Садитесь.

— Спасибо, — говорит Семен, — здравствуйте. — И весь расплывается в улыбке, и веснушки бегут куда-то во все стороны.

Он здоровается за руку с Витькой, кланяется бабушке, а она протягивает ему руку, и он ее очень вежливо пожимает, потом он смотрит на полковника, и тот встает и протягивает ему руку, и он, этот белобрысый, очень серьезно ее пожимает, а потом усаживает меня, а сам говорит «минуточку» и, спросив разрешения, берет за соседним столиком свободный стул и усаживается рядом со мной как ни в чем не бывало. Потом он лезет в карман, достает какие-то жалкие пятаки и спрашивает меня, что ты, то есть я, хочешь, то есть что я хочу?

— Не беспокойтесь, — говорит полковник и идет к буфету.

— Сегодня совсем летний день, — говорит бабушка.

— Но уже все-таки чувствуется осень, — говорит этот Семен, а я сижу и ничего не понимаю: что они, действительно знают его и меня разыгрывают, или я вообще дура, а он...

— Катись, — говорю я.

— Ты мне? — спрашивает он спокойно.

— Не бабушке же, — говорю я.

— Знаешь что, Мария, — холодно говорит бабушка, — это ты можешь ка-тить-ся. А молодой человек останется.

— Ну, не надо так, — говорит этот с веснушками и встает.

Вылетая из кафе, я краем глаза вижу, как полковник, поставив на столе две вазочки с мороженым, кладет руку на плечо этому телепатику и что-то говорит ему. И тот садится и начинает есть. А уж в окно я вижу, что у него очень озабоченный вид и полковник и бабушка что-то усиленно говорят ему, а он ест мороженое и качает головой...

...Я сижу в садике на Некрасова и не знаю, как я там очутилась. Ну почему, почему мне сегодня так плохо? И почему все такие злые? И... и зачем полковнику самовар?

Солнце шпарит вовсю совсем не по-осеннему, а завтра нам уже в школу на собрание, а послезавтра на уроки, а я возьму и уеду. Куда-нибудь. Хоть бы Г. А. подошел. Он как-то сразу умеет все разъяснить. Делай так и не иначе, и все будет правильно. И тут же я вспоминаю, что мы же вчера договорились с Герой, что он утром придет ко мне и мы будем приглашать полковника в школу. Вот теперь-то я пропала совсем.

Жирные, ленивые голуби ходят по дорожкам, а когда они заходят на газоны и клюют там что-то, их все гоняют — кыш, кыш! Ишь вы, мало их

кормят, так они еще и цветы портят... А зачем их тогда кормить, если они что-то портят? Памятники портят, архитектуру портят, а их еще кормят — кыш! Ну и что же, что красивые? Все равно — кыш!

Вот уже и голуби виноваты. Ну, как это? «Чувство юмора должно...»
Нет. «Чувство юмора самое...»

Я встаю со скамейки и иду домой.

...Папа сидит в кресле и читает толстую книгу.

— А, пришли? — спрашивает он. — Ну, как прошвырнулись?

Он иногда, особенно когда у него хорошее настроение, любит употреблять такие словечки, хотя и учитель.

— Папа, — говорю я, — я тебя очень люблю.

— Значит, хорошо прогулялись, — говорит папа, не отрываясь от книги.

— Папа, я тебя очень люблю, — повторяю я.

— А? — говорит папа и встает, аккуратно положив книгу на кресло. — Машка, Машка, что ты? — спрашивает папа и снимает очки.

А я не знаю, что ему ответить, не знаю, и все. Что-то со мной случилось за эти два дня, а что — я никак не могу понять. Я и злюсь на себя, и почему-то мне себя жалко, и еще какие-то трудные мысли вертятся в голове медленно и тяжело, как мельничные жернова. Какие-то серьезные и важные мысли: о людях, о жизни, о войне, о том, что люди почему-то умирают, о дружбе, о любви — в общем, обо всем. Но ни одной мысли я не могу высказать, потому что не подбирается слов — мысли какие-то бессловесные, а крутятся и крутятся.

— Что-нибудь случилось? — встревоженно спрашивает папа. — Где все остальные?

— Ничего не случилось, папа, — я стараюсь говорить спокойно, но чувствую, что голос у меня дрожит, — ничего не случилось, остальные едят... мо... мороженое.

— Вот оно что, — озабоченно говорит папа. — Ты, наверно, устала, иди отдохни.

Ничего я не устала, но я молча киваю и иду в свою комнату, сажусь на подоконник и смотрю в окно, и уже ничего не думаю, а так лениво сижу на подоконнике и смотрю в окно на машины, автобусы и людей. А они идут себе и идут...

Через некоторое время ко мне заходит папа. Он становится рядом со мной и тоже начинает смотреть в окно. А потом говорит задумчиво:

— Вот был у меня случай перед самой войной. Очень мне нравилась одна девочка из нашего класса. И однажды мы пошли с ней в Таврический сад. Детского катка тогда там еще не было, а мы — мальчишки и девочки — катались на каналах и на пруду. А надо сказать, что катался я неважно, мне совсем недавно подарили коньки — были раньше такие коньки «английский спорт», — они привинчивались к обыкновенным ботинкам и выглядели как толстые металлические линейки. А у той девочки были «снегурочки» — сейчас таких тоже нет. Лед на каналах был плохой, вперемешку со снегом, но на таких коньках можно было кататься довольно сносно — у них были широкие лезвия. Ты слушаешь?

Я кивнула. Чудной он, папа; ну при чем здесь какие-то «снегурочки»?

— Ну вот. Девочка была очень хорошая, такая милая девочка, скромная, добрая и, знаешь, очень, очень хорошенькая. — Это папа сказал почему-то шепотом и сделал круглые глаза. — И я, конечно, старался как мог, чтобы не ударить лицом в грязь. Понимаешь, я только-только научил-

ся немного ездить назад, даже перебежка у меня немного получалась. Я и решил, — папа хмыкнул, — пофорсить. Ехал, ехал задом и посмотрел на нее. Вижу, она улыбается. «Ай да я, — думаю, — что за я!» Вдруг — раз! И очутился по пояс в воде. Там, оказывается, у самого берега была небольшая прорубь — я в нее и влетел. И стою, высовываюсь из этой проруби, как суслик из норы, и ничего не соображаю.

Я засмеялась. Папа, очень довольный, посмотрел на меня и тоже засмеялся, а потом вздохнул.

— Это мне сейчас смешно, а тогда — ой, ой... Кругом все хохочут, а она ну просто заливается... Я кое-как вылезая из проруби, вода с меня течет, и выгляжу я, как жалкая мокрая курица, а она хохочет, и все мальчишки и девчонки хохочут, а один — это, понимаешь, был мой соперник — прямо ржет, довольный такой, и кричит мне, что, дескать, дофорсился, а сам раскатывается вокруг нее, а потом берет ее за руку и они уезжают, а я мокрой курицей бреду домой, и мне, естественно, попадает от мамы. И в довершение всего я, естественно, заболела, и никто не приходит меня навестить. А?! — Папа сказал это так возмущенно, как будто он только сейчас вылез из проруби. — Каково?! Просто жить не хотелось.

Хитрый у меня папка, но я-то все его хитрости вижу насквозь. И хоть этот случай совсем не похож на то, что сейчас со мной, мне все-таки становится немного полегче, наверно, оттого, что я чувствую, что папа желает мне добра.

Я еще немного посмеялась, а потом сказала:

— И совсем эта девчонка не добрая. Противная девчонка.

— Пожалуй, да, — задумчиво сказал папа, — пожалуй, да.

— Папа, а зачем полковнику самовар? — неожиданно спрашиваю я.

— Самовар? — удивился папа. —



А-а-а! — Он вначале смеется, а потом становится грустным. — Видишь ли, — говорит он, — сам по себе самовар полковнику, пожалуй, не нужен. Это, так сказать... э-э-э... символический самовар, что ли. Ну, как тебе объяснить? Полковнику предлагают уйти в отставку... ну, на пенсию. Он уже совсем не молод, да и здоровье пошаливает. Но ведь он всю жизнь — военный; в армию пошел еще по комсомольскому набору. И ты представляешь, каково ему уйти в отставку. Это очень грустно — уходить в отставку. На пенсию и то грустно, а в отставку... Слово-то какое: от-став-ка... Ну, вот он и посмеивается над собой... скрепя сердце. Уйду, дескать, в отставку, отгрохаю себе дачу с тремя верандами и буду выращивать клубнику и малину. А потом, говорит, буду со своей старушкой сидеть в саду и пить чай с малиновым и клубничным вареньем. Из блестящего и пузатого самовара. И говорит, что из самовара чай, понимаешь ли, значительно вкуснее, чем из какого-нибудь паршивого чайника. Вкуснее... — Папа замолчал и задумался.

А я вспомнила одну картину, кажется, я ее видела в Русском музее. Сидит в саду за столом толстая и вся какая-то розовая, как поросенок, молодая тетка-купчиха и пьет чай. Блюдечко держит на пяти растопыренных пальцах и такая довольная — прямо млеет вся, а глаза выпуклые и блестящие, как у коровы, но выражения в них никакого — дура такая сытая, и больше ничего... Здорово нарисовано! Художник Кустодиев, по-моему. Вспомнила я эту картину и представила себе, как полковник сидит за пузатым самоваром и держит блюдечко на растопыренных пальцах. И глаза у него... Грустные у него глаза. Очень грустные.

А папа вдруг закричал так, что я даже вздрогнула:

— Ты можешь себе представить полковника в саду за самоваром?!

— Как купец, — сказала я. — Нет, не могу.

— Вот и я не могу, — говорит папа, сердясь, — хотя, наверное, чай из самовара, да еще с клубничным вареньем — это действительно очень, очень вкусно...

И папа вышел из комнаты. Но сразу вернулся.

— Да, — сказал он, — а что все-таки случилось?

— Ты про что? Про глаз? — спросила я.

— Ну, и про глаз.

— Это все ерунда.

— А что не ерунда?

— Па, — сказала я ласково, — ничего-ничегошеньки не случилось. Просто я, наверно, чего-то не понимаю. Но я пойму, ты не беспокойся.

— Ну ладно, — сказал папа, почему-то повеселев. — Конечно, поймешь. — И он вышел.

А скоро пришли наши. Я слышала, как они там шумели и смеялись, и мне было немного обидно, но только немного, и не выходила я уже просто так, из принципа.

Потом в комнату зашла бабушка и сделала, наконец, мне примочку. Она ни о чем не говорила, а только напевала арию из оперетты «Сильва». «Помнишь ли ты, как улыбалось нам счастье?..» Уходя, она сказала:

— Очень милый этот твой рыцарь — Сенечка. Очень, очень.

— Да какой он мой?! — заорала я.

— Только он немного странный. Какой-то... хм-м... толстовец, Платон Каратаев. Вот именно.

После бабушки появился Витька. И удивительное дело — совсем не ехидничал, а только покрутился по комнате, поглядывая на меня, и сказал:

— Ты, Машка, не волнуйся — глаз заживет, а этой жучино-фуфлиной компашке мы с ребятами еще покажем! А этот твой хахаль ничего! Только...

Я сделала шаг в его сторону, и он испарился. «Ну и ну! — подумала я. — Что же это такое? Навязался на мою голову этот белобрысый! Платон... как его... Каратаев. А кто такой Платон Каратаев?» Я была ужасно зла. Этому Семену я все-таки дам от ворот поворот. Решительно и беспощадно. Ишь вообразил.

Ну, конечно, заглянул и полковник. Он подмигнул мне и уже открыл рот, чтобы что-то сказать, но я не дала ему. Я сказала:

— Я знаю, о чем вы хотите сказать. Что этот Сенька хороший парень, только...

— Ну? — удивился полковник. — И совсем не это. Я хотел сказать, что если ты хочешь, можешь составить мне компанию на завтра. Я собираюсь на... фронт поехать. Поедем?

У меня даже сердце зашло. Я, конечно, поняла, что полковник хочет проехать по тем местам, где он когда-то воевал, и это было бы очень здорово поехать с ним, но две причины помешали мне согласиться. Во-первых, он наверняка предложил мне это, чтобы подлизаться ко мне... Ну, не подлизаться, не так сказала, а ну, в общем, чтобы я не расстраивалась из-за сегодняшнего. Но это бы еще ничего — тут я могла и поступиться своей гордостью. Главная-то причина — это то, что завтра у меня красное собрание, и я обязательно должна на нем быть.

— Спасибо, — сказала я как можно более приветливо, чтобы он не подумал, что я поняла, почему он предложил мне это, — но я никак не могу — у меня завтра собрание. — И тут я вздохнула с сожалением. Мне и в самом деле было очень жалко, но что поделаешь...

— Жаль, жаль, — сказал полковник, и мне показалось, что ему действительно было жаль, — ну, в другой раз.

— Обязательно, — горячо сказала я.

В дверях полковник обернулся и сказал очень серьезно:

— А что? Он и в самом деле отличный парень, только... — и помахал в воздухе рукой.

Я, наверно, так посмотрела на него одним глазом, что он поднял руки вверх, потом покачал головой немного удивленно и вышел.

За обедом все болтали о чем угодно и со мной говорили, будто ничего и не было, и это было хорошо, а то мне уже надоело сердиться на всех и на себя.

Вечером папа с полковником ушли разыскивать еще одного своего товарища по фронту. Мама пришла поздно, и они с бабушкой о чем-то долго говорили в папиной комнате. А перед сном мама позвала меня к себе, и мы улеглись с ней в ее постель, как бывало в моем детстве, и долго, долго разговаривали. О чем разговаривали, я рассказывать не буду — мало ли какие дела могут быть у женщин. Но после этого разговора мне стало как-то тепло и уютно. А когда я уже собралась к себе, мама поцеловала меня и вздохнула.

— Ох, мало я тобой занимаюсь, доча, совсем мало... — сказала она.

— Ты не расстраивайся, — сказала я, — я ведь не очень плохая, да и папа мной занимается... с избытком. — Тут я тоже вздохнула, а мама засмеялась.

— Ма, — спросила я, — а кто такой Платон... Каратаев?

— Каратаев? — переспросила мама. — Наверно, Каратаев?

- Ага, Каратаев.
— Это у Толстого в «Войне и мире» есть такой солдат. Очень хороший и добрый. Даже слишком добрый. А зачем тебе?
— Так, — сказала я и пошла спать. И заснула сразу.

Глава третья

Значит, так. Собрание было назначено на одиннадцать, а я вышла из дому в девять. Решила немного погулять, подумать и прийти в школу пораньше, чтобы поболтать с ребятами. И, конечно же, сразу, как я только вышла из дому, начались приключения. Это просто невероятно, как мне за последнее время стало везти на приключения!

Стоило мне выйти, а в подворотне меня уже поджидают Фуфло и Хлястик. Веньки не было.

— Здорово, — кривляясь, говорит Фуфло. — Как глазик?

— А твой? — спрашиваю я.

— Ничего, — говорит он, — проходит.

— Ну, и у меня проходит, — говорю я и иду дальше, но дорогу мне загораживает Хлястик.

— Слышь-ка, — говорит он ласково, — если ты на Веньку в школе накапаешь, то мы тебе оба глазика... — И он тычет мне в лицо двумя растопыренными пальцами.

Я не из трусливых, но тут мне стало страшновато — у него был такой противный голос и такие жуткие зеленые глаза...

— Очень мне нужно на вашего Веньку ябедничать, — говорю я, храбрясь, а сама думаю, как бы убежать, — но раз вы так, то теперь это уже мое дело. Может, и накапаю...

Хлястик и Фуфло притискивают меня к стенке, и, как назло, никого нет. По улице идут прохожие, но сюда и не смотрят, да и кричать я не буду. «Ой, не иди мне сегодня в школу, — думаю я, — обязательно второй глаз подобьют».

— Ты сс-мотри, — шипит Фуфло и толкает меня в плечо.

— Только попробуй, — шипит Хлястик и толкает меня в другое плечо, и мне уже хочется зареветь во весь голос. Ужасно обидно! Какие-то подонки прямо. И когда я уже готова была зареветь, появляется собственной персоной, как чертик из коробочки... Семен! Ну, не сказка ли?!

— Привет, Маша, — говорит он и улыбается до ушей, — ты чего тут делаешь?

— Б-беседую, — говорю я.

— Мы беседуем, — злорадно ухмыляясь, говорит Фуфло и идет на встречу Семену. Хлястик тоже отстает от меня и тоже поворачивается к белобрысому.

— О чем? — спрашивает Семен как ни в чем не бывало.

— О погоде! — кричу я и даю дёру.

Мчусь до угла, заворачиваю за угол. Удрала, удрала! Ур-ра! Несусь по тротуару до следующего угла, потом... поворачиваю и мчусь обратно. Когда вбегаю под арку, вижу, что там уже никого нет, кроме дворничихи Светланы. Она подметает.

— Светлана! — кричу я. — А где мальчишки? Они только что здесь были.

— Аа-а, Машенька, — говорит Светлана. — Ну, как глазик?

— Хорошо, — говорю я, — где мальчишки?

— А-а, эти, — говорит Светлана, — да постояли, поговорили, посмеялись и ушли куда-то...

— Смеялись?! — кричу я.

— Ну да, — говорит Светлана немного удивленно, — а чего им не смеяться — такие шалопаи.

Я медленно выхожу из-под арки. Смеялись. Ха! Интересно. Прямо здорово интересно. Я-то мчалась его выручать, а он, оказывается, с ними смеялся. Правда, я не сразу бросилась его выручать, а сперва удрала, но потом-то все-таки бросилась. Позавчера бросилась — даже синяк заработала — и сегодня бросилась! А он, видите ли, смеялся... А?

Я задумчиво иду по улице и задумчиво сажусь на скамейку в садике на Некрасова. Всегда я мимо этого садика проходила совершенно спокойно, а тут за три дня уже третий раз...

Потом я понемногу успокаиваюсь и только удивляюсь: чего это меня прямо заносит в этот садик? И чего это я думаю об этом Семене? Очень он мне нужен! «Всё!» — говорю я себе. Сегодня же, если, конечно, увижу его, а я почему-то уверена, что увижу, обязательно скажу ему раз и навсегда, чтобы он не попадался мне больше на моем жизненном пути, иначе... иначе он будет иметь дело с Г. А., а если надо, то и с другими мальчишками из нашего класса.

...По дороге я купила три больших гладиолуса. В школу пришла за пятнадцать минут до начала собрания и сразу же в вестибюле встретила Г. А. Он был очень красивый. Прямо невероятно красивый, как Жерар Филипп в картине «Монпарнас-19». Я эту картину посмотрела в Ольгино — там в кино пускают и до шестнадцати тоже. Г. А. был в полосатом свитере, рукава он закатал до локтей. И еще на нем были японские джинсы с каким-то драконом на заднем кармане, а на ногах новенькие отличные кроссовки. Он стоит в вестибюле, такой красивый и мужественный, и... и ждет меня. Я это ясно вижу. И я жалею, что надела школьную форму. Ведь хотела надеть свое новое платье, но передумала. А зря — почти все девчонки и мальчишки пришли как хотели, и девчонки, конечно, фу-ты ну-ты! Ну ладно, не это главное. Главное, что он ждет меня, а не кого-нибудь.

Я не спеша иду к нему.

— Чао, Гера, — говорю я весело.

— Здравствуй, — говорит он, не глядя на меня. — Я удивлен, — говорит он и смотрит куда-то поверх моей головы, — я позвонил тебе, как мы обговорили, а ты взяла и ушла. Где-то шаталась, — говорит он и смотрит уже прямо мне в глаза, вернее, в глаз, потому что второй-то у меня завязан.

— Гера, — сказала я, — я не шаталась. Я... бродила.

— Бродила? — спросил Гера. — Это, по-моему, совсем отлично. Она бродила!

Он был так возмущен, что мне стало стыдно, а когда мне становится стыдно, я сразу принимаю гордый вид.

— А я очень люблю бродить, — гордо сказала я.

— Так, — сказал Гера, — вместо того чтобы продумать и обсудить, как нам пригласить твоего полковника... Коля, Коля, иди сюда! Как с заметками? Ты подожди...

«Подожди» — это он сказал мне, а сам отошел с Колькой Матюшиным и стал с ним обсуждать что-то с ужасно деловым видом. Я, конечно, пони-

маю, что общественное должно быть выше личного — об этом нам толкуют чуть ли не с первого класса, но мне почему-то бывает всегда ужасно обидно, когда Г. А. забывает меня ради разных собраний, секций, мероприятий и заметок. Подумаешь, заметки — я и сама их пишу, но его-то я из-за них не забываю.

А впрочем, к лучшему. По крайней мере, хоть сейчас обойдусь без нотаций. Соберусь с мыслями и что-нибудь придумаю. Нет, врать я, конечно, не буду — я абсолютно не умею ему врать, а просто придумаю, как бы лучше ему объяснить, что со мной случилось вчера. И я не стала его ждать, а пошла на третий этаж к нам в шестой, нет, теперь уже в седьмой «б».

Зашла в класс, а там уже почти все, и конечно, стоит страшный шум и гвалт. Орут все сразу — каждому хочется похвастаться, как и где он провел лето и какие подвиги совершил. Помалкивают пока только новенькие, а их у нас, как мне сообщили Зоенька и Юлька, трое: два мальчишки и одна девчонка.

Ясно, что, как только я зашла, все сразу усталились на мою повязку.

— Чепуха, — сказала я, — соринка попала. — Одним глазом я посмотрела на Венку — он сидел в углу ужасно скучный, но когда я сказала про соринку, мне показалось, что он немного взбодрился. Вот чудак, неужели он думал, что я наябедничаю?!

Я помахала рукой, дескать, все в порядке, и начала изучать новеньких.

Номер первый: длинный и скучный. Какой-то совершенно унылый мальчишка.

— Знаешь, как его зовут? — спросила Зоенька и хихикнула. — А-полло-гий! А?

Ну и ну! Понятно, почему он такой странный — все время трясется. И ни на кого не смотрит. Уселся в углу, трясется и что-то замышляет. Это я сразу поняла, как только Зоенька сказала мне его имя. Человек с таким именем должен быть зол на весь свет, а раз зол, значит, обязательно что-то замышляет. Правда, когда я потом рассказала об этом папе, он сказал, что я не имею права делать такие выводы. Родители назвали его так, значит, у них были свои соображения. Им — родителям — виднее. Они же его родили, а не ты.

Не хватало еще такого рожать! Сидит — трясется. И имечко — у-у-у! Жизнь, между прочим, показала, что я была права. Но это после.

Номер второй: очень приятная такая, полненькая девчонка с ямочками на щеках, и по-моему, веселая и умненькая.

— Тебя как дразнят? — спросил ее этот нахал Петька Зворыкин.

— Меня не дразнят, — сказала она, — но если ты хочешь знать, как меня зовут, то я тебе скажу. Конечно, если ты очень вежливо попросишь.

— Я не попрошу, — сказал Петька независимо, но я видела, что он растерялся, — скажите пожалуйста, фифти-фуфти!

— Чудак, — сказала новенькая, — у тебя очень плохое произношение. Надо говорить фефти-фюфти. Так, по крайней мере, говорят настоящие троглодиты. Понял?

— Какие еще... троглодиты? — сказал Петька обескураженно и отошел, махнув рукой. — С тобой... А ты...

Девчонка усмехнулась так хитренько и уселась на подоконник. Отличная девчонка. И прическа у нее отличная. Интересно, как на нее посмотрит Г. А.? Зоенька и Юлька на нее уже косятся, а мальчишки посматривают.

Третьего новенького еще не было. Гера появился вместе с Колей Матюшиным. Он сразу направился ко мне, и вид у него был такой, что я пере-

трусила. К счастью, в класс вошла наша славная Маргоша — Маргарита Васильевна, и все радостно заорали: все соскучились по ней, не только я. На столе уже стоял большой букет, а я про свои цветы совсем забыла: как вошла в класс — сунула их в парту и забыла. А тут, конечно, вспомнила, достала гладиолусы и протянула их Маргоше. Она взяла цветы и поцеловала меня в щеку, ребята заорали еще громче, а я за спиной услышала тихое: «Подлиза». Повернулась — ну, ясно, это Аполоний. Стоит сзади, смотрит на меня невинными глазами и трясется. Я ничего не ответила, только посмотрела на него так презрительно...

Наконец все уgomонились и расселись по своим местам, и Маргоша весело сказала:

— Ну, здравствуйте.

— Здравствуйте! — опять заорали все.

— Какие вы все стали большие, здоровые и красивые. Я очень рада вас всех видеть, — сказала Маргарита Васильевна.

— И мы тоже! — закричали мы.

— И вы тоже, — басом сказал Коля Матюшин и покраснел.

— Что тоже? — удивилась Маргарита Васильевна.

Коля почему-то ужасно смутился, махнул рукой и сел, а этот Аполоний — он сел справа от меня за соседнюю парту, — выпучив свои масляные глазки, очень вежливо сказал:

— Он хотел сказать, — и он показал на Колю, — что вы тоже стали большие, здоровые и красивые...

Колька погрозил этой трясучке кулаком, а Маргоша засмеялась.

— Ну что ж, спасибо, — сказала она.

И все тоже засмеялись. А между прочим, наша Маргоша и верно большая, здоровая и красивая. Русая коса вокруг головы, румянец во всю щеку, а главное, очень добрая и умная. Я не помню, чтобы она на кого-нибудь крикнула или просто, как говорят учителя, повысила тон. (У нас была одна учительница, которая так и говорила, когда сердилась: «Вы хотите, чтобы я повысила на вас тон?») Не помню, чтобы Маргоша читала кому-нибудь нудные нотации, как некоторые. А вот умела сказать как-то, что все сразу становилось понятно — и какой ты хороший и какой ты ужасно, ужасно плохой. И действительно, становилось очень стыдно, если ты оказался плохим, и очень радостно, если ты был хорошим. И потом, ей совершенно невозможно было врать. Она только посмотрит, улыбнется как-то грустно и, между прочим, немного презрительно, и ты готов хоть сквозь землю провалиться...

— Ну ладно, — сказала Маргарита Васильевна, — давайте поговорим, как мы будем жить, товарищи семиклассники. — Это «товарищи семиклассники» она сказала так торжественно, что мы все стали ужасно гордыми.

— Отлично будем жить! — крикнул Гриня Гринберг и встал. — Как мы будем жить? — спросил он нас и поднял руку. Он махнул рукой, и мы все гаркнули:

— Отлично!

— Вот и прекрасно, — сказала Маргоша, — значит, нам и собрание проводить вроде незачем. Пойдемте погуляем.

— У-р-ра! — завопили все, но тут встал Г. А.

— Безусловно, мы пойдем и погуляем, — сказал он, — но все-таки мне кажется, что некоторые организационные вопросы мы должны решить сейчас.

— Правильно, — сказали хором Зоенька и Юлька.

Они всегда кричат «правильно», что бы ни сказал Г. А.

— Какие вопросы, Гера? — спросила Маргоша.

— Ну как же, Маргарита Васильевна, — сказал Гера немного даже укоризненно, — вы всегда говорили, что мы должны быть организованными.

— Говорила, — сказала Маргоша и чуть прищурилась.

Я еще давно заметила: когда она так прищуривается — значит, ей что-то непонятно или не нравится.

— А-а! Я поняла. Действительно — мы уже седьмой. Ответственность соответственно повышается. Мы должны переизбрать наши органы самоуправления. Так я тебя поняла, Гера? — Она сказала это очень серьезно, но мне показалось, что в глазах у нее скачут какие-то веселые зайчики.

— Так, — твердо сказал Гера.

— Он слагает с себя полномочия, — услышала я шипящий голос справа. Апологий! Ну... он получит!

Маргоша кивнула своей красивой головой, встала из-за стола и присела к Веньке на самую заднюю парту. Венька шархнул, как зверек.

— Гера, начинай собрание, — сказала Маргоша.

Г. А. вышел и встал за учительский стол.

Я должна кое-что объяснить. Наша Маргоша отличная учительница, она знает свой предмет так, что мы, и даже самые умные из нас — Г. А., Гриня Гринберг, Зоенька, как ни странно, Петька Зворыкин (он математик), Коля и... мы всегда немного теряемся, когда она задает нам вопросы, между прочим, по программе, но зато нам всегда очень интересно.

Она почему-то преподает географию. Я бы хотела, чтобы она преподавала литературу. У нас литераторша так себе. «Что хотел сказать Пушкин этим своим стихотворением?» А я не знаю, что он хотел сказать. Да и никто, наверно, толком не знает. Сам Пушкин, наверно, не думал, что его будут проходить в школах. Мало ли что он хотел сказать! А вот читаешь его и совсем не думаешь, что он хотел сказать. Он сказал — и все. И все понимаешь. Ну, не очень-то и не всегда, но главное все-таки понимаешь... Папа о Пушкине вообще не может говорить спокойно.

— Я засыпал под Пушкина и просыпался под Пушкина, — говорит он. — И вот сейчас мне много лет, а я помню, как мама читала мне на сон грядущий «Руслана и Людмилу»... «Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой...» И если ты будешь знать Пушкина — тебе захочется знать все!

И вот что интересно — по литературе у меня железная четверка. По грамматике — пять, а по содержанию всегда четверка.

— Басова, как всегда, в своем репертуаре, — говорит наша литераторша Рената Петровна. — Ей мало темы, которую утвердило горono, ей обязательно надо высказать свои мысли. Это, конечно, неплохо, но надо их иметь, а Басова перепевает чужие, вычитанные из взрослых журналов. А там бывают всякие мысли. И в них даже мы, специалисты, иногда разбираемся с трудом. А ваше дело — программа!

Ничего я не перепеваю. Я просто стараюсь думать — так, по крайней мере, учит папа.

Но нашей Ренате — мы ее зовем «Граната», — ей нужны только «взрывы». Она так и говорит: «Пушкин — это взрыв нашей поэзии. Горький — это взрыв нашей прозы». «Взрыв» — это она произносит вначале шипящим голосом, а потом — на «р» — она сама вз-з-р-р-р-рывается.

А литературу я очень люблю. Я думаю, что человек не может жить без нее. Без литературы и без чувства юмора. Но это не всегда и не у всех получается. У Ренаты Петровны, например, чувства юмора и не бывало. А у Маргоши — ого! Она — молодец, у нее сплошное чувство юмора, она понимает, что иначе с нами нельзя, иначе ничего не получится.

Я помню, как только Маргоша пришла к нам в класс и сказала, что будет у нас классной руководительницей, Петька Зворыкин заявил:

— Видали мы и не таких. (У нас до этого была довольно слабая классная руководительница, и мы творили, что хотели.)

— Не таких — видали, — сказала Маргарита, — таких, как я, не видали.

— Н-ну? — сказал Петька.

— Что сказал Гагарин, когда сел в свой корабль? — спросила она.

— «Поехали», — сказал Г. А.

— Правильно, — сказала она, — «поехали». А что вы знаете, например, о снежном человеке?

— Это неподтвержденная гипотеза, — сказал Гриня Гринберг.

— А я поеду на Памир! — крикнул Коля Матюшин.

— Баланда, — сказал Петька Зворыкин.

— Какое отношение это имеет к географии? — обиженно спросила Зоенька.

— А что такое Шхельда? — спросила Маргарита Васильевна.

— Гора, — сказал Г. А.

— Она имеет отношение к географии? — спросила Маргоша.

— Н-ну... — сказала Зоенька.

— А к чему она еще имеет отношение? — спросила Маргоша.

— Альпинисты на нее лазают, — вдруг сказал Венька.

— Точно, — сказала Маргоша, — а это имеет отношение к географии?

— Имеет! — крикнула я. — Имеет!

— Не так громко, — сказала Маргарита Васильевна, — но, в общем, я рада, что вы, кажется, меня поняли. Давайте выберем самоуправление.

Она сказала это, вышла из-за стола и уселась за парту, попросив подвинуться Веньку, с которым никто не хотел сидеть, потому что он всем мешал.

— А вы? — спросил Г. А.

— При чем тут я? — спросила Маргарита Васильевна.

— А кто же руководить будет?

— Ну, если вы очень ошибетесь, то я поручовожу, но вообще-то я считаю, что вы достаточно сознательны. Вот только кому вы поручите вести собрание?

Мы растерялись.

— Вот странно, — сказала Маргарита Васильевна, — вы же знаете друг друга лучше, чем я вас.

И тут поднялась Зоенька.

— Я считаю, — сказала она, — что старостой класса должен остаться Гера Александров. Вот пусть он и руководит собранием.

Мне тоже хотелось, чтобы Гера остался старостой класса и руководил собранием, потому что он очень справедливый и работоспособный — что ему ни поручат, он все выполнит, и даже если ему и не поручают, он сам берется за многое и все выполняет. Мы с ним работаем в тесном контакте — я ведь давно уже председатель совета отряда. Но когда об этом сказала Зоенька, я разозлилась и сказала, чтобы собранием руководил Петька. Все вначале удивились, а потом начали кричать:

— Петька! Петька!

Наверно, всем было интересно, что из этого получится, — ведь у нас раньше собранием руководили всегда учителя или старшие пионервожатые, а тут, пожалуйста, сами! И еще, конечно, всем было интересно, как новая классная руководительница отнесется к тому, что мы вдруг взяли и выбрали этого балбеса Петьку. А она очень спокойно сказала:

— Большинство голосов за Петьку. Покажись.

— Ну, я, — сказал Зворыкин, поднимаясь. Он немного растерялся, но все-таки нахально улыбался во весь рот.

— Петя, — сказала Маргарита Васильевна, — иди за мой стол и руководи. И не стесняйся.

— А чего мне стесняться, — сказал Петька и заорал: — Эй, вы! Тихо!

А Маргоша спокойненько сидела за Венькиной партой и совсем не мешала нам выбирать свои органы самоуправления. Только потом, когда уже все были выбраны, она встала и сказала, что главное — это чувство ответственности за порученное дело, а у кого нет такого чувства ответственности, тому лучше сразу отказать.

Но все, кого куда-нибудь выбрали, закричали, что у них есть такое чувство, хотя, мне кажется, у некоторых его вовсе не было и кричали они за компанию. Но самое интересное, что в скором времени оно действительно у них появилось — почти у всех. Наверно, потому, что ребята друг другу не давали спуску. «Где твое чувство ответственности?» — кричали все, и волей-неволей тебе приходилось выполнять. А Маргоша с тех пор на всех наших собраниях садилась где-нибудь в сторонке и помалкивала, только иногда, когда чересчур увлекались, она нас поправляла, но так, что мы этого почти не замечали.

...Вот и сейчас она села к Веньке, а Гера стал руководить собранием. Он это здорово умел, и все шло как по маслу, быстро, потому что всем хотелось погулять с нашей веселой Маргошей. И все бы кончилось совсем хорошо, если бы Г. А. вдруг не сказал, что он хочет поговорить еще по трем вопросам. Все закричали — какие там еще три вопроса, все ясно, но Г. А. железно настаивал, и Маргарита Васильевна поддержала его.

Но только Гера открыл рот, чтобы выложить свои три вопроса, в дверь постучали, и вошел третий новенький. Вы уже, конечно, догадались, кто это. Я даже не очень удивилась — от этого ненормального телепатика всего можно было ожидать.

Он вошел и вежливо сказал:

— Здравствуйте. Вы извините, что я опоздал. У меня домашние дела.

Все удивленно посмотрели на него, а он улыбнулся так дружелюбно и сказал:

— Я новенький. Меня Семеном зовут. Семен Половинкин.

— Проходи, Сеня, — приветливо сказала Маргоша.

Семен огляделся по сторонам, увидел меня и не удивился, как будто он знал, что я именно в этой школе и в этом классе учусь. И как нарочно, сама не знаю почему, я на этот раз сидела одна, и, конечно же, он сразу подошел к моей парте и уселся как ни в чем не бывало, да еще подмигнул мне и сказал так, что все слышали:

— Ну, вот и я.

Кое-кто засмеялся, а этот трясучий Апологий проскрипел:

— А она только вас и ждала.

Тут уже все засмеялись, а Семен посмотрел на Апология и сказал спокойненько:

— А я знаю.

— Во дает! — заорал Петька Зворыкин.

И опять все захохотали, прямо заржали все, а я от злости не знала, куда деваться, и даже не нашлась, что ответить, как бы этого воображала посадить в галошу. Но, между прочим, злилась-то я злилась, а про себя не то что радовалась, а как-то забавно и интересно мне было, что вот он опять появился на моем жизненном пути. Ведь не буду же я в другую школу переводиться. С какой это стати.

Ну, в общем, я тут промолчала и сделала вид, что меня это вовсе не касается. Я только посмотрела на Веньку. Он сидел на своем краешке скамейки с Маргаритой Васильевной и исподлобья поглядывал — то на меня, то на Семена. Бойтся, что ли?

Г. А. постучал ладонью по столу и начал излагать свои три вопроса.

— Первый вопрос, — сказал он, — это вот что: мы с Басовой предлагаем провести интересное и полезное мероприятие. К ним в гости приехал Герой Советского Союза, полковник, а ее папа во время войны был у него ординарцем. Он был сыном полка.

Тут все стали смотреть на меня, и я ужасно застеснялась, как будто это я была ординарцем и сыном полка. Но, в общем-то, я не думала, что Г. А. вот так, не посоветовавшись со мной, возьмет и скажет об этом.

— Мы его видели, — хором сказали Зоенька и Юлька, — он ел мороженое.

— Так вот, я предлагаю, — продолжал Гера, — пригласить его к нам в класс и устроить встречу. Надо будет пригласить и Машиного папу, и пусть они нам расскажут о своих боевых подвигах и о том, как защищали Ленинград.

— Хорошая мысль, Гера, — сказала Маргоша и ласково посмотрела на меня. Я пожала плечами.

— Пригласить, пригласить, правильно! — закричали все, а Зоенька с Юлькой опять хором сказали:

— А мы его уже пригласили.

— Вы? — удивился Гера.

— Ну да, — сказала Юлька, — а что, нельзя проявить инициативу?

— Можно, конечно, — недовольно сказал Г. А., — но надо это делать организованно. А что он вам сказал?

— Он сказал, что не может, — ответили Зоенька и Юлька.

— Он так и сказал? — спросил Гера, и мне показалось, что он чему-то обрадовался.

— Н-не совсем так, но... — промямлила Зоенька.

— Мы попросим еще раз, — решительно заявила Юлька.

— А уж это, — так же решительно сказал Гера, — если мы вам поручим.

— А почему не нам? — спросила обиженно Зоенька. — Мы же первые.

— Это мы обсудим, — сказал Г. А. — У кого какие есть предложения?

И все начали вносить свои предложения, а мне стало обидно, и я разозлилась — ишь какие, делят моего полковника и папу, как будто они им принадлежат.

— А меня вы, может быть, спросите? — закричала я.

Все посмотрели на меня, а Семен взял меня тихонечко за локоть, наверно, чтобы я не волновалась, но я уже разволновалась и мне было все равно. Я выдернула локоть и встала.

— А я что — совсем посторонняя, да? — кричала я. — Ишь какие — делят полковника, как будто он ваш!

— Чего ты порешь, Машка? — спросил Коля Матюшин.

— Она, по-моему, немножко права, — сказал Гриня Гринберг.

— Нет, она не права, — сказал Г. А., — и я это могу доказать. Кстати, второй вопрос, о котором я хотел говорить, — это то, что некоторые наши ребята за лето утратили чувство ответственности. — И он посмотрел на меня.

— Ты это о ком? — спросила я.

— Я не буду говорить, о ком. Этот человек сам знает. Я только скажу, что это имеет отношение к приглашению полковника.

— Нет, уж раз ты начал... — сказала я.

— Я не буду говорить, — спокойно сказал Г. А. — Я думаю, что этот человек уже понял, — и он посмотрел куда-то в сторону.

Я-то, конечно, сразу поняла, в чем дело, но махнула рукой — не буду же я при всем классе обсуждать наши с Г. А. отношения. Ужасно он строгий все-таки, ни одной ошибки не прощает. Хотя все-таки пожалел — не сказал, что это я потеряла чувство ответственности. Да ничего я не потеряла — так, может, самую малость... Я села и дала себе слово молчать, что бы они ни решили.

Ну, ясно, они все решили — с Герой попробуй не реши. Они выбрали целую делегацию из пяти человек: Г. А. — глава делегации, потом Гриня Гринберг, Коля Матюшин, от Зоеньки и Юленьки выбрали одну Зоеньку, чтобы им не обидно было, и, нате вам, — меня!

— Ты не возражаешь? — спросил меня Гера.

Я пожалала плечами.

Потом они решили, что надо полковнику преподнести какой-нибудь подарок — сувенир.

— Самовар, — сказала я.

— Почему самовар? — очень удивился Г. А.

— Полковник на пенсию, то есть в отставку, скоро выходит, — сказала я и подумала, что это я несу, но остановиться уже не могла, — ну, вот он и ищет самовар, чтобы пить чай в саду с малиновым вареньем.

— «У самовара я и моя Маша...» — запел скрипучим голосом Аполгий.

— Ты помолчи, — сказал ему Семен, перегнувшись через меня.

— А чо?

— А ничо.

— Пониме.

— Ну, то-то.

— Самовар? — сказал Гера. — Надо подумать. Хм-м, самовар.

Видно, этот самовар его озадачил.

— Хм-м, самовар, — повторил он задумчиво, но затем сразу решительно сказал: — Теперь третий вопрос.

Все хором заныли.

— Может быть, в другой раз, Гера? — спросила Маргоша.

— Как хотите, Маргарита Васильевна, — сказал Гера немного обиженно, — но это очень важный вопрос — о дисциплине.

— Какая еще дисциплина, — сказал Петька Зворыкин, — ведь уроки еще не начались.

— Хуже будет, когда они начнутся, а дисциплины не будет, — сказал Гера сердито.

— Ну говори, — сказала Маргарита Васильевна и прищурилась.

— Я хочу поговорить о двух ребятах, в основном. Они нам в прошлом

году мешали и, судя по всему, будут и в этом мешать. Это, во-первых, Зворыкин...

— Я? Да? — заныл Петька. — А что я? Я тебе мешал, да?

— Но ты еще не самое главное, — продолжал Г. А., — самое главное — это Балашов.

Я даже вздрогнула. Неужели Г. А. скажет про Веньку? Я тихонько посмотрела на него — он весь сжался, и только глаза зло поблескивали, как у зверька какого.

— Гера, — сказала я, — может, не надо сейчас?

— В самом деле, Гера, — сказала Маргарита Васильевна и встала. — Давайте обсудим этот вопрос... в рабочем, так сказать, порядке.

— А почему не надо? — спросил трясучий новенький. — Должны же мы знать, кто позорит наш город, то есть наш класс, и кто мешает нам жить?

— Во дает! — сказал Петька Зворыкин.

А ребята все устали на этого Аполония — нельзя было понять, то ли он треплется, то ли всерьез. Я разозлилась до невозможности.

— Тебе-то что? — закричала я. — Ты-то у нас без году неделя еще, а туда же...

— Ты не права, Басова, — сказал Г. А., — он теперь наш...

— Скорее твой, — неожиданно сказала новенькая Татьяна.

— Это еще почему? — хором запищали Зоенька и Юлька.

— Уж слишком они оба правильные, — сказала Татьяна презрительно.

— Ну и что? — удивился Г. А. — Что ж, по-твоему, если у нас в классе завелся тип, который докатился до того, что стал избивать девчонок...

— Это уж подлость, — возмущенно сказал Гриня Гринберг, и все зашумели и начали смотреть на Веньку.

— Но это же неправда, Гера! — закричала я. — И вовсе это не он! — Но меня никто не слушал: все орали и смотрели на Веньку. А он совсем сжался в комок и устался в парту.

— А кого он побил? — спросила Зоенька, когда шум немного улегся.

— Это неважно, — гордо сказал Гера, — я не доносчик.

Тут снова поднялся крик, а я совсем не знала, как мне быть, — ведь ясно же: Венька сразу поймет, что это я рассказала все Г. А.

— А ты точно знаешь, Гера? — спросила Маргарита Васильевна.

— Точно, — ответил Г. А., — и еще не один, а со своими друзьями.

— Это действительно... — сказала Маргарита Васильевна и развела руками. — Не знаю уж, как тут быть. Решайте сами...

— Надо обсудить, — серьезно сказал Коля Матюшин.

— И осудить, — добавил Аполоний, и опять было непонятно, то ли он всерьез, то ли вальяет дурака.

А я невольно посматривала на белобрысого Семена и думала, почему же он молчит — ведь он-то хорошо знает, как было дело. А он молчал и только внимательно и с любопытством посматривал на кричащих ребят. «Ну и ладно, — сердито подумала я, — посмотрим, какой ты такой, рыцарь?!»

— А чего там обсуждать, — кричал Петька Зворыкин, — соберись всем и давай как следует и Жуку и его компаньке, чтобы знали!

— Как же, дашь им... — с опаской сказал Коля Матюшин.

И тут заговорили и закричали многие.

— С ними только свяжись! — кричал один.

— Это такие! Я их знаю, — ныл другой.

- Они и ножом могут, — пропищала Зоенька.
- Сдрейфили, да?! — орал Петька.
- И потом, — рассудительно сказал Г. А., — это не метод.
- Правильно, — сказал Апологий, — их надо вовлекать и воспитывать.

Я молчала и только поглядывала то на Семена, то на Веньку. Семен тоже молчал и хмурился, а Венька сидел, все так же уставясь в парту. Хорошо — подождем, посмотрим...

— А я считаю, что Петька прав, — вдруг сказал худенький и маленький Гриня Гринберг. — А вы как думаете, Маргарита Васильевна?

Маргоша встала и поправила свою красивую прическу.

— Я думаю, что в принципе, — сказала она задумчиво, — Гера прав: это не метод. Но... но, с другой стороны, если они бьют девочек... — Она развела руками и чуть заметно улыбнулась. — Есть же среди вас... рыцари...

— Правильно! — закричал Гриня. Он вскочил и проткнул воздух рукой, как шпагой. — Шпаги наголо, господа! Шпаги наголо!

Тут опять все загалдели так, что ничего понять было невозможно.

— Да бросьте вы орать! — вдруг громко крикнула новенькая Татьяна. Все замолчали и повернулись в ее сторону. Она встала.

— Что ты хочешь сказать? — спросил ее Г. А.

— А вот что: из ста зайцев не составишь одну лошадь, — презрительно сказала Татьяна и села.

— Это ты к чему? — удивился Петька.

— А ни к чему, — пожала плечами Татьяна, — поговорка есть такая.

— Это мы зайцы, что ли? — обиженно спросил Коля Матюшин.

— А ты подумай, — сказала Татьяна, усмехаясь.

Все озадаченно смотрели на нее, и тогда Маргоша сказала довольно решительно:

— Ну ладно, все это действительно надо серьезно обдумать. А сейчас...

— А что с Жуком... с Балашовым будем делать? — спросила Зоенька.

— Обсудить! — пропищала Юлька.

— И осудить, — опять проскрипел этот чертов Апологий.

И тут поднялся Семен.

— Нечего обсуждать, — сердито сказал он. — Вы на него посмотрите, — он ткнул пальцем в сторону Веньки, — на нем лица нет. Значит, осознал.

— Ну да! Осознал он, — заверещала Юлька. — Как же!

— А если не осознал, — вдруг усмехнулся Семен, — значит, и совсем наказывать незачем, — это ему тогда все равно что об стену горох.

— Хм-м, — сказала Маргарита Васильевна, — несколько странный логический ход.

Все удивились, а у Веньки лицо сделалось вытянутым, и он почему-то зло посмотрел на Семена.

— А кого он все-таки побил? — настойчиво спросила Зоенька.

— Да не все ли равно, — рассердился Гриня, — важен факт.

Я обрадовалась, но тут же заметила, что трясущий Апологий, ухмыляясь, пялит на меня глаза. Я вся сжалась, а он подмигнул мне и сказал, растягивая слова:

— А вы-ы не-е до-га-дываетесь?

И тут кое-кто тоже стал пялить глаза.

— Ну, чего вы, — пробормотала я, — у меня соринка.

— Знаем мы, какая соринка! — захохотал этот трясучий тип.

Тут встала Маргоша, но я уже не слышала, что она говорила, потому что выскочила из класса.

Я мчалась по улице, и мне было тошно. Домой! Скорее домой! Там — умный-разумный папа, там — добрая, ласковая мама, там смешной, но я знаю, что он любит меня, Витька, там ба-а-бушка... Нет, реветь не буду! Не буду, и все! Там полковник, с которым, наверно, можно поговорить всерьез.

Я мчалась по всем улицам и — вот странно: не могу припомнить, о чем я думала. Стоял у меня перед глазами почему-то лес, в который мы ходили с Маргошей и Герой и со всем классом в прошлом году.

Пожалуй, я все-таки немного ревела, потому что какой-то старый дядька с красной повязкой на рукаве меня остановил и спросил:

— Что случилось?

— Не ваше дело, — сказала я, а он схватил меня за рукав и сердито проворчал:

— Ты под трамвай попадешь, дуреха. Как же не мое дело.

— Никуда я не попаду, — сказала я, — мне домой надо.

— Степан Никанорыч! — крикнул этот дядька. — Я тут разберусь, а вы постоите-ка на два пункта...

Я не слышала, что и кто ему там ответил, только почувствовала, как он взял меня за локоть — не так, как Семен, а покрепче — не вырваться.

— Не чуди, — сказал дядька, — мчишься, словно с горы. Идем.

И повел меня в садик на Белинского — туда, где маленькое печенье летом продавали. Усадил на скамейку и спросил:

— Где живешь?

— Тут рядом — на Моховой.

— Куда бежала?

— Домой.

— Почему плакала?

— Нипочему.

— Так. От кого бежала?

— Ни от кого.

— Почему плакала?

— Мое дело.

— Так.

— Да ничего не случилось! Чего вы пристали?!

— Не-е-ет! Чего-то случилось. Такая девчонка не станет просто так плакать.

— Какая девчонка?

— Да вот такая...

— Дяденька, я домой побегу...

— Ну, — сказал он и вздохнул почему-то. — Беги, если надо.

— Спасибо, — сказала я, но осталась сидеть на скамейке.

Он ушел, чуть сгорбясь и покачивая головой. Я посмотрела ему вслед, и вот странно, слезы-то у меня высохли, и я почувствовала, что улыбаюсь. Я посидела еще немного и потихоньку пошла домой.

...А под аркой стоят Венька Жук и белобрысый Семен. Они стоят друг против друга, как петухи. Руки у обоих в карманах, брови нахмурены, и смотрят они друг другу в глаза так пристально, что меня даже и не замечают. Господи, ну что за мальчишки такие — опять драться. Но они пока не дерутся, а только шипят друг на друга сквозь зубы.

— Д-добренький! По-ж-ж-жалел! — шипит Венька.
— Ну и пож-ж-жалел, — шипит белобрысый.
— А на ш-ш-шиша мне...
— Ч-ч-чудило...
— С-сам ч-ч-чудило. Мне теперь из-за твоей ж-ж-жалости хоть в ш-ш-школу не ходи...
— Да брось ты! Шальной какой-то...
— Сам шальной! Ну, мы тебе еще покажем!
— Это мы твоей компашке покажем!
— Ха! Из ста зайцев не сделаешь лошади.
— И заяц, если его много бить, может спичку зажигать!
— Ч-чо? Ч-чо?
— А вот то!
— Будет тебе! И к Маш-ш-шке лучше не... — это Венька.
— Ишь ты! А что она, твоя? — это Сенька.
«Ф-фью! Это уже что-то новенькое», — думаю я.
— А твоя? — это опять Венька.
— А твоя? — это опять Сенька.
«Ну и ну, — думаю я, — вот уж не гадала, что я, что из-за меня... что я...»

Мне становится смешно и... и не знаю еще как, странно как-то.

А они, смотрю, уже надвигаются друг на друга и того и гляди — сейчас полетят пух и перья.

Ох, до чего же они мне надоели!

Ну, да ладно, ишь ты какая — Маша-Машенька, красавица-раскрасавица, умница-разумница... Сердась и на них и на себя за свои какие-то дурацкие мысли, я кричу:

— Эй! Вы!

Они поворачиваются в мою сторону и оба разевают рты. Но я не даю им опомниться.

— Эй! Вы! — опять кричу я и расталкиваю их. — Дайте пройти!

Они разлетаются в разные стороны и так и остаются с разинутыми ртами стоять у стенок, а я бегу домой.

По лестнице я поднимаюсь медленно и чувствую на своем лице какую-то дурацкую ухмылку. Окончательно разозлившись на себя, я открываю дверь и, не желая никому показываться на глаза, иду к себе.

Глава четвертая

Я посидела у себя, а через некоторое время все-таки вышла в переднюю. Дверь в папину комнату была приоткрыта, и оттуда слышались голоса. Я не выдержала и заглянула туда.

Они сидели друг против друга — полковник на диване, а папа в кресле, и лица у них были странные.

— Ты стал... слишком взрослым, Гриша, — сказал полковник, и непонятно, то ли он сердился, то ли был рад. — А ведь я помню тебя совсем пачанишкой... Гвоздиком...

Меня они не замечали, а я смотрела на них, больше, конечно, на папу. Я никогда не видела его таким. Он снял очки, откинулся на спинку стула и смотрел куда-то далеко-далеко и видел там что-то свое — грустное и хо-

рошее. А полковник подпер щеку рукой и смотрел на папу, и у него было такое выражение, что я даже не могу рассказать. Он и улыбался, и сердился, и, если бы полковники — Герои Советского Союза могли плакать, он бы, наверно, всплакнул...

У меня зашипало в носу, я прикрыла тихонечко дверь и пошла к себе. Я лежала на своем диване, уставясь в потолок, и перебирала в памяти все, что случилось за эти дни. Три дня. Вспоминала, пыталась обдумать, но это у меня получалось плохо. И самое неприятное было то, что мне расхотелось идти в школу. Только сегодня я еще с радостью думала о школе, а сейчас расхотелось, и все. Я понимала, что это глупо, но ничего поделывать с собой не могла.

Встала, сорвала повязку с глаза и решительно вошла к папе в комнату, сверкая своим фонарем.

— А, Маша, — рассеянно сказал папа. — Ты уже из школы? Ну, что там?

Они с полковником сидели все так же, и вид у них был какой-то довольный. Нет, просто они были спокойны.

— Папа, — сказала я, — скажи, что такое доброта?

— М-м, — сказал папа и внимательно посмотрел на меня, — а что, опять что-нибудь стряслось?

— Да ничего не стряслось, — сказала я с досадой, — просто я прошу тебя объяснить мне, что такое доброта.

— Ты зачем сняла повязку? — строго спросил папа.

— Сняла, и все!

— Ты не ершишь, а расскажи, что опять случилось?

— Господи! Ничего, понимаешь, ничегошеньки не случилось. Не можешь ответить — так и скажи.

— Нет, почему же, — не очень уверенно сказал папа, — могу.

Он поерзал в кресле, вроде хотел усесться поудобнее, но уселся на самый краешек, выпрямился. Похлопал себя по коленям и посмотрел на полковника. А полковник посматривал то на него, то на меня и, кажется, чуточку усмехался. Папа покашлял, похмыкал, а потом начал:

— Видишь ли, доброта — это такое чувство... нет, конечно, не чувство, а скорее такое свойство человеческого характера, когда... хм... человеку хочется делать другим людям... хм-м... добро. Впрочем, посмотрим, что говорит об этом толковый словарь. — И папа подошел к стеллажу и достал толстенный том.

— Доброта — это хорошо, Маша, — сказал полковник уверенно и сразу задумался, — но, понимаешь, не всякая доброта нужна...

— А что же все-таки это такое? — спросила я настойчиво.

— Ну, как тебе сказать? — пробормотал полковник. — Доброта — это, — он покрутил рукой в воздухе, — ну, словом, когда тебе хочется делать другому человеку только хорошее, помогать ему и так далее...

— Любому человеку?

— Ну, нет, — сказал полковник решительно, — плохому человеку, пожалуй, не стоит...

— А как я узнаю — хороший он или плохой? — спросила я. — И потом, разве плохому человеку не надо помогать, чтобы он стал лучше?

— Надо, конечно, — сказал полковник быстро, — но ведь есть такие, которым уже не поможешь... невозможно помочь.

— Значит, их надо бить?

— Ну, так уж... сразу бить... — сказал полковник и, немного подумав,

резко рубанул рукой воздух. — Впрочем, — сказал он жестко, — есть и такие, которых надо бить. Сразу. Доброта, ведь она, Маша, разная бывает. Вот, скажем, враг...

— Да это мне понятно, — сказала я, — а вот если и не враг и не друг...

— Вот, — сказал папа, — вот что говорит словарь: «Доброта — отвлеченное существительное от слова «добрый». Хм-м. В общем, доброта, Маша, — это хорошее качество человеческой души, это значит, что тебе нравится, тебе приятно помогать людям, жалеть их... — Папа поморщился. — Нет, жалость — это не совсем то. Словом, доброта — это...

— Но раз это мне нравится или приятно, — сказала я, — значит, это я больше для себя делаю. Ведь мороженое есть и в кино ходить — мне тоже нравится.

Папа почему-то крикнул и потер лоб, а полковник засмеялся.

— Уела, — сказал он и подмигнул папе.

— А скажите, — продолжала я, обращаясь к полковнику, — если я буду думать: вот этому человеку стоит делать добро, а этому не стоит, так разве я по-настоящему добрая? Если я с собой торгуюсь?

Тут крикнул полковник, а папа засмеялся. И тогда вмешалась бабушка — она, оказывается, давно стояла в дверях и слушала.

— Великий французский мыслитель Жан-Жак Руссо, — сказала она, — говорит, что человек от природы добр.

— При чем тут Руссо? — досадливо отмахнулся папа. — В вопросах воспитания Руссо вообще был идеалистом...

— Руссо, Дидро, Вольтер и... другие были энциклопедистами, — гордо сказала бабушка.

— Да это я знаю, — рассердился папа, — но что же, вы хотите, чтобы Маша...

И тут они все — папа, полковник и бабушка — начали спорить, перебивая друг друга. В воздухе носились всякие непонятные слова: «эмоции», «категории», «импульсы», какой-то «абстрактный гуманизм» и еще много-много других слов. На шум в комнату вошла мама и начала всех успокаивать и мирить. А папа сердито ткнул пальцем в мою сторону и сказал:

— И вообще, она больше живет эмоциями, а рассудок у нее на втором плане.

— Ну что ж, — сказала бабушка, — мы, женщины, всегда живем больше эмоциями, зато у нас очень насыщенная жизнь.

Бабушка вышла вслед за мной и в коридорчике сказала мне как-то очень ласково и задумчиво:

— Будь доброй, Машутка, будь доброй — это очень хорошо.

— А разве я злая? — спросила я, уткнувшись в бабушкино мягкое и теплое плечо.

— Иногда немножко бываешь, — сказала бабушка и погладила меня по голове.

Я пошла к себе и стала думать, какая я — злая или добрая — и какой надо быть, чтобы жить со спокойной совестью.

Мне все-таки кажется, что полковник был прав в одном. В самом деле, разве можно быть доброй к фашистам и вообще ко всяким подлецам... Да, а что такое «эмоции»? Надо обязательно посмотреть в словаре — может, это что-то очень плохое и обидное. Интересно, есть ли эти самые эмоции у Г. А.? Или у белобрысого Семена? И только я об этом подумала, раздался звонок. Я пошла и открыла дверь. Опять телепатия! За дверью стоял Семен.

— Здравствуй, Маша, — сказал он смущенно.

Он смущается?! Новость.

— Мы уже виделись, — сказала я холодно.

— Да, — сказал он.

— Да, — сказала я.

Он переминался с ноги на ногу на площадке.

— Ну, что же ты? Входи... раз уж пришел, — еще холоднее сказала я.

— Нет, я на минутку, — сказал он еще смущеннее. — Я только зашел сказать, чтобы ты не думала, что это я рассказал Герке и этому... как его, Апологию, про Веньку...

— А мне наплевать, — сказала я, — и вообще ты... Караваяев. Вот ты кто.

— Половинкин я, — сказал он грустно.

— Нет, Караваяев. То есть Каратаев. Ты до-обренький. Очень.

— Я добренький? — он удивился.

— Ну да. Ты всем, всем помочь хочешь. И со всеми хочешь быть в хороших отношениях.

— Ну и врешь, — он уже успокоился и принял свой обычный не то нахальный, не то добродушный вид, — ну и врешь. И вовсе не со всеми я хочу быть в хороших отношениях. С твоим Герасимом, например, я...

— С кем? С кем? — спросила я.

— Ну, с Геркой.

— Он не Герасим вовсе, а Герман.

— Ну да, Герман! Герасим — я с ним еще в детском саду вместе был.

— Ну и ладно, — сказала я, но мне почему-то стало обидно.

— Ну и ладно, — согласился он, — а насчет того, что я всем помочь хочу, так я об этом не думаю. Так получается. — Он засмеялся. — Иногда, верно, здорово влипаю в этом деле. Не разберешь ведь сразу-то, стоит ли еще кому-то помогать...

«Вот, вот, — подумала я, — и этот туда же».

— Раз как-то помог тетке какой-то мешки до машины дотащить, а тетку около машины милиция и зацапала, и меня чуть с нею не повели. Еле договорился. А на вид такая тетка хорошая. — Он опять засмеялся.

— Что такое эмоции, ты знаешь? — спросила я.

— Это, наверно... из радиотехники чего-нибудь.

— Сам ты из радиотехники.

— Ну, тогда не знаю.

— То-то! И вообще ты трус.

— Что-о? — Он даже задохнулся от возмущения.

— А то! Почему ты молчал, когда Петька Зворыкин предложил всыпать Венькиной компании?

Он презрительно посмотрел на меня.

— Вот и видно сразу, что девчонка. Кто же о таких делах в классе треплется?

— А Петька не испугался.

— Балаболка твой Петька. Звонок! — сказал он сердито, и в это время в переднюю вышла бабушка.

— А-а, — запела она, — наш юный рыцарь! Чего же вы не заходите? Я фыркнула.

— Спасибо, — сказал Семен вежливо, но я видела, что он злится. — Я в другой раз. Сейчас мне некогда. До свиданья.

— Жаль, жаль, — сказала бабушка.



— До свиданья, что делать... — повторил Семен.

— Пока, — сказала я.

— Эм-моции! — сказал Семен.

— Что, что? — спросила бабушка.

— Это я так, — сказал Семен и помчался вниз по лестнице.

— Что это он? — поинтересовалась бабушка.

— Бабушка, а что такое «эмоции»? — спросила я.

— Эмоции — это чувства, девочка, чувства, — сказала бабушка и почему-то вздохнула.

Только-то! А я уж подумала... Я вбежала в кухню, открыла окно и легла на подоконник.

В подворотне стоял злой и взъерошенный Семен.

— Эй, Сенечка! — крикнула я.

Он повернулся, посмотрел в мою сторону и будто нехотя подошел поближе.

— Ну, чего еще? — спросил он.

— Я с Венькой Жуком дружить буду! — крикнула я.

Он удивленно посмотрел на меня. Потом усмехнулся.

— С Венькой? С Венькой можно, — сказал он и, засунув руки в карманы, пошел со двора.

Скажите пожалуйста, разрешил! На что он сдался мне, этот Венька?.. А Г. А.-то, оказывается, Герасим. Смешно. Герасим и Муму. Тургенев. Герасим? Вообще-то ничего, даже оригинально, и по крайней мере не Апологий какой-нибудь. Но зачем он в Германа переделался? Чудак!

Стукнула входная дверь. В кухню просунулся Витька.

— Чего это твой хахаль как ошпаренный по улице мчался? — спросил он.

Я соскочила с подоконника и стукнула Витьку по затылку.

— Ах, ты драться, — спокойно сказал он, — вот и не отдам записку.

— Какую записку?

— А вот такую! — Он достал из кармана сложенную треугольником

записку и помахал ею у меня перед носом. Я хотела выхватить ее, но он спрятал руку за спину.

Я разозлилась. Я подумала, что записка может быть от Г. А., и, когда я прочту ее, мне станет все ясно. Витька хохотал и увертывался.

— Отдай! — закричала я и даже топнула ногой. Витька посмотрел на меня и пожал плечами.

— Подумаешь, нужны мне твои фигли-мигли! — Он протянул мне сомканную записку, я сразу же развернула ее и стала читать. Витька не уходил — ему было интересно.

«Я знаю, что ты меня возненавидела. Ну и ладно. Только давай не мешать друг другу. Я сам по себе, ты сама по себе. ЧАРГОГГАГОГГМАН-ЧАУГГАГОГГЧАУБУНАУНГАМАУГГ».

Вот что было в этой записке. Она была не от Г. А. Почерк — незнакомый, а вместо подписи стояло «А. Ф.». Я чего-то никого и не знаю с такими буквами.

— Откуда ты ее взял? — спросила я Витьку.

— Парень какой-то дал, — сказал Витька, — я его и не знаю вовсе.

— Какой из себя?

— Длинный, — он засмеялся, — и трясется все время.

Ну и ну! Апологий. Этому-то еще что надо? И что это за словечко такое — раз, два... три... пятнадцать... уф!... сорок две буквы! Язык сломаешь.

— А кто он такой? — спросил Витька.

— Не твое дело! — обрезала я.

— Подумаешь, — сказал Витька, — чего-то у тебя много хахалей завелось.

Я схватила сковородку, и он вылетел из кухни.

Я согнула записку так, что было видно только одно это огромное слово, и пошла к папе — может быть, он догадается, что оно означает.

Папа с полковником уже не спорили, а стояли у окна и о чем-то тихо разговаривали.

— Можно к вам? — спросила я.

Папа повернул голову.

— Ну, как, поняла, что такое доброта? — спросил папа, и они с полковником посмотрели друг на друга и захохотали.

— Немножечко поняла, — сказала я скромно, — но ничего, я совсем пойму.

— Конечно, поймешь, — весело сказал папа.

— Па, ты ведь разные языки знаешь. Что это за слово? — И я показала ему краешек записки.

— Чаргог... гагогг... манчауг... гагогг... уф... — запинаясь, начал вслух читать папа, — чабуна... гунга... маугг, фу! Чепуха какая-то.

— Нет, по-моему, не чепуха, — сказала я, — это что-то означает.

— Абракадабра! — решительно сказал папа.

— А может, шифр какой-нибудь? — предположил полковник и вопросительно взглянул на меня.

— Н-не знаю, — неуверенно сказала я, — может, и шифр.

— И никакой не шифр, — сказал вдруг откуда-то взявшийся Витька.

— А ты откуда знаешь? — спросила я. — Прочитал?

— Не... — сказал Витька и покраснел, — догадался.

— Я вот тебе сейчас! — закричала я.

— Ну, ну, — сказал папа, — об этом потом поговорим. Так ты знаешь, что это такое? — Он показал на записку.

— Эх, вы, — сказал Витька. — Вот, — и он достал из-за спины книгу, — вот тут написано.

— Ну-ка, ну-ка, — с интересом сказал папа, взял у Витьки книжку и посмотрел на обложку. — А-а! Успенский Лев Васильевич! Отлично, отлично! «Имя дома твоего». Посмотрим. Так, так. Это словечко — индейское название озера в штате Массачусетс, а означает примерно следующее: «Я ловлю на этой стороне, ты ловишь на той стороне, а посередке никто ничего не ловит!» Оч-чень интересно. Молодец, Витька!

Витька сиял, а папа уже воткнулся в книжку, и ему уже ни до кого не было дела.

— Ну, а к чему это? — спросил меня полковник.

— Так, — сказала я, — ни к чему. Василий Андреевич, а вы считаете, что это правильно?

— Что? — удивился полковник.

— А вот это: ты на той стороне, я на этой. Ты сам по себе, я сама по себе, а что посередке — никому дела нет.

— Ага, вот ты о чем. — Полковник с любопытством посмотрел на меня. — Д-да, пожалуй, неправильно... Но ведь тут, как я понимаю, речь о рыбной ловле идет...

— Значит, посередке пусть рыба пропадает? Да? — сказала я. — Но, по-моему, тут не только о рыбе, а о людях. О том, как они друг к другу относятся.

— А ведь верно, — сказал полковник, — но ведь то в какое время было.

— А сейчас, сейчас — это правильно?

— Нет! — убежденно сказал полковник. — Сейчас это совсем неправильно!

— А вот еще! — вдруг сказал папа. — Нет, вы только послушайте...

— По-моему, тоже неправильно! — сказала я.

— Что неправильно? — спросил папа.

— Нет, это я дяде Весе, — сказала я.

— А-а, — сказал папа, — так вы послушайте...

Но послушать нам так и не удалось — резко и настойчиво зазвонил телефон. Я сняла трубку.

— Алло! Алло! Полковник Волжанин есть? Москва вызывает, ответьте. Вы слушаете?

— Да! Да! — сказала я и протянула полковнику трубку, удивляясь, что там, в Москве, знают, что он у нас. — Вас. Из Москвы.

Папа отложил книгу. Витька с любопытством посмотрел на полковника, а тот чуть не вырвал у меня трубку.

— Полковник Волжанин у аппарата, — охрипшим голосом сказал он и прокашлялся.

Потом он внимательно слушал и только изредка говорил: «да, да», «понятно», «есть» и «слушаюсь». И лицо у него при этом было как каменное, и он ни на кого не посмотрел. Наконец он сказал «всего хорошего» и повесил трубку. Постоял, помолчал, развел руками и сказал:

— Ну, вот. Надо ехать.

— Так сразу? — спросил папа. Он стал очень серьезным.

— Служба, Гриша, — сказал полковник и вдруг улыбнулся как-то совсем по-мальчишечьи.

— Значит?.. — спросил папа.

— Ничего не знаю, — серьезно сказал полковник. — Но кажется, я пока обойдусь без самовара. — И опять улыбнулся так, что я была готова его сразу расцеловать.

Действительно, зачем ему самовар?!

Может быть, я поняла все это не так, как было на самом деле, может быть, я обрадовалась тому, что полковник не будет пить чай, дую на блюдецко, а он и не думал об этом, а думал о чем-то своем и очень важном, но все равно — это было здорово: он прямо помолодел, этот седой полковник, дядя Вася...

Папа встал, подошел к Василию Андреевичу, обнял его, потом оттолкнулся от него и сказал каким-то особым голосом:

— Все правильно, Василий Андреевич, все правильно!

— Вот так! — бодро сказал полковник. — Еще поживем и поработаем.

— Ну конечно! — сказал папа.

Витька восторженно пялил глаза на полковника, а мне, конечно, стало ужасно жалко, что ему надо уезжать. Вроде бы ничего особенного и не произошло за те три дня, что он пробыл у нас, а все же мне начало казаться, что я немного выросла...

— Дядя Вася, — сказала я, — а как же к нам в школу?

— В другой раз, — сказал полковник, — в другой раз. И потом, видишь ли, не умею я как-то рассказывать. Вот пригласи своего батю — он расскажет интереснее, чем я.

Я подумала, как бы вытянулось лицо у Г. А. и Юльки с Зоенькой, если бы вместо Героя Советского Союза, полковника, такого настоящего боевого офицера, в школу пришел бы мой скромный, незаметный папа, как бы он снял и протер свои очки и начал что-нибудь цитировать. «Я не люблю цитировать, — сказал бы он, — но раз уж вы меня пригласили...»

Я невольно улыбнулась. Полковник увидел это, взял меня довольно крепко за плечо, отвел в сторону и сказал свирепым шепотом:

— Ты вот что, Мария! Твой отец — герой. Заруби это себе на носу. И нечего ухмыляться. Ты мне веришь?

Я кивнула, и полковник продолжал:

— Так вот, он герой еще побольше, чем я. Поняла?

Я опять кивнула, и мне стало и стыдно, и радостно. Я посмотрела на папу. Он стоял у окна и задумчиво протирал очки.

— И потом, — все так же сердито говорил полковник, — что, на мне свет клином сошелся, что ли? Мало у вас своих героев в Ленинграде?! А если для того, чтобы «галочку» поставить, так я и вообще не согласен. Вот вы вместо того, чтобы какого-то заезжего полковника приглашать, взяли бы да и оглянулись вокруг. Эт-то же Ленинград! А класс у вас какой-то... — Он покрутил в воздухе рукой. — Какой-то такой...

Я молчала. А что мне было говорить?! Обидно, конечно, но ведь правда, наверно...

...Потом мы пообедали, а скорее — поужинали, потому что был уже совсем вечер. Все сидели грустные, и только полковник смеялся, шутил и рассказывал разные забавные истории. И почему-то почти все время обращался к Витьке, а тот... ну, да что тот. Тот пыжился, как индюк, и смотрел полковнику в рот. Я вначале немного обижалась, что полковник вроде даже и не хочет на меня смотреть, но потом, когда он сказал одну

вещь, я перестала обижаться и поняла, что иначе он не может. И наверно, он прав. Я это еще потом додумаю.

А он сказал вот что:

— Ты, Маша, девчонка, так сказать, женский пол. И не дай бог тебе узнать, что такое армейская служба. А вот из него, — он кивнул в сторону Витьки, — я бы хорошего солдата сделал!

Надо было видеть Витьку!

— А ведь солдатская служба, — продолжал полковник, — трудная служба. Правда, Гриша?

— Правда, дядя Вася, — серьезно сказал Гриша, то есть папа.

— То-то, — сказал полковник и засмеялся. — Вот, помню, еще до войны — я тогда ротой командовал — был у меня старшина-сверхсрочник. Так он что делал? Идут ребята с учений. Ну, подзадержались там и... прочее. Идут голодные, конечно, как волки. Думают: скорее бы до лагерей добраться, а там — борщ украинский, ложка стоит, каша гречневая с мясом, ах! И идут, ну прямо форсированным маршем с полной боевой выкладкой. А за полкилометра до лагеря старшина кричит: «Запевай!» Какое тут запевай — лишь бы до каши добраться. «Стой! Кру-угом! Шагом марш!» И в обратную сторону — с полкилометра. «Стой! Кругом! Шагом марш! Запевай!» Ну, что будешь делать?! «Что запевать-то, товарищ старшина?» — «Кони сытые, — была тогда такая песня, — бьют копытами...»

— И запевали? — с восторгом спросила бабушка.

— Ого! — сказал полковник. — Еще как! Не хуже хора Александрова. Но я все-таки его спросил, старшину этого, чего он ребят мучает. Так он удивился даже. «Рота, — говорит, — должна прийти в свое расположение бодрой и готовой к предстоящим боям, какие бы потери она ни понесла. А тут какие потери — брюхо подвело! Я их воспитаю, товарищ лейтенант, а вы их жалкуете». Ну, что мне говорить? — Полковник задумался, а потом, посмотрев на папу, тихо сказал: — А как потом дрались эти «кони сытые»? Ты помнишь, Гриша, как они дрались?! — Он покачал головой и зажмурился.

Папа молча кивнул, а Витька, проглотив слюну, сказал басом:

— Трудно в ученье — легко в бою...

— Суворов! — закричал полковник. — Он у тебя Суворов, Гриша! Ну, поехали.

На вокзал полковника провожали все. Он поцеловался со всеми, а бабушке поцеловал еще и руку. Домой мы шли медленно и ни о чем не говорили, только Витька бубнил себе что-то под нос и, выпятив грудь, вышагивал впереди всех строевым шагом. По-моему, он пел «Кони сытые».

Уже в самой подворотне оказался Венька Жук. Я шла последней, и Венька тихонько окликнул меня.

— Ты, Басова, не бойся, — сказал он шепотом, — тебя больше никто не тронет.

— А я и не боюсь, — сказала я.

Он потоптался на месте, не зная, что сказать, и мне вдруг захотелось сделать доброе дело.

— Знаешь что, Венька, — сказала я, — хочешь... я буду с тобой дружить?

Венька ошарашенно посмотрел на меня.

— Со мной?

— Ну да, с тобой.

— Вот собака!

— Кто собака?!

— Это я так... поговорка у меня такая. Ты... — Он не договорил, повернулся и убежал, а я пошла домой и сразу легла спать, но некоторое время никак не могла заснуть, и в голову лезли всякие разные странные мысли.

Я, например, думала: что, если бы Жук меня действительно собакой назвал, обиделась бы я или нет? Наверно, не обиделась бы. Что ж собака? Если человека даже ослом назовут, и тогда стоит подумать, обижаться или нет. Полковник рассказывал, как под Новороссийском ослики прямо-таки выручали наших солдат. Они сопели, хрипели, чуть не падали, а таскали в горы, по самым кручам, над страшными пропастями оружие, еду и боеприпасы нашим войскам. А лошади этого не могли. Так что не каждый осел — осел. А собака — это совсем не так уж плохо. Собака — это, в общем друг человека. Такой барбос. И я не совсем понимала, зачем мне понадобилось предлагать Веньке дружбу. Но раз уж предложила — отступить нельзя; может, это воспитательная мера. Надо же с чего-то начинать, чтобы наш класс по-настоящему был дружным... А может, это я назло Семену? Нет, он ведь не возражал... А он вообще-то ничего — этот белобрысый... те-ле-па-тик... Я уже начала засыпать и вдруг представила себе, что Г. А. (ох, Герасим), Юлька и Зоенька приволокли в школу огромный и пузатый самовар и не знают, что с ним делать, — полковника-то нет. И мудрый трясучий Апологий предлагает сдать его на металлолом. Мне стало ужасно смешно, и я долго про себя хохотала. А потом наконец заснула, и мне приснился славный сон, что я летаю. И это было очень хорошо — мне бабуся как-то объяснила: когда люди во сне летают — это значит, что они растут.

— Я-то уж давно не летаю, — вздохнув, сказала бабушка. — Я все куда-то падаю. А ты летай. Это отлично...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава первая

Тетка Поля — мамина сестра — каждую осень присылает нам ящик антоновки. Тетка живет в деревне под Рязанью, и всяких яблок у нее хоть пруд пруди. Продавать она их не продает, а рассылает по всей своей родне, а родни у нее, кроме нас, тоже хоть пруд пруди, и все живут в разных концах Советского Союза. И все разные. Есть колхозники, есть рабочие. Есть Герой и есть даже один профессор. А есть и вор; он сидит в тюрьме и неизвестно когда выйдет. И есть один какой-то важный, хотя тетка Поля говорит про него: «К плешу ума не пришьешь». И всем им она посылает яблоки. Даже вору в тюрьму и то посылает. Но больше всех своих родственников тетка Поля любит мою маму — свою сестру. Это я знаю точно. Я сам слышал, как она говорила, что мама самая лучшая из ее родственников, хотя и «незадачливая». Мне было лет девять, когда я первый раз услышал это.

— Эх, Люда, — сказала тогда тетка Поля, — и красивая ты, и ладная, и толковая, а вот не задалось тебе чего-то...

— Поля, — сказала в ответ мама, — редко кому такое счастье, как тебе, дается...

— Уж это да, — сказала тетка Поля, — уж это да...

Не понял я тогда, да и сейчас не очень-то понимаю, почему тетка Поля жалеет маму, а себя считает самой счастливой. Ну, правда, мама часто болеет — сердце у нее не в порядке, а так ведь во всем остальном жизнь у нее вполне нормальная, а тетка Поля всю жизнь прожила в деревне, и детей у нее нет, и дядя Петя — ее муж — вернулся домой без обеих ног. Так какое уж тут счастье?

— Уж это да, — сказала тогда тетка Поля, — я счастливая.

И я очень хорошо помню, что вдруг она заплакала, и с тех пор стала присылать нам каждую осень ящик антоновки.

Я люблю антоновку. Это какие-то особенные яблоки. Это, по-моему, самые настоящие яблоки. Они и пахнут, как настоящие яблоки. И, когда антоновку берешь в руку, ты чувствуешь, что это яблоко, а не слива там или абрикос. Ящик всегда открываю я. Беру топор, клещи и открываю — медленно и с удовольствием, и как только подхожу к ящику, я чувствую, что у меня, как у нашего пса Повидлы, начинает шевелиться нос: я принохиваюсь. Я с удовольствием принохиваюсь к запаху антоновских яблок,

и у меня текут слюнки, но я не тороплюсь. Я осматриваю ящик со всех сторон — где бы получше зацепить, поворачиваю его и так и этак, немножко задумываюсь — для вида, конечно, и потом начинаю не спеша открывать. Выдеру один гвоздь и опять постою, подумаю, а то иногда и гвоздь начну выправлять, а все смотрят, сопят, даже кое-кто чуть не хрюкает. А мне весело — погодите, думаю, как будет здорово, когда у каждого окажется яблоко, от которого так замечательно пахнет, и вкуснота такая, что мне всегда становится жалко тех, кто не пробовал настоящей антоновки. Так вот, не торопясь, я делаю это очень важное дело, а вокруг меня стоят все и пускают слюнки и заглядывают в ящик через мое плечо.

Самый нахал это Повидло. Как только я беру инструмент, он тут как тут. Уши торчком, хвост дрожит, будто через него пропускают ток, глаза такие — вот, мол, я: самый лучший, очень я хороший — а нос лезет в самую первую щелку, стоит мне чуть приоткрыть дощечку — нос уже там. Второй нос — Олин, хотя она сидит на табуретке и делает вид, что учит уроки, — она, по-моему, всегда учит уроки, даже в «одном месте» и то учит — очень сознательная второклашка. Но, когда я открываю ящик с антоновкой, она обязательно приволакивается на кухню со своими тетрадками и писклявым голосом спрашивает у нашей соседки Ангелины Павловны, можно ли ей поучить уроки за ее — соседкиным — столиком, а нос у нее прямо нацелен на ящик с яблоками.

— Конечно, — говорит Ангелина Павловна ласковым таким басом. — У вас сегодня, можно сказать, семейный праздник, я уже приготовила все, и мой стол свободен, я не буду вам мешать и с вашего разрешения уйду.

Но, ясно, она никуда не уходит. Во-первых, потому, что ее никто не отпускает, а во-вторых, потому, что ей и самой не очень-то хочется уходить — очень ей интересно, как я открою этот ящик.

Мишка стоит около окна, засунув руки в карманы и выпятив нижнюю губу, дескать, подумаешь, я бы лучше открыл, а на яблоки эти мне начинать.

А я медленно и уверенно открываю ящик, и запах антоновки разносится по всей кухне, по всей квартире, да так, что дядя Гриша — еще один наш сосед — просовывает свою лохматую голову в дверь и сразу догадывается, что мы получили посылку.

— Заходите, Григорий Васильич, — говорит мама.

— Обязательно, — говорит дядя Гриша, заходит и становится в сторонке, подальше от бати.

А папа с мамой стоят рядом и тоже смотрят, как я открываю ящик. Батя иногда хочет дать совет, но мама его останавливает сердито, и он мотает головой и смеется, и мама смеется тоже.

Яблоки, яблоки, антоновские яблоки... Чавкает под раковиной наш пес Повидло, облизывается и смотрит на меня — не дам ли еще? Ахает Ангелина Павловна, аккуратно ножичком отрезая ломтики и вспоминая какого-то великого русского писателя, который так писал об антоновских яблоках, так писал... Дядя Гриша смотрит на маму такими же глазами, как пес Повидло на меня, но мама качает головой.

— Хватит на сегодня, Григорий Васильевич, — говорит она. — Вот возьмите яблочек и идите отдохните.

И дядя Гриша берет яблоки, вздыхает и уходит, а вообще-то он не всегда так спокойно уходит.

Все получают яблоки. Мама берет пяток и сразу кладет их в шкаф, в ящики, где чистое белье — это ее научила Ангелина Павловна, которая

прочитала об этом у того великого писателя. Могу сказать, что тот писатель был не дурак. Я вначале смеялся, а потом понял, как здорово спать на простыне, которая пахнет яблоками.

Оля тоже получает яблоко. Она идет в комнату, садится за стол и кладет яблоко перед собой, доучивая уроки.

Мишка, получив одно, мрачно говорит:

— Два, — и почему-то не смотрит на нас.

— Стоит ему два? — серьезно спрашивает батя.

— Стоит, — говорю я. Потому что, мне кажется, я Мишку понимаю — чего не бывает в пятом классе.

Потом мы с батей занимаемся распределением. Это — летчику. Есть у нас еще один сосед: дядя Саша летчик. Правда, он довольно редко бывает дома, но он молодец и тоже любит антоновку. Это — тете Насте — какой-то дальней-дальней папиной родственнице; она одна из всей его родни осталась живая и недавно поселилась в Ленинграде. Она почему-то не любит маму, но это ее дело, а вообще-то она человек, кажется, хороший, только странная немного. Ну да ладно — не мне судить, взрослые часто бывают странные.

После тети Насти мы откладываем еще кое-кому — знакомым, друзьям. «Учителям обязательно», — говорит папа. Я отчего-то всегда сомневаюсь, но тут у бати начинают ходить скулы, и я соглашаюсь. Потом мы оставляем маме на варенье, на сушку, на гостей и у нас остается примерно десяток.

— Давай съедим по одному, — говорю я.

— А как же, — говорит папа.

И мы съедаем по крупному антоновскому яблоку, и при этом батя начинает жаловаться на свою жизнь и завидовать тетке Поле. Завидует, правда, как-то смешно. «Вот жил бы я в деревне, да не могу я жить в деревне, вот был бы у меня сад, да какой я садовод, вот чихал бы я на все, да не могу я чихать на все, вот...» — и так далее. Я только последнее время стал прислушиваться — к чему бы он это?

И вот мы съедаем по крупному пахучему антоновскому яблоку, и батя откладывает себе три штуки, а остальные — целых пять — оставляет мне.

— А этими ты распоряжайся, — говорит он.

И каждый раз, хотя каждый раз повторяется почти одно и то же и говорят почти те же самые слова, я все-таки радуюсь. Посмеиваюсь над собой — ну, подумаешь, в самом деле, яблоки, что, я их не видел, что ли? А все-таки радуюсь.

Знаю, что одно яблоко отец обязательно положит к себе в стол, а потом будет его иногда вынимать, нюхать, качать головой, чему-то улыбаясь про себя, вздохнет и опять спрячет яблоко в стол. Другое он аккуратно завернет в тонкую бумагу, положит в карман и скажет: «А это Федора Ивановна дочке». И посмотрит на меня вопросительно, а я только кивну молча.

Третье — отец отнесет к себе на работу и там тоже положит в стол и тоже будет иногда вынимать и нюхать его, а потом кому-нибудь подарит.

С моим пятком я тоже уже знаю, что произойдет: одно выпросит Мишка, одно я сам отдам Оле в награду за какую-нибудь очередную ее пятерку, третье мы не выдержим и съедим с этим подхалимом Повидлой, четвертое я спрячу на всякий непредвиденный случай, а пятое... пятое я тоже подарю кому-нибудь... ну, например, той смешной девчонке с фонарем под глазом, которая живет в доме наискосок от нас.

Зовут ее Маша. Она порядочная заноза, но, по-моему, неплохой человек и, кажется, хороший товарищ. Фонарь-то она, в общем, из-за меня получила — заступилась за меня, чудачка, и схлопотала ни за что ни про что здоровенный синяк. Но ничего — он ей даже к лицу. Она красивая... эта Маша Басова, и синяк ей не мешает, хоть она и злится. С этого года я живу совсем недалеко от нее и учусь с ней в одной школе, в одном классе и даже уселся за ее парту! Она злится, а мне весело. Вообще-то мне, конечно, совсем не хочется, чтобы она злилась, но уж больно смешно она это делает — фыркает, как кошка, только что когти не выпускает. И смотрит так презрительно, словно миледи на мушкетеров, своим одним глазом. А мне совсем не страшно. Пусть посмотрит. И я на нее посмотрю. А там посмотрим...

Вчера она прямо зашипела на меня, когда я хотел понести ее портфель.

— Ну, что ты пристал ко мне, как репейник? Появился неизвестно откуда и пристал. И ходит, и ходит... Телепатик несчастный!

Я не знаю, что это — «телепатик», и хотел было обидеться, но слово уж больно смешное — те-ле-па-тик — и я засмеялся, а она трахнула меня по голове портфелем и умчалась. И мне даже не было обидно.

А в самом деле, чего это я к ней прицепился, как репейник? И хожу, и хожу? Знаю чего: нравится она мне — вот и все! Я, конечно, могу и отцепиться, но не отцепляюсь — мне почему-то кажется, что мы с ней подружился. Пусть еще позлится немного, а потом все равно подружиться. И фырчать на меня, как кошка, перестанет. Хотя вряд ли она перестанет, все равно будет фырчать, но, наверно, уже не так. Поживем — увидим. А яблоко я ей завтра в школе подарю. И пусть злится сколько влезет — я тоже упрямый.

Между прочим, со своей парты она меня не прогнала и сама не пересела, а это, по-моему, кое-что значит. Ведь могла бы сесть, ну, с Геркой, например, — он, думаю, для нее место берег. Я ее спросил, почему она, если уж так на меня злится, не пересядет туда, на первую парту, где Герка сидит и ее дожидается?

— Где хочу, там сижу, — ужасно сердито сказала она. — И вообще эта парта моя.

— Ну тогда я пересяду, — сказал я благородно.

— Твое дело. Ты для меня все равно пустое место.

Я сделал вид, что обиделся, и начал собирать свои монатки, а она дернула меня за рукав и прошипела:

— Сиди уж, рыцарь!

Рыцарем меня почему-то прозвала ее бабушка. «А-а, здравствуйте, юный рыцарь», — говорит Машина бабушка всегда, когда встречает меня. Я не очень-то понимаю, почему она зовет меня рыцарем, но мне это как-то даже приятно. И однажды мне приснился смешной сон, как я в рыцарских доспехах с копьём наперевес мчусь на коне по нашей Моховой, за мной, тоже в доспехах, мчится пес Повидло, у него из стальных штанов только хвост наружу торчит, и от нас в диком страхе и ужасе разбегаются в разные стороны фуфли и хлястики, это те ребята, что подставили Машке фонарь и которых, по-моему, надо бить. Они бегут и визжат со страху, а я называю их одного за другим на копы и въезжаю во двор, где живет Маша Басова, и складываю весь этот шашлык к ногам Машинной бабушки, а она хлопает меня выбивалкой для ковров по стальному плечу и говорит: «О мой юный герой! Пóсвящаю вас в рыцари Ордена Святого Репейника, а вашего доблестного пса Повидлу назначаю вашим верным оруженосцем».

Мне немножко обидно, что это она, а не Машка, посвящает меня в рыцари, но я становлюсь на одно колено и целую подол ее роскошного платья, а пес Повидло, мой верный оруженосец, прыгает вокруг меня и лижет в нос через поднятое забрало. И тут я просыпаюсь, потому что нахал Повидло действительно лижет меня в нос — ему пора гулять. Смешной сон, но ничего — неплохой.

Ну, это я так, к слову, а бабка у Маши очень славная, забавная и, по моему, хитрящая. Она ко мне хорошо относится — я всегда чувствую, когда ко мне человек хорошо относится, — а Маше это не нравится, а скорее всего, она делает вид, что не нравится, а на самом деле она просто удивляется: почему это ее бабушка, папа, мама и даже сморчок Витька, братишка, сразу, как я только с ними познакомился, стали ко мне хорошо относиться. И тот отличный полковник, который к ним приезжал, тот тоже ко мне хорошо относился.

Я и сам удивляюсь иногда — отчего это все ко мне хорошо относятся? Нет, есть, конечно, есть — как Райкин говорил — есть и такие, которые ко мне плохо относятся, но это, наверное, потому, что я и сам их не люблю. Они, наверное, это чувствуют, и им ничего другого не остается, как и меня не любить.

Дядя Саша, летчик, наш сосед, как-то мне сказал:

— Вот ты обратил внимание, что твой Повидло очень любит дядю Гришу — водопроводчика, хотя дядя Гриша и ой-ой-ой, и твоему Повидле почти ни разу доброго слова не сказал. А вот ласковую Ангелишу Повидло терпеть не может, только вежливо ей улыбается, а сам никогда не подойдет. Почему?

— Ну, не знаю, — сказал я, — может, от нее слишком здорово духами пахнет?

— А от дяди Гриши гуталином и... еще кое-чем пахнет, а это хуже, — засмеялся дядя Саша. — Не то! Просто псы очень здорово чувствуют, когда их не любят или боятся.

Вот я вспомнил этот разговор и решил, что я, наверно, — ха-ха! — кое-чему от Повидлы научился. Только у Повидлы это инстинкт, а у меня, должно быть, разумно. И как-то сделал такую штуку. Глупо, конечно, но это я сейчас понимаю, а тогда еще не понимал. Я составил список всех, к кому хорошо отношусь, и стал вспоминать и проверять, а как они на меня смотрят. Оказалось, что я всего два раза ошибся. Один раз — это тетя Настя, папина родственница. Мне-то она нравилась, а я ей — нет. И второй раз — одна девочка из старой школы: ох, как она мне нравилась! Да и она вроде ко мне хорошо относилась, а потом я узнал: она, чистюля этакая, смеялась надо мной, что у меня батя — милиционер.

Я рассказал об этом дяде Саше — летчику. Он хохотал так, что я даже разозлился.

— Ну, чудак, ну, смешняк... — хохотал дядя Саша. — Ты-то ведь не Повидло. С человеком ведь совсем другое дело. Тут куда сложнее.

Он вдруг стал мрачным-мрачным и сказал грустно:

— Эх, Сенька, Сенька, это отлично, что ты людей любишь и им веришь, но трудновато тебе будет в жизни, много раз ты себе нос расшибешь. Не хочу тебя разочаровывать, но... «Люди, будьте бдительны!» Знаешь, кто это сказал?

— Какой-то маршал? — сказал я.

Дядя Саша усмехнулся.

— Я имею в виду Фучика, Юлиуса Фучика. Знаешь такого?

— Н-не, — сказал я.

— Позор, — сердито сказал дядя Саша.

Он подошел к книжной полке и достал небольшую в красном переплете книжечку.

— На, — сказал он, — прочитай обязательно, хотя это и не совсем к нашему разговору относится. А все же... Но, в общем-то, это здорово, что ты в своем анализе всего два раза ошибся. Мне бы так!

Я тогда эту книжку так и не прочитал. Не знаю уж почему — наверно, занят был. А еще, если честно говорить, и потому, что дядя Саша надолго улетал куда-то и некому было у меня спросить, прочитал я эту книжку или нет. Но сейчас постараюсь все-таки прочесть: может, и верно из нее кое-что узнаю. А все эти списки и анализы, конечно, ерунда, но все-таки понять, почему к тебе один человек относится так, а другой совсем по-другому, — это надо.

Маше Басовой я яблоко отдам — это не фокус, а вот как я в этой школе учителям буду яблоки дарить?! Там, в старой школе, я всех знал и меня все знали. И все знали, что осенью я обязательно принесу антоновку от тети Поли, и никто не мог мне сказать, что я подлиза и этими чертовыми яблоками зарабатываю себе отметочки. У меня отметки — железные: больше половины троек, а остальные — четверки. Двойки тоже бывают, но я их довольно быстро исправляю. «Особой усидчивости у него нет, — говорила Зоя Ромуальдовна, — но у него есть самолюбие и... как это... настырность. Двойку я ему ставлю условно. Он ее исправит». Я и исправлял. А как будет здесь — не знаю. Может, не так поймут меня с этими яблоками. Может, подумают, что я... Нет, уж лучше я пока подожду — проживут учителя и без моей антоновки.

Но вообще-то мне кажется, что и в этой школе будет неплохо. Ребята в нашем классе, по-моему, ничего, веселые. Правда, мне не очень понравилось, как они принялись прорабатывать Веньку Жука за дисциплину и за Машкин синяк — ведь он в этом синяке не очень виноват, я-то знаю. И еще мне не понравилось, что очень уж командует Герка Александров, и все его вроде слушаются. Парень-то он неплохой, я его еще по детскому саду знаю, он тогда тоже жил в нашем районе, — только иногда начинает здорово важничать, как будто он умнее всех, смелее всех, сильнее всех и справедливее всех. Нет, он вовсе не хвастается, но так у него само получается: посмотришь на него — и сразу видишь, что тебе самому очень многого не хватает. А это иногда обидно бывает. Не то что завидно, а обидно — вроде ты чем-то ниже его получаешься. Но вот чему я действительно завидую — это не тому, что он на пятерочки учится и по-английски разговаривает, а тому, что он и правда много чего знает; о чем ни заговорят ребята, он все знает. А когда его спрашивают, откуда он все это знает, он так небрежно говорит, что надо побольше читать и быть в курсе всех достижений современной науки и техники и политических событий. Говорит он, и верно, как пишет. Я-то в этом деле слабоват, честно скажу. Сам не понимаю, почему так получается, что мне все время книги про шпионов да про войну подвертываются. Конечно, и про это надо читать, но ведь и не только про это. Или еще «Монте-Кристо», «Три мушкетера», «Остров сокровищ». Конечно, книги хорошие, но ведь есть и еще много хороших, да вот мне они почему-то не подвертываются никак, а если и подвертываются, то почему-то не читаются. Соседка Ангелина Павловна — у нее много книг — говорит, что надо с самого детства воспитывать в себе привычку к чтению умных и полезных книг, тогда и сам будешь умным и полезным. Я с этим согласен,

только удивляюсь немного, как это она столько книг прочитала, а очень-то умной не стала. Да и насчет того, полезная она или нет, тоже не знаю. В квартире она не то что полезная, а просто вредная бывает: всех воспитывает, учит и жучит, то не так, это не так, а сама туалет на двадцать минут занимает, а ванную — часа на три. Это дома. А на работе она, по-моему, и не бывает: когда ни придешь — она все дома торчит, то в ванной, то на кухне — у нее куча всяких болезней, и ей нужно особое питание. Вот она день и ночь и готовит себе это питание, а когда приготовит, то питается. А работает она, как сама говорит, каким-то ре-фе-рен-том по искусству. Хорошая, видно, работенка у этих референтов. Не пыльная. Но других, которые по-настоящему работают, она не очень-то уважает.

Я с ней всегда очень вежливо разговариваю, но у меня с ней особые счеты — она вроде той чистюли, что надо мной смеялась из-за бати. Он как-то с ней поспорил насчет одного кинофильма, так она на него так посмотрела, — дескать, ну что вы, милиционер, понимаете в искусстве. «У вас не сколько иная сфэ-эра деятельности, уважаемый Василий Тимофээвич». Она сказала и улыбнулась, словно ребенку какому, а я в нее чуть картошкой не запустил...

Ну ладно, аллах с ней. А вот что дядя Саша — летчик меня поругивает — это хуже. Я его уважаю.

— Серый ты человечиска, Сенька, — говорит он мне, когда я чего-нибудь не знаю, а это частенько бывает, — читать тебе надо, просвещаться.

И тоже дает мне разные книги, а я их тоже... не очень-то читаю. Все время мне почему-то некогда. Все время какие-то дела подворачиваются — то домашние, то свои собственные, вот читать-то и некогда. Только по программе, да, хмм-м... про шпионов.

Дядя Саша говорит, что я шепутной и неорганизованный — не умею свое время распределять разумно. А время надо уметь уплотнять.

— Вот ты попробуй как-нибудь про-хро-но-мет-рируй свой день. Смотри на часы и записывай, что ты делал по часам и минутам. А потом проанализируем вместе и сделаем выводы.

Это он мне сказал сегодня вечером, когда я занес ему антоновку. Он только что прилетел из дальнего рейса и два дня будет отдыхать.

Мне эта идея понравилась — в самом деле интересно, на что это у меня время уходит?

— Я бы сделал, да у меня часов нет, — сказал я.

Дядя Саша подумал-подумал, потом снял с руки часы и дал мне. Я начал отмахиваться, но он сказал, что я несерьезный человек, и нацепил часы мне на руку.

— Ладно, — сказал я, — вы не бойтесь, я не потеряю.

— А я и не боюсь, — сказал он. — Потеряешь — купишь.

«Интересно, на какие шиши», — подумал я, но только кивнул.

Батя увидел часы и строго спросил, откуда они у меня. Я рассказал. Он задумался, а потом посмеялся немного.

— Уж этот Александр Степанович вечно что-нибудь выдумает, — сказал он. — Но, пожалуй, это полезно. Хотя... — Он опять задумался.

— Что — хотя? — спросил я.

— Хотя... что у тебя жизнь нелегкая, тут и моя вина есть. — Он развел руками. — Да вот обстоятельства такие, брат Сенька...

Я даже глаза на него вытаращил — с чего это он взял, что жизнь у меня нелегкая? И какие еще обстоятельства?

— Ты что, батя?

— Давай поговорим, Сеня, — сказал он серьезно и усадил меня на диван, а сам сел рядом. — Давно пора, да все времени нет.

Но и тут поговорить нам не пришлось. Зазвенел звонок. Кто-то открыл, а потом к нам в дверь постучали и вошла какая-то женщина — молодая, грустная и заплаканная.

— Уж вы извините, товарищ участковый, что я прямо домой... да поздно так, — сказала она виновато. — Прямо уж не знаю, что делать.

— Опять? — спросил отец.

Она только всхлипнула и кивнула молча.

— Ну, Сеня, в другой раз, — сказал отец и вздохнул. Встал, надел мундир, фуражку, взял свою папку и пошел с той женщиной.

— Когда придешь, Вася? — спросила мама из-за ширмы. — Ведь ночь...

— Не знаю, Люда, но постараюсь поскорее, если еще что не задержит.

— Вы уж извините... — опять виновато сказала женщина, и они ушли.

— И не видим мы его совсем, — вздохнув, сказала мама, — все работа, работа...

— Такое у него дело, мать, — сказал я, и мама засмеялась.

— Ну точь-в-точь, как он говорит, — сказала она.

А я ведь нарочно сказал, чтобы посмешить. Посмеется и, может, меньше думать будет, а то до его прихода и не уснет.

Я разделся, положил летчиковы часы под подушку и улегся. А пожалуй, дядя Саша, я тебя перехитрю: я свой день так распределю, что и комар носу не подточит и хро-но-мет-раж у меня будет не хуже, чем у какого-нибудь токаря — ударника комтруда или чемпиона в беге на длинные дистанции. Я встал, достал из батиного стола новенький блокнот и написал на обложке:

Х Р О Н О М Е Т Р А Ж

И лег спать. А на следующий день начал вести этот самый хронометраж. И вот что у меня получилось:

7.00 — Проснулся.

7.00—7.05 — Лежал и думал о... Вспомнил, что надо записывать.

7.05—7.10 — Вставал.

7.10—7.20 — Стоял в очереди в т. Там была А. П.

7.20—7.22 — Умывался.

7.22—7.30 — Будил Мишку.

7.30—7.35 — Будил Ольгу.

7.35—7.50 — Готовил завтрак. (Мама плохо себя чувствовала.) Одновременно гнал Мишку умываться — уплотнял время.

7.50—8.00 — Завтракал.

8.00—8.10 — Прогулял Повидлу. Встретили Мухтара. Они играли. Погода хорошая. Пожалел Повидлу и гулял его еще 5 мин. до 8.15.

8.15—8.25 — Прогонял Мишку в школу. (Ольга уже ушла.) Иск. учебн. по мат.

8.25—8.32 — Бежал в школу. Опоздал на 2 мин. (Плохо!)

8.32—8.34 — Стоял у двер. в кл. и слуш. как м. руг. Р. Петр.

8.34—9.15 — Урок литературы. Схват. 2. (Исправлю!)

Примечание № 1. Было пять уроков до 13.15. Тут хронометрировать нечего. Уроки как уроки, и они хочешь не хочешь, а идут по расписанию. А вот большую перемену потерял зря. Вместо того чтобы отдохнуть —

все 15 мин. стоял как истукан перед завучем за то, что на ур. дал по ш. Ап. (Плохо! Надо учесть, хотя по шее я ему дал прав!)

13.24 — Последний звонок. Остался в классе, чтобы все записать. Довольно муторное дело этот хронометраж, но раз уж взялся — надо кончать. Только кончил записывать — в класс вошла очень сердитая Маш. Бас. и сказала мне, что я... Ну, да это к делу не относится — я ведь не дневник веду. Расскажу потом. Здесь только запишу, что разговаривали мы с ней до 13.40, и не знаю, потерянное это время или нет? С одной стороны, вроде бы и потерянное, а с другой...

13.40—14.00 — Шел домой и думал о... и о том, как мне все-таки уплотнить время.

14.00—14.20 — Встретил у ворот Фуфлу и Хлястика.

— Давай поговорим, — они мне сказали.

— Нечего мне с вами разговаривать, — сказал я, — у меня дела, — и посмотрел на часы.

— Часики завел, — сказал Хлястик.

— А ну покажь! — сказал Фуфло.

— Шиш тебе! — сказал я, и тут мы крепко поговорили о том, кто я такой и кто они такие. Они сказали, что если я буду воображ. и лезть не в св. дел., то схлоп. как след. А я ск., что чих. на них и если они будут прист. ко всем, то все реб. им покаж. Они смеялись. Я сказал, что хорошо смеется тот, кто смеется последним. Они хот. отн. часы, но я не дал и ушел домой. А дома все это записал, посмотрел на часы — ничего поговорили!

14.20 — Взял деньги у мамы, авоську, кусок булки с колбасой и книжку, которую дал мне дядя Саша. Чтобы не встретиться опять с этими и не терять зря время, пошел через другой двор и в овощной магазин пришел в...

...14.30 — Встал в очередь за картошкой и решил уплотнить время — открыл книжку. «Репортаж с петлей на шее» называется. Я вначале подумал, что опять про шпионов, но оказалось совсем другое... совсем другое... Меня толкали, куда-то отодвигали, а я читал. Кто-то смеялся, кто-то чего-то спрашивал, а я читал. Потом здоровенный дядька двинул меня под ребро и заорал в самое ухо:

— Чего под ногами путаешься! Читатель!

— Извините, — сказал я и отошел к окну. Потом вдруг посмотрел на часы: мама-мамочка!..

15.00 — Купил картошку и помчался в «Молоко». Книжку убрал подалее, чтобы не отвлекала.

16.00! — Это я только что домой пришел с молоком и картошкой. Полтора часа ходил! Ну ладно, в овощном зачитался: значит, какая-то польза все-таки есть, тем более, что книжка-то! Эх, вот это книжка! Спасибо, дядя Саша! А вот в «Молоке» что я почти целый час делал? А вот что. Купил молоко, посмотрел на часы, достал блокнот и пристроился на подоконнике, чтобы записать время. Подходит продавщица — худющая, как кочерга, и злая.

— Чего это ты тут пишешь? — спрашивает она.

— Да так, — говорю, — ничего. — И закрываю блокнотик.

— Ничего и дома много, — говорит она и тянет руку за блокнотом. — А ну, покажь!

Совсем как Фуфло.

Я говорю, что это, мол, мое дело, что я пишу. Может быть, стихи.

— Я тебе покажу стихи, — говорит эта кочерга, — ишь писатель! Какие ты у нас непорядки выискал? Мал еще у нас непорядки выискивать!

— Да ничего я у вас не выискиваю, — говорю я.

— Нет, выискивал, — говорит она занудным таким голосом. — Вот так ходят всякие, выискивают, пишут, а потом тебя премии лишают. А ну, покажь!

Я спрятал блокнот в карман и хотел идти, но она не пускала, а тут еще кассирша свой голос подала и покупатели зашумели — кто за меня, кто против меня. Кто кричит на кочергу, чтобы она становилась за прилавок и работала, а кто кричит, что надо разобратся: может, я в карман плавильный сырок сунул. Пропади он пропадом, этот хронометраж! Хорошо, какой-то старичок вмешался и меня вызволил.

— Я, — говорит, — его знаю. Он мальчик вполне приличный и действительно стихи пишет. Очень хорошие.

Тут все заулыбались и начали меня хвалить и даже кассирша стала меня просить, чтобы я почитал стихи вслух. Час от часу не легче. Стою красный как рак и рот открыт не могу, хотя вообще-то я находчивый. Но тут стихи! У меня от стихов, которые в школе наизусть учить надо, и то зубы всегда болеть начинают, а тут...

— Он застенчивый, — говорит старичок, а сам подталкивает меня к двери, — настоящие поэты все застенчивые.

— А может, он частушки на нас сочиняет, — не унимается продавщица и хочет меня опять за плечо взять, но тут уж все зашумели, чтобы она оставила приличного мальчика в покое, и я под шумок даю дралка. Уношу ноги. А то этот старичок скажет, что я романы пишу. Бегу от магазина, потом оборачиваюсь посмотреть, не бежит ли за мной кочерга, и вижу, что старичок стоит у магазина и в руках у него огромная сумка и палочка. Мне становится совестно, что я ему даже спасибо не сказал, и я возвращаюсь. В результате я забираю у него сумку и провожаю его до дому. Живет он аж у Мальцевского рынка — чего он в этот магазин забрался, когда у них там молочных магазинов рядом сколько влезет. Всю дорогу старичок читает мне наизусть разные стихи. Вроде ничего стихи — хорошие, хотя я не очень-то в них разбираюсь. Но одни мне даже запомнились. Как это: «Гвозди бы делать из этих людей — крепче бы не было в мире гвоздей!» Это ничего, это мне нравится. Это вот про таких, как Юлиус Фучик, и про космонавтов.

Старичок живет на пятом этаже здорового серого дома, и лифт не работает, и мы ползем с ним потихоньку наверх. Он на каждой площадке отдыхает и читает новые стихи, а у самой двери приглашает меня в гости и говорит, что у него отличная внучка, моя ровесница, и она тоже очень любит стихи. Он, кажется, и сам поверил, что я пишу стихи, но, в общем, он ничего старичок — добрый. Он опять приглашает меня в гости, но я вежливо отказываюсь и говорю, что зайду в другой раз, когда буду посвободней. Прощаюсь и бегу домой, вернее еду трамваем — времечко-то уже — охо-хо!

Примечание № 2. Дядя Саша, все это можно не читать. Это я просто так записал. Для себя. Интересно стало.

16.00—16.10 — Выгонял Мишку гулять с Повидлой. Наказал ему строго, чтобы больше 30 мин. не гулял — обедать надо.

16.10—16.20 — Уговаривал Ольгу подмести пол, но она заняла, что у нее много уроков, и если она не отдохнет, то не сможет их готовить. Подмел сам.

16.20—16.50 — Помогал маме готовить обед. Чистил картошку и пр. Оля смиловилась — накрыла на стол. В кухне мама вдруг села на табу-



ретьку и взялась за сердце. Я было побежал за каплями, но она сказала, что не надо, а потом сказала таким жалобным голосом (мне всегда завывать хочется, когда она говорит таким голосом):

— Сенечка, а папа ведь так и не приходил с вечера. Я уж не хотела тебя беспокоить, думала, вот-вот придет, а сейчас не вмоготу. Сбегай узнай, что он там... А я уже обед доготовлю.

Вот черт, я с этим хронометражем и не заметил, что батя утром не было. Правда, он и раньше часто уходил, когда мы еще спали, но тут-то с ночи его нет...

— Ладно, мам, ты не волнуйся, работа у него такая, — сказал я, но она даже не улыбнулась, и я побежал.

16.50—17.00 — У отца через три дома от нас, где жилконтора, есть отдельный кабинет, как он говорит. А какой уж там кабинет — так, комнатка: стол, два стула, шкаф, да еще железный ящик — сейф. Там он держит документы на всяких нарушителей. В этом кабинете его не было, и в жилконторе сказали, что сегодня он еще не приходил.

17.00—17.15 — Помчался в райотдел милиции. Ну, слава богу! Батя был там — в дежурке. Собирался уходить. Мы вышли вместе. Он положил мне руку на плечо и спросил обеспокоенно:

— Чего примчался? Случилось чего?

Я почему-то разозлился.

— «Случилось, случилось!» — передразнил я его. — Он ночами пропадает, а потом еще спрашивает, не случилось ли чего!

Я размахивал руками — я всегда размахиваю руками, когда злюсь, он держал меня за плечо, и так мы шли и выясняли отношения. Он сокрушенно качал головой и все твердил, что работа у него такая.

— Предупредить-то мог, — кричал я. — У него работа, а мы ночи не спи! Да? У него работа, а у мамы — сердце! Мог бы...

— Мог бы, — виновато соглашается он, — да закрутился, Сеня. Дела тут такие.

На углу он остановился, снял руку с моего плеча и сказал, глядя в сторону:

— Понимаешь, Сеня, я и сейчас домой не могу, — он развел руками, — дела тут такие. Маме скажи, чтобы не волновалась. Приду к ужину.

Я только рукой махнул — что с ним будешь делать.

17.15—18.00 — Пока шел домой... Нет, не буду сейчас ничего писать. Потом расскажу. В общем, сорок пять минуток пшикнули, сгорели голубым огнем, совершенно непроизводительно. Дела!

18.00—18.25 — Пришел домой и успокоил маму насчет отца, а она все равно беспокоится — Мишки, паразита, нет. Понесся искать. Двадцать минут искал этого тунеядца. Нашел у самой Невы. Идет как ни в чем не бывало, посвистывает, а Повидло какую-то корягу тащит и хвостом виляет. Тоже тунеядец порядочный.

— Где был? — спрашиваю Мишку.

— А мы на Петропавловку прошвырнулись.

Ну, я не выдержал: дал Мишке подзат., а Повидло хорошего пинка под... Так они еще обиделись!

18.25—19.00 — Обедали. А после обеда я все-таки заставил этого тунеядца Мишку посуду вымыть. И даже не слушал, что он там поет, а взял и ткнул его мордой в раковину. Правда, получил замечание от Ангелины Павловны.

— Ф-фу, Сеня, — сказала она басом, — от тебя я этого не ожидала. Такой воспитанный мальчик и... физические методы. Фи!

— А, катитесь вы! — сказал я. Уж не знаю, как это у меня вырвалось, но вырвалось, факт.

19.00—19.10 — Десять минут извинялся перед Ангелиной! Ну, наконец простыла. Даже по голове погладила.

19.10—20.10 — Делал уроки. Занятия только начались, и уроков не так уж много, но все же час ухлопал. Бати еще нет.

20.10—22.00 — Засадил Мишку за уроки. Десять минут туника несчастного засаживал. Чуть было опять не применил физический метод, да маму пожалел. Она ужасно это переживает.

— Иди, Сеня, погуляй, отдохни, — сказала мама, а потом, словно извиняясь, добавила: — Если сможешь, в аптеку забеги. Наверно, лекарство готово... А то Мишутка потом сбегает...

— Нет уж, никуда Мишутка не сбегает. Набегался, — сказал я и взял рецепт.

В аптеке я потерял минут десять. Занес лекарство домой, а потом до 22.00 гулял. Ну, это время личное, имею я на него право или нет? Раз имею — значит, делаю, что хочу, и хронометраж тут ни при чем. А что я в это время делал, расскажу в другой раз. Между прочим, всего-то полтора часика и погулял, но рассказать есть о чем.

22.00 — Пришел домой. А дальше все неинтересно. Пришел батя. Ужинали. Телик немного посмотрели. Батя сидел мрачный, а раз он мрачный, значит, спрашивать у него ничего не надо. Сам расскажет, если захочет, — такой у нас порядок. Но он ничего не рассказал, а только, когда уже из-за стола вставали, спросил меня:

— Слушай-ка, ты Балашова-мальчишку знаешь?

— Веньку, что ли? Из двадцать седьмого?

— Да.

— Знаю. А что?

— Ничего... так. Завтра поговорим. Ну, я пошел.

И уже в дверях опять спросил меня:

— Ну, как твой хронометраж?

Я только рукой махнул и пошел отдавать дяде Саше часы. Вот и весь хронометраж!

Глава вторая

...Дядя Саша лежал на тахте и читал, и вид у него был такой довольный и спокойный, что я даже позавидовал — вот у кого время наверняка зря не уходит.

В комнате у него хорошо и интересно. У тахты большая лампа на полке с абажуром — торшер называется.

Вдоль стен — полки с книгами, а на стенах и в стеклянном шкафу много разных сувениров, прямо музей. Он ведь весь мир облетал и отовсюду привозил что-нибудь интересное. «Тряпки меня не интересуют, — говорит он, — а вот такую штукину, например, где ты увидишь? Разве в музее только. — И он показывал какую-нибудь страшнейшую маску, или красивую раковину, или открытки с видами разных стран. — Вот это — интересно: тут и история, и география, и память», — говорит дядя Саша. И я ему очень завидую.

— А-а, здорово! — сказал дядя Саша, когда я вошел. — Ну, как делишки?

Я протянул ему часы, он положил их на столик около тахты и посмотрел на меня с любопытством.

— Сделал хронометраж? — спросил он.

— Сделал, — сказал я и махнул рукой.

— Что так мрачно? — спросил он и засмеялся.

— Ерунда получилась, — сказал я.

— Дай-ка сюда.

— Да не стоит. Чепуха на постном масле.

— Давай, давай, вместе разберемся! — И он протянул руку за моим блокнотиком.

«Ладно уж, — подумал я, — может, он чего интересное скажет». И отдал ему блокнот. Ну и хохотал же он. Прямо по тахте катался и даже слезы вытирал. Я чуть было не обиделся, но он так здорово смеялся, что я тоже не выдержал и начал смеяться вместе с ним. Он наконец отхохотался и уже серьезно сказал:

— Да-а, Семен, прямо скажем, не ахти как получилось. Но все же некоторые выводы можно сделать.

Он вырвал из блокнота листок, взял со столика шариковую ручку и начал разными цветами писать что-то на этом листке. Писал, писал, а потом протянул мне эту страничку.

— Вот какая схема, — сказал он, — полюбуйся.

Я полюбовался. Красивая схемка получилась. Ничего не скажешь! Там все было разобрано по минуткам, но я не буду приводить тут всю эту схему, а только главное. Жутковато получалось. Вот посмотрите:

СУТКИ — 24 часа, или 1440 минут.

РАБОЧИЙ ДЕНЬ — от подъема в 7.00 до отбоя в 23.30 — 16 часов 30 минут, или 990 минут.

СОН: 1440 минут минус 990 минут = 450 минут.

Из 990 минут бодрствования непроизводительно потеряны («пшикнули»!):

а) До школы — 40 минут;

б) В школе — 60 минут;

в) После школы — 260 минут.

Всего: 40 мин. + 60 мин. + 260 мин. = 360 мин.

Производительно затрачено: 990 мин. — 360 мин. = 630 мин. Составим пропорцию:

$$990 — 100\%$$

$$360 — X\%$$

$$X = \frac{360 \cdot 100}{990} = 36,4 \text{ (36) \%}$$

Итак: время, которое «сгорело голубым огнем», составляет 36,4% (!!!)

КОШМАР!!!

— Вот такие пироги, Семен, — сказал дядя Саша, когда я прочитал все это. — Баланс, прямо скажем, не в твою пользу. Что делать думаешь?

А что тут делать, подумал я и только головой помотал. Отличный «хронометражик», чтоб ему пусто было! Впрочем, это мне чтобы пусто было. До чего же безалаберный я человек! И вот ведь что получается: вроде и минуты свободной нет — все дела и дела, а на поверку оказывается не дела, а один пшик. У меня даже в горле пересохло от досады на себя, а дядя Саша поглядывал на меня и так хитренько улыбался.

— Ладно, — сказал я, — допустим, с собой я как-нибудь справлюсь, а вот как быть со всякими... непредвиденными обстоятельствами?

Сказал и сам удивился — ишь как заговорил!

— Человек должен быть сильнее обстоятельств, — сказал дядя Саша.

— Это как? — спросил я.

— А вот так: ну какое для тебя обстоятельство Мишка, который не хочет просыпаться? А ведь ты на него в общей сложности, — дядя Саша посмотрел на листок, — в общей сложности совершенно зря потерял больше часа! Ухлопал ни за что ни про что.

— Я на него иногда еще больше ухлопываю, — разозлился я.

— А ты не ухлопывай, — спокойно сказал дядя Саша, — ты воспитывай. Скажи один раз: «подъем». И все! Как в армии.

— А если не встанет?

— Его дело. Раз проспит школу, два проспит, а на третий...

— Жалко. Попадет ему.

Дядя Саша поднял вверх указательный палец.

— «Не унижайте жалость человека!» Кто это сказал? — спросил он.

— Этот... как его... ну, тот...

— Горький это сказал, балбес ты! — Дядя Саша шлепнул меня по макушке. — А теперь топай отсюда. Спать пора. А подсказывать я тебе ничего не буду. Сам не маленький. Подумай.

— Ладно, — сказал я, — подумаю. А вот тут как считать: скажем, я старичка проводил — это как? Потерянное время или нет?

— А ты хитер, — засмеялся дядя Саша. — На добрые дела время жалеть не надо.

— Да, а вы приписали.

— Ну ладно, — засмеялся он, — скости полчаса на доброе дело. Но ведь все равно — плоховато.

— Плоховато. А... а... Мишку будить разве не доброе дело?

— Это я тебе уже разъяснил.

— А отца искать?

— Ты дикарь или цивилизованный человек? Телефон на что?

— А две копейки?

— Ты, парень, не только хитрец, но и нахал. Иди спать!

— Ага! Не все так-то просто. Вот туалет, например. Как же я, когда там...

— Марш отсюда! — закричал дядя Саша. — Ты мне еще квартирные дразги разводить будешь! Марш! — Он хлопнул кулаком по столу, на котором лежали газеты и журналы, так, что все они даже подпрыгнули.

Я вежливо сказал ему «спокойной ночи» и добавил что-то насчет того, что у летчиков должны быть железные нервы. Он засмеялся и погрозил мне пальцем.

— А между прочим, — сказал он, — интересно, почему это у тебя от 17.15 до 18.00 сорок пять минут «сгорели голубым огнем»? А?

Ну что ты с ним делать будешь? Уел ведь все-таки.

— Да так, — сказал я. — Так вот... как-то...

Дядя Саша хмыкнул и уткнулся в книгу, а я пошел домой и почти сразу лег. Подумать было над чем, и я стал вспоминать этот день. И, во-первых, вспомнил эти сорок пять минут: от 17.15 до 18.00. А было вот что. После того как мы расстались с батей, я сразу побежал домой. Бежал, бежал, а на углу Моховой и Белинского растянулся на тротуаре. Какой-то тип подставил мне ногу, и я шлепнулся носом вперед. Правда, удачно шлепнулся — ничего не расквасил. Я сразу вскочил, злой, как черт. Смотрю, стоит здоровенный парень, черный, как цыган, и смеется. И зубы у него, как у нашего Повидлы — белые-белые и мелкие; мне даже показалось, что у него и клыки собачьи есть. Глаза у него маленькие, как бусины, и темные-темные, так что кажется — их вовсе и нет, а есть просто черные дырки вместо глаз. Мне стало почему-то страшновато и сразу расхотелось ругаться. А он посмеялся еще немного и вдруг перестал, и рожа у него стала странная — словно ее перекосило на одну сторону. Он взял меня за плечо, прямо как будто клещами вцепился, и сказал:

— Не торопись, не торопись, Веснушка.

Я даже рот открыл от удивления: такой здоровенный парень, а голосок писклявый, как у крысы. Я сразу перестал его бояться.

— Куда торопишься, Веснушка? — спросил он.

— А тебе какое дело! — сказал я.

— Не груби, не груби старшим, Веснушка, — пропищал он.

— Какая я тебе «веснушка»! — Я начал уже злиться.

— А что? Разве нет? — сказал он и потыкал меня пальцем в щеки. — Еще какая Веснушка! — И он опять засмеялся, а мне опять почему-то стало страшно. Честное слово, у него клыки были...

— Чего тебе надо?! — сказал я. — Ногу еще подставляет... дылда стое-росовая.

Я попробовал вырвать плечо, но он сжал его еще крепче, так, что я чуть не заверещал.

— Не сердись, не сердись, Веснушка, — запищал он, — у меня к тебе дело есть. Ты на Моховой живешь?

— Ну, на Моховой, — сказал я нехотя, — а тебе-то...

— А в каком доме?

— Да тебе-то что? — заорал я.

— Значит, надо, коли спрашиваю, — сказал он.

— Пусти! — сказал я. — Ой! В этом, в этом! — Я ткнул пальцем в сторону своего дома.

— Так, — сказал он, — а из двадцать седьмого кого-нибудь знаешь? Пацанов каких-нибудь?

— Знаю, знаю! Пусти!

— Кого знаешь, Веснушка?

— Слушай, — взмолился я, — отпусти ты мне плечо, я тебе и так скажу.

— Сбежишь?

— Нет!

— Дай честное, — он усмехнулся, — честное пионерское.

— Да ей-богу, не сбегу! — сказал я. Буду я еще каждому типу честное пионерское давать.

— Ишь ты, побожился! — удивленно пропищал он и отпустил мое плечо.

Я все-таки хотел дать деру, но что-то меня удержало. Вдруг стало интересно, что этому типу надо и кто он такой. Я не побежал, а стоял рядом с ним и только потирал плечо.

— Костьку из двадцать седьмого знаешь? — спросил он. — Фуфлу?

Тут уж мне совсем интересно стало — какие у этого типа могут быть дела с Фуфлой?

— Знаю.

— Тогда сходи к нему, он в тридцать первой квартире живет. И скажи, что его ждут.

— А кто? Ждет-то кто?

— Скажи... сосед. Понял? Я тут в садике буду. Ну, топай. Погоди. — Он снова ухватил меня за плечо. — Если его дома нет, ты никому ничего не говори. Понял? Только ему, понял? Да, смотри, если смоешься — я тебя из-под земли достану. — И он опять засмеялся, и глаза у него опять стали как две черные дырки.

Я пошел, а почему — и сам толком не знаю. Не то что испугался, а, пожалуй, любопытно мне стало и подозрительно что-то — больно уж тип какой-то странный.

В тридцать первой квартире мне открыла дверь толстая, накрашенная, как кукла, женщина в халате.

— Тебе кого, мальчик? — спросила она.

— Мне... Фуфлу, — сказал я и осекся. Вот ляпнул!

Она засмеялась.

— Кого, кого?

— Костю, — вдруг вспомнил я Фуфлиное имя.

— Костю? — Она посмотрела на меня подозрительно. — Зачем?

Ненавижу врать, да, что тут сделаешь, соврал:

— У нас сегодня... тренировка... в футбол. А он не знает.

— Фу-у-тбол? — удивилась женщина. — А я и не знала, что...

И тут в переднюю вышел сам Фуфло, собственной персоной. Увидел меня и разинул рот.

— Ты чего? — спросил он, когда пришел в себя.

Женщина смотрела на нас во все глаза.

— Ты что, не знаешь, что у нас тренировка сегодня! — заорал я. — Всю команду подводишь!

Фуфло опять разинул рот. Потом закрыл его и хотел что-то сказать, но я ему не дал.

— Пошли, пошли, нечего тут! — снова заорал я и стал толкать и тянуть его к двери, а он снова разинул рот, и так я его с разинутым ртом и вытащил за дверь и сразу ее захлопнул. Но женщина открыла дверь, высунулась и сказала очень ласково:

— Костенька, что же ты мне не говорил, что в футбол играешь?

Фуфло хотел что-то вякнуть, но я ткнул кулаком под ребра.

— Забыл, — мрачно сказал он, и видно было, что он ничего не понимает.

— Это хорошо, Костенька, ты играй, играй, — сказала женщина, а я дернул Фуфлу за рукав, и мы помчались по лестнице.

Внизу он остановился как вкопанный, перевел дыхание и сказал ужасно свирепо:

— В глаз захотел, да? Чего приперся?

Я ему сразу сказал, в чем дело.

— Какой еще сосед? — спросил он. — Со... сед? — Он вдруг запнулся и даже весь позеленел. И ка-а-к рванулся вверх по лестнице.

— Стой! — кричал я. — Ведь ждет же!

Фуфло остановился на площадке.

— Т-ты, знаешь, валяй, иди домой, — хмуро сказал он, — никакого соседа я не знаю.

— Ко мне! — сказал я резко, как говорю Повидле, когда он забегается. И даже правой рукой по ноге себя шлепнул. Такое правило, когда собак зовешь. Смешно, но Фуфло стал спускаться. Подошел ко мне и весь трясется, то есть, может быть, он и не трясся, но вид у него был такой, как будто трясется. И стоит передо мной — длинный такой, неуклюжий, волосы чуть не по плечи, губу нижнюю выпятил, моргает, и от такого, которого я видел в подворотне, когда он приставал ко всем, ни шиша не осталось.

— Ну? — спросил он тихо. — Где ждет-то?

— В садике, на Белинского.

— Черный?

— Черный.

— П-перекошенный?

— Перекошенный.

— Визжит?

— Пищит.

— Он, — сказал Фуфло и вздохнул. Да так вздохнул, что мне его жалко стало. Мой пес Повидло так вздыхает, когда ему тяжело.

— Может, не пойдешь? — спросил я.

— Чего уж, — сказал Фуфло и опять вздохнул, -- пойду.

Мы вышли из парадной на Моховую. Фуфло огляделся по сторонам и пошел к садiku. Я пошел за ним.

— Ты отвали, — сказал он.

Он шел уже своей обычной походочкой и даже посвистывал, но я-то видел, что поджилки у него дрожат.

— Отвали ты, — он вдруг снова затрясся, но уже не от страха, а от злости, — по-хорошему говорю!

— Ладно, — сказал я, — но если что...

— Пошел ты, — сказал Фуфло, и я отстал от него. Отстал, но сам потихоньку пошел за ним: мало ли что — уж больно он испугался, да и тип тот какой-то такой... непонятный. Но того типа в садике не было. Фуфло покрутился немного, стрельнул у кого-то сигарету и пошел на Литейный, а я пошел домой.

Вот эти-то сорок пять минут я и потерял совсем зря. А может, и не зря? Кто знает?

Сейчас, когда день кончился, я почему-то очень здорово все вспоминаю. Прямо как в кино — прокручиваю все снова и вперед и назад. И все так и стоит перед глазами. Наверно, это все-таки дяди Сашин хронометраж помогает так все вспоминать. Вот и дальше я совершенно свободно вспомнил все, что было, когда я отдыхал — от 20.10 до 22.00. Конечно, это мое личное время. И тут никто мне ничего не скажет. Но мне-то самому интересно — потерял я это время или... нашел?

Значит так. В этот район я переехал недавно. В школе этой — всего несколько дней. Ребят знакомых по-настоящему — никого. Скукота. И очень мне вдруг захотелось увидеть Машу Басову. Надо мне было ей кое-что сказать. Она, по-моему, думает обо мне не так, как на самом деле надо думать. Хотя бы с тем антоновским яблоком. На третьем уроке я взял и положил это яблоко потихоньку на парту прямо перед ней, на ее тетрадку. Она вначале удивилась, посмотрела на меня, а я улыбнулся, дескать, это тебе, бери, яблоко хорошее.

— Антоновка, — сказал я.

Яблоко лежало перед ней такое большое, чуть желтоватое, красивое, и от него так пахло, что ребята в классе начали крутить носами и принюхиваться, но никто ничего не увидел, а увидел только Аполоний — есть у нас такой трясучий парень — зануда такая, ко всем цепляется. Маша сперва нахмурилась, а потом тоже улыбнулась и погладила яблоко, и тут этот трясучка прошипел на весь класс:

— Вот из-за этого началась Троянская война.

«Какая еще война?» — подумал я. А Маша сразу отдернула руку от яблока, а потом толкнула его ко мне со злостью. Яблоко покатилось по парте и упало на пол. Я нагнулся, поднял его, положил к себе в карман, вылез из-под парты и дал Аполонию по шее — он через проход от меня сидит, и я легко дотянулся. Дотянуться-то дотянулся, да схлопотал выговор от учительницы, а потом еще всю большую перемену простоял навтыжку перед завучем и слушал разные разговоры про честь школы и про то, что я новенький, а новеньким тем более не положено эту честь марать. Как будто не новеньким — положено. А потом, когда я после уроков остался в классе, чтобы записать свой хронометраж, появилась Маша Басова и опять высказывалась насчет репейника и насчет того, чтобы я не делал из нее посмешище, что и так уже из-за меня все над ней смеются, и чтобы я приберег свои паршивые яблоки для кого-нибудь другого, например, для той новенькой, которая пялит на меня глаза. Тогда я ей сказал, что если я репейник, то она тоже не фиалка, а скорее крапива, и что никто над ней не смеется, кроме этого трясучего Аполония — я со злости даже его имя перепутал — и если на всяких трясучек внимание обращать, тогда вообще надо на край света бежать или удавиться. «Ну и давься», — сказала она, а я сказал, что это ей надо давиться, ведь это она на этого Аполония внимание обращает,

а не я. Тогда она сказала, что по шее-то ему дал я, а не она, значит, это я на него внимание обращаю и что лучше бы я внимание обращал на ту новенькую, которая... Тогда я разозлился и сказал, что, может быть, и обращаю, потому что она по крайней мере не шипит ни на кого, как кошка, и еще сказал, что если для нее антоновка «паршивые яблоки», то она просто чокнутая и ей не яблоками надо питаться, а соломой или верблюжьими колючками. Тогда она сказала, что мне прежде чем приставать, как репейник, ко всяким девочкам, надо вывести свои веснушки и что у ее бабушки есть старинный рецепт... Тогда я сказал... И она сказала. В общем — поговорили!

И вот поэтому мне здорово захотелось встретить ее, чтобы все-таки поговорить по-настоящему. Ну что, в самом деле, чудачка какая-то — что я ей плохого сделал?

Но я так ее и не встретил. Покрутился около ее дома, даже во двор заглянул, но так и не встретил. А ведь еще пару дней назад она мне на каждом шагу попадалась и даже злилась — думала, что я нарочно делаю так, чтобы ее встретить. А я и не хотел вовсе — так случилось, и все. А вот сегодня, когда захотел, — ничего и не получилось, как назло.

Я еще с полчаса покрутился около ее дома, даже подумал: не зайти ли — я ведь уже заходил раза три, но махнул рукой и пошел куда глаза глядят. Шел и думал, как бы мне оставшееся время с пользой убить. Вот сморозил! «Убить с пользой». Я посмеялся над собой и тут увидел ту самую новенькую, про которую Маша говорила, что она... Чепуха это — вовсе она и не пялит глаза специально на меня. Просто она, видно, неплохая девочка и вроде — «свой парень». Лихо она ребят в классе отбрила, когда они хорохорились насчет того, чтобы проучить Венькину — Фуфлину компанию. «Из ста зайцев, — говорит, — не составишь одну лошадь». Ребята даже взвились от злости, а по-моему, она правильно сказала: какие-то они в этом классе не очень организованные и дружные, хотя и говорят все время про дружбу и организованность. Особенно Герка Александров.

Увидел я ее и вдруг подумал: «А что, если я возьму и подойду к ней? Интересно, что получится? А что должно получиться? Охо-хо, Половинкин, — подумал я, — чего-то ты не того...» И подошел.

— Здорово! — сказал я.

— А-а, здравствуй, Семен Четвертинкин, — сказала она и засмеялась.

На шутки я не обижаюсь и поэтому засмеялся тоже.

— Здравствуй, Татьяна Шарикова, — сказал я, вспомнив, что ее фамилия — Шарова.

— Здорово, Восьмушкин, — ответила она.

— Привет, Шарикоподшипникова, — сострил я.

— Салют, Полуторкин, — сострила она.

— Чао... Шарообразникова, — придумал я.

— Салям алейкум... Десятичкин, — придумала она.

Я уже, кажется, выдохся, но она так хитро смотрела на меня, — дескать, а ну, давай, кто кого, что я поднатужился и выдавил:

— Гутен абенд... Воздушношарова!

— Хау ду ю ду, Многодолькин! — выдавила она.

Я понял, что мне ее не одолеть, и засмеялся. Она тоже засмеялась и сказала:

— Ну, остановились? А то я так до периодических дробей дойду. Пока пять—четыре в мою пользу. Так?

— Так, — согласился я.

— Ну, раз так, — сказала она, — тогда здорово, Половинкин. — И протянула мне руку.

Я хлопнул ее по руке и тоже сказал:

— Здорово, Шарова!

— Ого, — сказала она, — с чего это ты стихами заговорил?!

И мы опять засмеялись. Ничего, славная она девчонка, веселая, не то что...

— Куда бредешь? — спросил я.

— Прожигать жизнь, — сказала она.

— Как так?

— Ну, кутить.

— Чего, чего?

— Серый ты, Половинкин, — вздохнула она. — Ну, по мороженому ударить. Айда!

Я свистнул и похлопал себя по карманам.

— Это не беда, — сказала она. — Сам пропадай, а товарища выручай. Пошли!

— Неудобно как-то, — промямлил я.

— Вот уж не думала, что ты пижон, Половинкин, — сказала она насмешливо.

— Ну ладно, — сказал я, — за мной будет. А куда?

Она достала из какого-то карманчика кошелек, взяла меня за руку, высыпала на ладонь мне всю мелочь и начала считать.

— Пятьдесят восемь копеек, — сказала она, — два раза по девятнадцать и двадцать копеек на газировку. Кутить так кутить.

И мы пошли на Литейный в «Мороженое», купили по два шарика разного и сифон газировки. Сели за столик у окна и начали, как она говорит, «прожигать жизнь» и разговаривать на разные темы и, в первую очередь, конечно, о нашем классе — мы ведь оба были новенькими, и нам было интересно узнать, что каждый думает о ребятах и учителях. Кто-нибудь услышал бы нас, сказал бы — вот расплетничались. Но мы вовсе не сплетничали, а просто обменивались мнениями. И в большинстве случаев у нас мнения были одинаковыми, только она как-то очень здорово умела определить человека, будто насквозь его видела. Скажет два-три слова, и все ясно. И так убедительно, что поневоле с ней соглашаешься.

Из учителей нам больше всего понравилась Маргарита Васильевна — Маргоша, как ее в классе зовут. Она у нас классная руководительница, а преподает географию и очень интересно преподает — всегда у нее что-нибудь новенькое, чего и в учебнике нет. И потом, почему-то на нее не хочется смотреть, как на учительницу, а скорее, как на старшего товарища — она все понимает и не задается и разговаривает с ребятами без криков и без всяких там «сю-сю-сю», по-товарищески, как с друзьями, но трепачей и задавал, по-моему, не любит. И правильно! И веселая она, а я думаю, раз человек веселый и умеет шутить и смеяться, значит, он человек хороший.

— Маргоша — золото, — сказала Татьяна, — и хитрая.

— Почему же она хитрая? — спросил я.

— Ну, она по-хорошему хитрая, — сказала Татьяна. — Она нас всех насквозь видит, а любит и уважает, но не «сюсюкает». Верно?

— Верно, — сказал я, — золото. У нее и волосы золотые.

— Ишь ты, — сказала Татьяна, — заметил.

А чего же тут не заметить? Я вообще все красивое замечаю.

— Заметил, — сказал я. — Я и не только это заметил.

— А что ты еще заметил?

— Кое-что заметил.

— Наблюдательный, — сказала Татьяна и усмехнулась. — А ты заметил, на кого этот... как его... Аполоний похож.

— На змея, — сказал я, чтобы не ударить лицом в грязь, хотя почему на змея — и сам не знал.

— Ну уж, на змея, — сказала Татьяна, — на уис-ти-ти он похож, вот на кого.

— На кого, на кого?

— Уистити. Есть такая обезьяна. Она все время дергается, всех раздражает, крутится и так и сяк, чтобы ее заметили, а сама такая несчастная, и когда ее не замечают — она горячими слезами заливается.

Не знаю, может, она и придумала такую обезьяну, но очень уж точно это к Аполонше подходило. Я засмеялся, но в душе мне почему-то даже жалко его стало. Уис-ти-ти!

Про Герку она только одно сказала:

— Сознательный-самостоятельный.

И тут я не понял, то ли она хвалит его, то ли ругает, а больше она о нем говорить не хотела. Вообще, и верно, может показаться, что мы сплетничаем и только чужие недостатки обсуждаем. Неправда это. Наоборот, мы решили, что ребята в классе хорошие, только их немного расшевелить надо.

— А кто мы такие, чтобы их расшевелить? — спросил я, потому что мне пришло в голову, что мы их еще не знаем как следует — мы новенькие, а у них уже давно свой коллектив, а, как говорят, «со своим уставом в чужой монастырь не суйся». Я сказал об этом Татьяне, а она сказала, что поживем — увидим. А потом еще сказала, что вообще-то она зайцев не любит, то есть самих зайцев любит, а вот людей-зайцев нет. Не любит она еще врунов, подхалимов, трусов, ябед, подлецов, нытиков, задавал, воображал, хулиганов, эгоистов, пижонов, жуликов, деляг, зубрил, дураков, нахалов и тех, у кого «моя хата с краю» и «своя рубашка ближе к телу». Словом, всех, кого и не надо любить и которых я сам терпеть не могу, только я их не всегда распознать могу и довольно часто ошибаюсь, и это довольно обидно.

Я ей об этом сказал, и тут она меня огорошила.

— А ты, чтобы не ошибаться, — сказала она, — чаще на себя посматривай.

— Эт-то как п-понимать? — спросил я. — Эт-то что же? Значит, и я тоже?..

— Опять стихами заговорил, — засмеялась она.

Фу-ты ну-ты! Может, и прав был тот старичок, что я стихи сочиняю?

— Ладно, — сказал я, — ты не отговаривайся. Что же, значит, и я...

— Конечно, — сказала она. — Ну-ка, вспомни, разве ты никогда, например, не задавался?

— Вот уж нет! — возмутился я и сразу осекся. Задавался, да еще как. Например, в прошлом году, когда наша дворовая команда первенство района по хоккею выиграла. Как индюк по школе ходил!

— И никогда не трусил?

Я промолчал. Чего уж там. Я иногда только делаю вид, что не трушу, и лезу во всякие происшествия, а на самом деле...

— И не врал?

— И не пижонил?

— И не «химичил» чего-нибудь?

Она продолжала спрашивать, а я готов был хоть под стол залезть.

«Вот так-так, — думал я, — хорош, оказывается, ты гусь, Семен Половинкин-Многодолькин. А еще берешься других людей осуждать». У меня, наверно, была такая дурацкая рожа, что она вдруг перестала задавать свои вопросики, посмотрела на меня и начала хохотать так, что на нас все стали оглядываться.

— Ох, и выраженьице у тебя, — сквозь смех сказала она, — прямо как будто сейчас топиться побежишь. Да ты не расстраивайся. — Она вдруг вздохнула. — Ох, и трудно быть настоящим человеком...

Я как-то об этом никогда не задумывался; какой есть — такой и есть. Жил, в общем, как живется, и не задумывался: кто же я такой на самом деле? Только вот, пожалуй, последнее время и стал задумываться, да и то не очень. И если бы не дядя Саша со своим хронометражем и со всякими другими воспитательными штучками, вроде разных книжек, и если бы не М. Басова со своими закидонами, и если бы не разные происшествия, которые что-то часто со мной стали случаться за последнее время, и если бы... И если бы да кабы... И сейчас тут эта Татьяна! Поневоле задумаешься. Я сидел мрачный-мрачный, и мороженое уже совсем не лезло в меня. А Татьяна ела как ни в чем не бывало и посмеивалась.

— Ну, чего смеешься? — пробурчал я. — Наговорила человеку шут знает что и смеется.

— А ты, кажется, ничего парень, Сеня, — сказала Татьяна. — Мне мой дед говорит, что, если человек начинает задумываться, какой он, значит, еще не все потеряно. Может быть, из него тоже гвозди можно будет делать.

— Какие гвозди? — удивился я.

— Стихи есть такие. Их дед мой очень любит. «Гвозди бы делать из этих людей...»

— ...крепче бы не было в мире гвоздей? Да?

— Ага, — сказала Татьяна. — Знаешь?

По-моему, она тоже удивилась. А я подумал, что вот не иначе опять со мной происшествие — похоже, ее дед — тот самый старичок, который меня в магазине выручил. Но я ничего не сказал. Надо проверить, а потом, если это так, взять да и закатиться к старичку в гости — ведь он меня приглашал. Вот у Татьяны глаза на лоб полезут!

— Хорошие стихи, — сказала Татьяна. — А насчет разных ошибок, так они у каждого бывают. У меня их тоже — вагон и маленькая тележка. Так что ты не расстраивайся.

Ничего, хороший она «парень» — Татьяна. Я растрогался и вспомнил, что у меня в кармане так и лежит яблоко, которое швырнула мне обратно Машка. Я достал яблоко и протянул его Татьяне.

— О-о! Антоновка! — сказала она.

Она сказала это так вкусно, что я немножко повеселел и снова принялся за мороженое. И в самом деле, не такой уж я подонок; есть во мне и кое-что хорошее. Наверно, есть. Надо только... Но что «надо», я так додумать и не успел. За окном на тротуаре, прямо против нашего столика стояла Маша Басова и одним глазом смотрела, как мы улетаем мороженое. Глаз у нее светился зеленым светом, как у семафора. Я даже вздрогнул от неожиданности, и мороженое с ложечки упало мне на штаны. Вообще-то я редко теряюсь, а тут почему-то здорово растерялся, как будто меня поймали на чем-то... на чем-то... Я уставился на Машу, а она вздернула подбородок вверх и, не оглядываясь, ушла.

— Ты чего в окно уставился? — спросила Татьяна.

— Так, — сказал я, — задумался.

— Ах, задумался, — засмеялась она, и я не понял — видела она Басову или нет.

Я вдруг заторопился. Посмотрел на летчиковы часы и сказал, что, пожалуй, пора домой, у меня еще дел невпроворот.

— Пошли, — сказала она.

Мы быстро доели мороженое и вышли. И некоторое время шли по Литейному и молчали. Потом Татьяна посмотрела на меня искоса и тихонько спросила:

— А как тебе Маша Басова? Нравится?

Я даже остановился: что она, мысли читает, что ли? Я начал было что-то мямлить: «да так», «ничего», «так себе», но тут же разозлился на себя — что я, в самом деле, и эту Татьяну боюсь — и решительно сказал:

— Нравится! А что?

— Правильно, — сказала Татьяна. — Она, по-моему, мировая девчонка.

— Ага! — сказал я.

— Я бы хотела с ней дружить, — сказала она.

— Правильно! — сказал я и подумал, что и верно было бы здорово, если бы такие две мировые девчонки подружились.

— Ну, разбежались, — сказала Татьяна, когда мы дошли до угла.

— Я провожу, — сказал я.

— Не надо, я на трамвай — до Мальцевского, — сказала она и протянула мне руку. — Спокойной ночи, Периодичкин.

— Спокойной ночи, Круглошарикова, — ответил я.

Рука у нее была маленькая, но крепкая и теплая.

Я бежал домой и думал, что вот с этой Татьяной совсем запросто можно обо всем поговорить, и пошутить, и посмеяться, а с Машей никак ничего у меня не получается: колючая она какая-то, как ерш. Я засмеялся: она — ерш, а я — репейник. Ну, раз репейник, так я от нее и не отцеплюсь! Вот такие пироги, как говорит дядя Саша.

Все это, весь свой день, я и вспоминал, лежа в кровати. А когда вспомнил, решил, что, в общем-то, все не так уж страшно. Надо быть только более организованным и уметь исправлять свои ошибки.

Да, а зачем это бате понадобился Венька Жук? Не забыть бы завтра спросить. А топиться я не собираюсь. Незачем мне это...

...На следующее утро я запросто сдернул с Мишки одеяло и пошел умыться. А когда вернулся, Мишка опять был под одеялом, закутанный с головой, как в спальном мешке. Я определил, где у него уши, и дернул через одеяло за ухо. Он чего-то забурчал.

— Встанешь? — спросил я.

— Отлипни, — заныл Мишка.

— Твое дело, — сказал я и пошел на кухню. В дверях обернулся и увидел, как Мишка от удивления высунул нос. «Удивляйся, удивляйся, — подумал я, — то ли еще будет».

Ольга почему-то встала самостоятельно, и мы с ней быстро позавтракали. Батю я будить не стал — на столе лежала записка: «Пришел поздно, буду спать до 12-ти».

— Выйди с Повидлой, — сказал я Ольге.

— Чего-о-о? — пропищала она. Но я не стал повторять и стал собирать портфель.

— Я опоздаю, — опять запищала Ольга.

— Не опоздаешь, — сказал я строго.

Она тоже очень удивилась, но взяла поводок и начала надевать на пса. Повидло тоже, по-моему, очень удивился: посматривал то на меня, то на Ольгу и даже повизгивал от удивления. Но я не обращал на них внимания и занимался своим делом.

Они ушли с обиженным видом. Маму я тоже будить не стал и направился в школу. «Приду с запасом, чтобы не опоздать», — решил я. Я уже был в дверях, когда из-за ширмы вышел отец в трусиках и в майке.

— Семен, почему Мишка не встает? — спросил он. — Заболел, что ли?

— А не знаю, — сказал я равнодушно.

— Ты что, не будил его? — удивился отец.

— Будил, — сказал я еще равнодушнее.

— Ну и что? — еще больше удивился отец.

— А ты его спроси, — сказал я.

— Гм-м, — промычал батя. — Интересный разговор. Что это с тобой?

— Ничего, — сказала я и пожал плечами. — Не маленький, пусть к дисциплине привыкает.

Батя внимательно посмотрел на меня и засмеялся.

— Ишь ты! Ну что ж, может, и правильно. Не будить, значит? Опоздает ведь.

— Раз опоздает, два опоздает...

— Ладно, попробуем, — сказал батя и махнул рукой.

— Ну, я пошел, — сказал я и тут же вспомнил, что не спросил про Веньку Жука. Но батя сам спросил у меня очень серьезно:

— Слушай-ка, что он за парнишка, Венька Балашов?

Ну что я ему мог ответить? Я сам его мало знаю. Если не считать двух-трех разговоров... Кто его знает, вроде ничего парень, только злой какой-то и похоже — затюканный.

— А что? — спросил я.

— Видишь, какое дело. Похоже, у него серьезные неприятности намечаются. Хотелось бы знать... — сказал батя задумчиво.

— Это что, я за ним следить должен, что ли? — спросил я. — Ты участковый, ты и следи.

— Ладно, — сердито сказал батя. — Сыпь в школу. А насчет «следить» вечером поговорим. — Повернулся и ушел за ширму. Рассердился.

А в самом деле, что, я на своих ребят капать должен, если у меня отец милиционер? Дудки! И пусть не обижается. А Венька что, Венька — парень как парень. Вон, даже Машка с ним дружить хочет. Правда, может быть, это она мне со злости сказала.

Во дворе я встретил Ольгу. Передник у нее был в пыли и нос в пыли, а коленки расцарапаны. Сама злая и чуть не плакала. А Повидло был ужасно виноватый и подлизывался к ней всячески.

— Ты чего? — спросил я.

— «Чего, чего», — сердито сказала она. — Не могу я с этим... Повидлкой гулять. Увидел на той стороне какую-то шавку — ка-а-к рванет. Я через барьер и через кусты перелетела. И на пу-у-узе через всю Моховую проехала. Вот теперь опоздаю из-за тебя.

Мне стало ее ужасно жалко, и я не выдержал. Взял у нее поводок, вытянул разок Повидло вдоль спины, ухватил Ольгу за руку и понесся с ней домой. Смазал ей коленки йодом, вымыл мордаху, заставил переодеть передник, помог портфель собрать, опять схватил за руку, и мы вместе по-

неслись в школу. И по дороге я думал, что опять у меня что-то не так получается. Мишка-то ведь еще дрыхнет. Несправедливо!

Уже совсем неподалеку от школы мне опять подставил ножку тот вчерашний парень с собачьими зубами и черными, как дырки, глазами. На этот раз я не упал — дерево помогло, я в него и врезался. А тип этот ухватил меня за плечо.

— Опять торопишься, Веснушка, — сказал он.

Дались ему мои веснушки!

— Беги, — сказал я Ольге. — Опоздаешь.

— А ты? — спросила она.

— Я сейчас, — сказал я.

Она побежала, но несколько раз оглядывалась. А у самой школы остановилась и некоторое время смотрела на нас. Видно, что-то ей не понравилось. Я махнул ей портфелем, и она нехотя пошла в школу.

— Ну, чего тебе? — спросил я у парня.

— Ты чего же уговор не выполняешь? — спросил он, оскалившись.

— Да ведь ты же сам ушел! — заорал я. — Я в садик вместе с твоим Фуфлой приходил, а тебя уже не было.

— А ты бы подождал, Веснушечка, подождал бы, — пропищал он. — Так вот давай-ка сейчас сгоняй. А я вон на том углу подожду.

— Да пошел ты! — сказал я. — Я в школу опаздываю. И что я тебе, посыльный, что ли?

Он стиснул мне плечо, как вчера, и тут уж я чуть не запищал. И в это время на той стороне улицы я увидел Веньку Жука, а он увидел меня с этим типом. Он остановился как вкопанный, а потом мне показалось, что он хочет драпануть — как-то он странно дернулся назад и вперед. В общем, явно испугался чего-то. Но потом довольно решительно направился к нам. И тут парень тоже заметил его. Он сразу выпустил мое плечо и устоялся на Веньку. А Жук подошел как-то боком и стал рядом со мной.

— Приехал? — спросил он мрачно.

— Кто приехал? — пропищал парень. — А ты кто такой? Меня знаешь?

Голос у него был такой, что я испугался. Но Венька и бровью не повел.

— Чего тебе от него надо? — спросил он и кивнул на меня.

— А ты кто такой, — опять спросил парень, — чтобы меня допрашивать?

— Ладно, кончай, — отрезал Венька зло, повернулся ко мне и сказал: — Ты иди.

Я хотел кое-что спросить, но он так посмотрел на меня, что я пошел. На ступеньках школы я обернулся и подумал, не вернуться ли мне. Уж больно не понравился мне этот тип. Венька что-то говорил парню, и тот вроде спокойно слушал. Потом Жук махнул рукой, и парень пошел от него прочь. А Венька, словно раздумывая — идти ему или не идти, — нехотя направился в школу.

Глава третья

В вестибюле я глянул на часы: до звонка еще пять минут, и я решил подождать Веньку. «Что-то тут странное, — думал я. — Жук этого парня знает, это уж точно. Может, ему действительно помочь надо. Уж

очень он мрачно и расстроено выглядел». Венька вошел в вестибюль, и я спросил его:

— Ты этого типа знаешь, что ли?

— Никого я не знаю, — буркнул он и начал подниматься по лестнице.

— Слушай, он Фуфлу знает, — сказал я, шагая за ним.

Венька остановился.

— Чего пристал?! — сказал он сквозь зубы. — Отвали! — И побежал наверх.

А потом на всех переменах он сразу выходил из класса, и я нигде не мог его найти. На последний урок он и совсем не пришел. А в школе, если честно говорить, мне было, в общем-то, не до него, потому что уважаемая Маша Басова выкинула такой номер, что я даже растерялся. И не один, а целых три номера.

Во-первых, она пересела на другую парту. Ушла от меня. Устроила какой-то там обмен, в результате которого со мной рядом оказался ухмыляющийся Аполошка, а сама она уселась на первую парту со своим Герасимом-Германом — Г. А., как она его называет. То, что она пересела и со мной даже не поздоровалась, — это ее дело. А вот то, что я мешал ей заниматься, — это уже не только ее дело. Она сказала об этом Ренате Петровне (литература), когда та спросила ее, почему она пересела.

— Это правда, Половинкин? — строго спросила Рената Петровна.

— Правда, — сказал я. — Наверно, правда. Раз она говорит.

— Хорошо, что ты признался, но плохо, что ты, едва придя в н а ш у школу, уже начинаешь мешать. Учти, н а ш а школа... — И минут пять она говорила о том, к а к а я это замечательная школа, и как надо дорожить ее честью, и к а к и м надо быть, чтобы стать достойным этой чести, и что она надеется — коллектив возьмет меня в работу.

— Я его возьму в работу, — сказал Аполоний.

Все заржали, а Рената сказала, что ничего смешного нет и Феофилактотов хотя тоже новенький, но, кажется, серьезный человек.

— Я серьезный, — сказал Аполошка, — и я беру обязательство исправить Половинкина к концу первой четверти.

— Надо раньше, — сказала Рената Петровна.

— Я хотел сказать, — Аполошка поднял палец, — до конца первой четверти. До!

— Правильно! — сказала Рената Петровна.

У меня аж скулы свело от злости. Я стоял, как болван, и даже вlepить этому трясучке не мог. А все ухмылялись, и Машка, по-моему, даже хихикала.

— Уис-с-с-тити! — прошипел я сквозь зубы.

Аполошка вначале сделал круглые глаза, а потом вдруг изо всей силы хлопнул меня по спине.

— Ты чего?

— В чем дело? — спросила Рената.

— Он подавился, — сказал этот змей.

У Ренаты от удивления брови спрятались под прическу.

— Чем подавился? — спросила она.

— Яблоком, — сказал уистити.

Тут уж Машка захохотала, а Рената Петровна еще минут пять читала мне мораль о том, как нехорошо есть яблоки на уроках.

«Ну, погоди, обезьяна лопаухая, — думал я, — ты у меня еще не так трястись будешь». И строил всякие планы и, конечно, ничего не слышал,

что было на уроке, и схватил еще одно замечание. Но, несмотря на это, я твердо решил по шее этому змею больше не давать, а, наоборот, делать вид, что мне тоже очень весело. Как только прозвенел звонок и Рената Петровна вышла из класса, ребята окружили нас с Аполошкой — думали, наверно, что будет небольшая драчка. Но я сказал Апологию:

— А ты ничего парень, веселый. Давай пять.

Аполошка здорово удивился.

— Ты молодец, — продолжал я, — остроумный. Вот бы мне так. А то я ненаходчивый какой-то. Вот ты бы меня и поучил — раз уж взял шефство, а? А то я совсем тюфяк какой-то.

Апологий полупал глазами, а потом захихикал от удовольствия. Повесил. Он похлопал меня по плечу и сказал очень важно:

— Положись на меня, Половинка. Со мной ты станешь человеком!

И я пожал его руку, а ребята смотрели на меня с сожалением. Решили, наверно, что я дурачок какой-то. А Машка даже кулаком по парте стукнула со злости и опять назвала меня не то Караваевым, не то Каратаевым. Она второй раз меня так называет — первый, когда я пришел к ней насчет Веньки Балашова поговорить, а второй — сейчас. Надо будет узнать у кого-нибудь, кто такой этот Караваев-Каратаев. Спрошу у дяди Саши, пожалуйста. А уистити-Аполошку я и сам пе-ре-вос-пи-таю. И думаю, не я с ним, а он со мной человеком станет. А Маша... Маша... ну, что ж Маша...

Немножко меня утешило, что Татьяна на перемене подошла ко мне и сказала, что я вел себя совершенно правильно.

— Игон... игно-ируй, — сказала она.

— Что, что?

— Не обращай внимания, значит. Будь выше.

— Ага, — сказал я.

— С такими — так и надо. Тогда они отлипнут.

Я хотел ей сказать, что еще сделаю из этой уистити человека, но ее зачем-то позвал наш Великий Староста — Герасим-Герман-Герка — Г. А., и она отошла. Интересно, почему это я, кажется, начинаю злиться на этого Г. А.? Он ведь ничего мне не сделал, наоборот, даже и внимания на меня не обращает, будто меня и в классе совсем нет. Мне, конечно, на его внимание начихать, но почему-то я все-таки злюсь.

Я не успел про это додумать, как Маша Басова выкинула второй номер. Ко мне вдруг подошли Зоенька и Юлька — есть у нас такие волнистые попугайчики-неразлучники: все время парой ходят и чирикают.

— Сеня, — прочирикали они хором, — мы тебе что-то хотим сказать.

— Валяйте, — сказал я.

— Ты нам нравишься, Сеня, — сказали они и опустили глазки.

— Вот еще... — сказал я.

— Правда, правда, — сказали они, — ты очень, — они хихикнули, — очень-очень-очень... мужественный и добрый. И ты нам нравишься.

— Очень приятно, — сказал я.

— Мы тебя приглашаем в кафе-мороженое, — сказали они.

— Спасибо, — сказал я вежливо, — но я занят.

— Ах-ах-ах, — прочирикали они, — какая-какая-какая жалость! А мы так-так-так надеялись.

— Он стесняется, — услышал я за спиной чей-то ехидный голос.

Обернулся, а там стоит М. Басова и ухмыляется во весь рот. И я почему-то только сейчас заметил, что на глазу у нее нет повязки. Ничего, с двумя глазами она тоже выглядит неплохо. Даже лучше, чем с одним.

— Он стесняется, — повторила Маша.

— Но почему же? — хором прочирикали попугайчики.

— У него, наверное, нет денег, а мороженое он очень любит. Прямо жить не может без мороженого. Уж я-то знаю.

Ах, вот в чем дело. Ну, ладно, М. Басова, посмотрим, что ты сейчас скажешь. И когда Зоенька и Юлька, или Юленька и Зойка — как их там — пропищали хором, что раз они меня приглашают, значит, они и угощают, и что это обязательно, чтобы обязательно мальчик в наше время угощал, я сказал совершенно спокойно:

— Верно, верно, это Маша здорово заметила — я очень люблю мороженое. Прямо жить без него не могу. И я вас сам приглашаю в девятнадцать ноль-ноль в кафе-мороженое «Гном» на Литейном проспекте. Насчет денег не беспокойтесь — я угошаю. Маша, и ты, конечно, тоже приходи. — Я поклонился, как рыцарь какой-нибудь, и даже ножкой шаркнул.

Девочки раскрыли рты, а у М. Басовой глаза стали как щелочки и нос сморщился. Как будто сейчас чихнет.

— Будь здорова, — сказал я, и она, наверное, от неожиданности действительно чихнула. Девчонки фыркнули, а я только зубы стиснул, чтобы не рассмеяться.

— Вы идите, — свирепо сказала Машка девчонкам. — А мне этому ррррыцарю паррру слов сказать надо.

Зоенька и Юлька, хихикая, отошли, а М. Басова надвинулась на меня, как грозовая туча.

— Опять твои штучки?! — зашипела она.

— Какие штучки?

— Такие!

— Я по-хорошему.

— Ты со всеми по-хорошему!

— Не со всеми.

— И всех яблоками угощаешь. Тебя мороженым, а ты яблоками... чужими.

— Почему чужими???

— Ты в «Мороженом» Татьяне мое яблоко отдал.

— Ты же его не взяла.

— Мало ли что!

— Знаешь, Басова, — сказал я, — ты, по-моему, все-таки... чокнутая.

На этом разговор кончился. Я опять нарочно поклонился — уж рыцарь, так рыцарь — и отошел. А потом обернулся и сказал:

— Так я жду в девятнадцать ноль-ноль. «Гном». Запомнила?

Она ничего не ответила, и я посмотрел на нее. У нее был какой-то странный вид: не то она заплакать собиралась, не то засмеяться. И она была такой... такая... что у меня даже сердце вдруг екнуло. Мне захотелось сказать ей что-нибудь хорошее, но я выдержал и ушел. «Один — один», — подумал я. А третий номер, который она отколола, опять оказался в ее пользу, хотя, впрочем, как считать...

На большой перемене в коридоре меня подозвали к себе Татьяна, Гриня Гринберг, Коля Матюшин и Петька Зворыкин. Они стояли у окна и о чем-то спорили. Когда я подошел, Гринька сразу спросил:

— Что ты все-таки думаешь насчет Веньки Балашова и его компании?

— Их надо в бараний рог скрутить, — сказал Петька Зворыкин.

— Шпаги наголо, господа, так, что ли? — спросил я, вспомнив, как Гриня кричал тогда в классе.



— А что ты предлагаешь, — закипятился он, — прощать им все, да? Машке фонарь подвесили. На Моховой проходу от них нет, а мы терпим!

— Из ста зайцев... — начала Татьяна.

— Хватит, — мрачно сказал Коля Матюшин. — Надо обсудить.

— Чего обсуждать! — завопил Зворыкин. — Собраться и врррезать им кэээк следует!

— Хвалилась синица море поджечь, — сказала Татьяна.

— Слушай, Шарова, — сердито сказал Гриня, — в самом деле, хватит нас пословицами удивлять. Не такие уж мы рохлики.

— Кто? — спросила Татьяна.

— Рохлики. От слова «рохля», — объяснил Гриша. — А ты, вместо того чтобы хихикать, предложила бы что-нибудь.

Татьяна стала сразу ужасно серьезной и сказала:

— Предлагаю организовать... С... О... Р.

— Чего, чего? — спросил Петька.

— СОР. Союз отважных рохликов, — сказала Татьяна.

Я засмеялся. Петька надулся. А Гриня сперва вроде обиделся, а потом махнул рукой и тоже засмеялся.

— Уж лучше БОР — боевой отряд рохликов, — сказал он, — а то СОР плохо звучит.

— Дремучий бор, — мрачно сказал Матюшин.

И тут все наперебой стали придумывать названия.

МОР — могучий отряд рохликов.

ЛОР — летучий отряд.

ГОР — гневный...

— Чепуха собачья, — сказала Татьяна. — «И как вы ни садитесь...»

— Опять пословицы, — сказал Матюшин.

— И почему собачья? — спросил я. — У меня есть собака...

И тут мне в голову пришла великая мысль: надо злить Повидлу. Натаскивать. Пусть рычит и показывает

зубы. Клыки. Говорят, есть такие собаки, которые очень добрые, но охотятся на львов. Повидло — гроза Моховой! И пусть всякие шпаны берегут свои штаны! Ха-ха, опять стихи...

— Я не хотела обидеть собак, — сказала Татьяна. — Собаки...

— ...лучшие друзья человека, — сказал Матюшин. — Мне надоели твои... цитаты.

— Шарова, — сказал Гриня, — дело серьезное, а ты к нему относишься несерьезно.

— А чего это ты заговорил, как наш великий староста Герасим? — спросил я Гриню.

— Между прочим, — сказал Матюшин, — не мешало бы и его позвать.

— Дудки, — сказал Петька Зворыкин.

— Он по этому поводу пять собраний проведет, — сказал я.

— И примет решение, — сказал Гриня, — пойти в штаб ДНД и спросить у них — что они смотрят.

— И получится пшик, — сказал Зворыкин.

— Пшик, — сказал я.

— Хватит пшикать, — рассердился Матюшин. — Решайте, что будем делать, или я пошел.

— Ага, — сказала Татьяна, — кажется, вы разозлились. Есть план.

— Ну? — сказали все мы хором.

— Нужно смеяться, — сказала Татьяна.

— Ха-ха, — сказал Зворыкин.

— Петьку мы исключаем, — сказала Татьяна.

— Почему?! — завопил Зворыкин.

— У тебя нет чувства юмора.

— У меня?!

— У тебя. Нет.

— Ну и ладно. Зато... я драться могу.

— Не драться! — строго сказала Татьяна. — Кулаки — это слабость.

А мы сильнее. Мы будем смеяться.

— Я, кажется, тебя понял, Шарова, — сказал Гриня. — Ты молодец!

— А я что говорил?! — сказал я.

— Ты ничего не говорил, — сказал Матюшин, — ты только хлопал ушами.

— Ну и хлопал, — сказал я.

— Не отвлекайтесь, — сказал Гриня. — Изложи, Шарова.

— Мы будем смеяться, — сказала Татьяна. — Они — лопухи. И они от нашего смеха завянут.

— Гы! — выдал Зворыкин. — Ты что... того?

— Петя, — ласково сказала Татьяна, — все знают, что ты в классе самый сильный, самый смелый, самый веселый и самый умный.

— Да брось ты, — сказал Петька, и рот у него разъехался до ушей.

— Да, да, — сказала Татьяна, — об этом даже в «Вечернем Ленинграде» писали.

Мы все заржали, и до Петьки, кажется, дошло. Он сказал:

— Ну и ладно. А я их бить буду.

— Или они тебя, — сказала Татьяна.

— Партизан-одиночка, — сердито сказал Гриня. — А как мы будем смеяться, Шарова? Хором или по одному?

— При любом случае и по любому поводу, — сказала Татьяна. — И хором и поодиночке.

— И будем мы называться РС, — торжественно сказал я.

— Как? — спросил Матюшин.

— Я знаю, — сказал Петька, — РС — это реактивные снаряды. Так «катюши» в войну назывались. Вззззз! Бумц!

— Ничего подобного, — сказал я, — РС — это рохлики смеются.

— Отлично! — сказал Гриня. — Но все-таки нельзя допускать партизанщины. Неорганизованной. Надо, пожалуй, согласовать это с пионерской организацией.

— Я согласую, — сказал я, вспомнив, кто у нас председатель совета отряда (М. Басова).

— Ох! — сказала Татьяна. — Уж лучше я согласую.

— Ах! — сказал я. — Не понимаю...

— А я понимаю, — сказал Зворыкин, ухмыляясь. — Он...

— Он будет у нас командиром, — быстро сказала Татьяна.

— Он новенький, — сказал Матюшин.

— А ты старенький, — сказала Татьяна. — Кто за?

Все подняли руки. Даже Петька. Он, в общем-то, неплохой парень.

— Кто против? — спросила Татьяна уже просто так.

— Я! — сказал кто-то сзади.

Вот так! Конечно, это была М. Басова. Я знал, что она в долгу не останется.

— Ты все слышала? — спросил ее Гриня Гринберг.

— Я ничего не слышала, — сказала Маша, — но вы его куда-то выбрали. А его нельзя выбирать.

— Почему? — спросил Гриня.

— Его никуда нельзя выбирать, — продолжала Басова. — Во-первых, он слишком добренький. А значит, он не будет требовать как следует. Во-вторых, у него... как это... а-мо-раль-ное лицо.

Еще новости! Лицо у меня как лицо. Разве только веснушки, будь они неладны. И при чем здесь мое лицо — в общественном деле?

— А что, обязательно красавчиком надо быть? — спросил я. — Как...

— Вот, — сказала Басова, — вы же сами видите, что, кроме всего, у него не хватает... как это... ин-тел-лек-та. Он не-ин-тел-лек-туальная личность.

Ладно, заведу себе записную книжку и буду записывать:

Эмоции (?)

Караваев-Каратаев (?)

Троянская война (?)

А-мо-раль-ное лицо (?)

Не-ин-тел-лек-туальная личность (?)

И какая разница между лицом и личностью — все узнаю! И научу этим словам своего Повидлу. И он ее — М. Басову — растерзает, раздраконит в мелкие клочки и закопает их у Петропавловской крепости в глубокую-глубокую яму. А я посажу там репейник и раз в неделю буду приходить туда и рыдать. Не буду рыдать! Буду смеяться.

Этого всего я не сказал, а только подумал, но так посмотрел на Марию Басову, что она икнула. Ничего она не икнула, а продолжала как ни в чем не бывало. И сказала такое, что тут уж я икнул.

— Вчера, — сказала она, — я видела, как его за плечо вел милиционер! И что-то строго ему говорил. На Некрасова, угол Чехова. А милиционеры зря за плечо не водят.

Все посмотрели на меня.

- Вел? — спросил Матюшин.
- За плечо? — спросил Гриня.
- Влип? — спросил Петька.

Татьяна молчала.

— Влип, — сказал я, — вел, — сказал я, — за плечо, — сказал я и ушел. И даже не обернулся — так мне вдруг стало обидно. Сразу вспомнил ту девчонку в старой школе.

...12.15 — Ушел с уроков.

12.25 — Пришел домой.

Никого нет. Это хорошо.

12.25 — 12.26 — Поддал под зад Повидлу.

12.26 — 13.00 — Лежал на диване. Думал. Непроизводительно. Ну и шут с ним.

13.00 — 13.10 — Смотрел в зеркало. Лицо как лицо.

...Она как-то сказала, что будет дружить с Венькой Жуком. Ну и дружи, сказал я тогда, и правильно. Может, это ему поможет. Опять стихи: может — поможет... Гвозди бы из этих людей делать... А я, наверно, не гвоздь. Дал еще раз Повидле. Он удивился. Вот ведь что — удивился, а не обиделся, а я чуть... чуть... не заревел. «Репортаж с петлей на шее». Фучик бы не заплакал и вообще не так бы себя вел. Пойду-ка я к дяде Саше летчику. Поговорю с ним. С бате́й-то не больно поговоришь. Ему все некогда. У него — то тунейды, то «политуришки», то еще почище... Был бы летчиком или, как у Машки, профессором — тогда бы поговорили...

Я постучал.

— Входи, — сказал дядя Саша.

Я вошел и поздоровался.

— Привет, — сказал дядя Саша, — садись, возьми книжку или так сиди. Я сейчас письмо кончу, а потом — к твоим услугам.

Он долго писал письмо. Я взял книжку, но не читал. Смотрел на него. Он писал и даже иногда губами шевелил, и морщился, и головой потряхивал, и ручку откладывал, и лоб себе тер. Потом кончил писать. Встал, засунул руки в карманы, постоял, посмотрел на письмо, взял его и разорвал и обрывки в карман засунул.

— Чего скажешь? — спросил он.

— Зачем вы письмо разорвали? — спросил я.

Он ничего не ответил. Походил немного, посвистал, посмотрел на меня как-то странно, открыл ящик в столе, достал фотографию оттуда и сунул ее мне под нос.

— Красивая? — спросил он.

— Зачем вы письмо разорвали? — опять спросил я.

— Нравится? — спросил он, кивнув на фотографию.

— Здорово! — сказал я.

И верно, здорово. Не знаю уж, как сказать. Улыбается, а грустная. Волосы рукой поправляет, чтобы не разлетелись, и смотрит прямо в глаза.

— Что ты понимаешь, — пробурчал дядя Саша.

— Понимаю, — сказал я и почему-то вздохнул.

— Ну, ну. — Он посмотрел на меня сверху вниз, прищурился и спросил: — Чего стряслось?

— Почему вы письмо порвали? — еще раз спросил я.

— Слушай, ты, настырный тип, это не твоего ума дело.

— Ну и ничего у меня и не стряслось, — сказал я.

— А ты к тому же еще вредный тип, — сказал он сердито. — Ты же

мне ничем не поможешь, зачем же я перед тобой свои болячки ковырять стану.

— А зачем вы тогда мне эту фотографию показывали? — рассердился я.

— А верно, зачем? — засмеялся дядя Саша. — Чем ты мне поможешь?

— А может, и помогу, — сказал я.

— Да, — сказал он, — я знаю. У тебя такой характер — ты помогать любишь. — Он задумался. — Слушай, я... глупый, наверно...

— Ну что вы, — сказал я вежливо.

Он засмеялся.

— Спасибо, — сказал он. — Чем черт не шутит. Ты такой. Тебе люди должны верить.

— Спасибо, — сказал я.

Он опять засмеялся.

— Ну, и гусь ты, Сенька, — сказал он, — вот уж гусь! Э-э! Была не была. Глупо, конечно, но... Ты свободен сейчас?

— Ага.

— Вот тебе адрес. Позвони три раза. Тебе откроют. И ты скажи, что я... не могу. Азаренков не может.

— Чего вы не можете?

— Ты мужчина или кто? — спросил он сердито. — Ну, а мужчина не должен быть слишком любопытным. Скажи, что Азаренков не может. И все.

— Ладно, — сказал я и пошел к двери.

— Слушай, а что все-таки у тебя стряслось? — спросил он вдогонку.

— А вы мужчина, дядя Саша? — спросил я.

— Гусь ты!

— Ага, — сказал я и отправился на Литейный.

...Она и верно была очень красивая. Как М. Б., если честно, то даже лучше. Почему дядя Саша решил, что я ничего не пойму? Очень даже я понимаю. Только Машу не очень понимаю. Ну, может, еще пойму. У меня все впереди, как говорит Ангелина Павловна.

— У-у, какие у тебя отличные веснушки, — сказала та красивая.

— Веснушки как веснушки, — сказал я.

— Конечно, — сказала она. — Значит, Азаренков не может?

— Ага, — сказал я.

— А я могу? — спросила она.

— Не знаю, — сказал я.

— Слушай, — сказала она шепотом, — тебе нравится какая-нибудь девочка?

— Нра... то есть нет... то есть... — сказал я.

— Ну, раз «то есть», тогда ты меня поймешь. Я не хочу его видеть. Твоего Азаренкова. Который — сам не пришел. А прислал какого-то парня с веснушками — не сердись, они тебе идут. А он пусть летает. На тебе персик и скажи ему, что я тоже не могу...

Я обрадовался. Раз и она не может...

— ...не могу его видеть, — докончила она.

Я разозлился.

— Ну, и зря! — сказал я.

— Нет, не зря! — сказала она и даже ногой топнула.

Обратно домой я шел какой-то немножко грустный. И даже не из-за себя, а вообще какой-то грустный. И злой. Не мое, конечно, дело, что там

у них вышло, но просто обидно: дядя Саша — мировой дядька и она тоже, а вот чего-то не получается. Чего-то им мешает. Совсем как у меня. Только им легче — они взрослые!

А вот какого лешего я с последнего урока ушел? Подумаешь, обиделся! Ведь никто же не обязан знать, что тот милиционер, который меня за плечо вел, — мой отец. И почему я сразу не сказал им этого? Тогда и обижаться мне было бы нечего. Почему не сказал, а? Гордость не позволила? Ну, и тип ты, Половинкин! И до того я разозлился на себя, что решил сразу же пойти к М. Басовой и, наконец, объяснить ей все начистоту. Домой к ней пойти. Не выгонит! У нее дома ко мне все хорошо относятся. Надо будет — и при всех все скажу. Так, мол, и так. Припру ее к стенке и скажу, чтобы она не больно-то воображала — заноза одноглазая! И я, забыв, что меня ждет дядя Саша, решительно пошел к Басовой. И решительно позвонил. Дверь мне решительно открыла бабушка, и я вошел.

— Здравствуйте, — сказал я решительно. — Маша дома?

— О-о-о! — запела бабушка. — Наш юный рыцарь! Здравствуйте, здравствуйте, проходите, проходите, очень рады, очень рады, а Машенька еще не приходила из школы.

«Вот лопух», — подумал я про себя, и куда-то моя решительность испарилась.

В переднюю выглянул Машин отец.

— А-а-а! — сказал он. — Семен. Здравствуйте, Семен. Очень приятно, — и он протянул мне руку.

И я, как осел, тоже сказал, что и мне очень приятно. Они переглянулись и засмеялись.

— Ну, раз приятно, — сказал папа, — проходите. Дело в том, что Оля... Ольга Васильевна, наша мама, уезжает в Москву в командировку, и Маша пошла ее проводить. Но, — он посмотрел на часы, — она уже скоро должна прийти. А мы пока побеседуем.

— Да нет, спасибо, я в другой раз, — забормотал я.

— Нет, нет, мы вас не отпустим, — захлопотала бабушка, — такой редкий гость...

— И в самом деле, Семен, куда вы пропали? — спросил папа. — Маша сказала, что вы с ней оказались в одном классе. Это отлично!

— Отлично, — сказал я и подумал, что, когда слишком много вежливости, это тоже тяжело.

— Прекрасно, — сказала бабушка, — сейчас я угощу вас тортом и яблоками, а там и Машенька подойдет. Она к вам очень хорошо относится и переживает...

«Вот новости», — подумал я и спросил:

— Что переживает?

— Да, да! — сказал Машин папа, хлопнув себя по лбу. — Какие мы невоспитанные, черствые и невежливые люди!

«Куда уж там — невоспитанные», — подумал я.

— Да, да! — сказала бабушка. — Мы даже не поинтересовались, как ваш...

— Что мой? — спросил я.

— Как ваш... — сказала бабушка, но Машин папа кашлянул, и она почему-то смутилась. — Как ваше... здоровье, хотела я спросить.

Я удивился: при чем тут мое здоровье?

— Отличное здоровье, — сказал я.

— Ну, и прекрасно, и прекрасно, — запела бабушка.

За всеми этими разговорами мы все-таки оказались в комнате.

— Садитесь, — сказал папа.

— Ничего, спасибо, я ведь на минутку, — сказал я.

— Садитесь, садитесь, — сказал папа.

— Да нет, спасибо, — сказал я.

— Сиди... — начал папа в третий раз, но бабушка перебила его:

— Ну, Гриша, милый, как вы не понимаете, что... — Она помахала рукой где-то сзади себя и... понижее спины.

— Ах, да, да, да, — сказал Машин папа, — склероз, склероз... Извините, Сеня, вам, конечно, удобнее стоять.

Я ничего не понимал — почему мне удобнее стоять? Они меня совсем заговорили, и я даже не заметил, как в одной руке у меня оказался кусок торта, а в другой огромное яблоко. Деться было некуда, и я давился то тортом, то яблоком, думая, как бы съесть все это поскорее, пока не пришла Машка. И, конечно, она пришла, когда я запихнул в рот последний кусок торта и старался протолкнуть туда же последний кусок яблока. Я, кажется, возненавижу скоро эти яблоки!

— Вот и Маша! — воскликнул папа обрадованно. — Ну, как? Посадила?

— Проводила? — спросила бабушка.

— Посадила, проводила, расцеловала и ручкой помахала, — затараторила Маша весело и тут заметила меня.

— А-а, Сенечка, привет, — сказала она очень ласково и как ни в чем не бывало.

— М-м-мбубет, — сказал я.

— Что с тобой? — испугалась она. — Зубы?

— М-м-мбет, — сказал я.

— Насморк?

Ох, провались ты, заноза, через все три этажа!

— Б-бам-буммм, — сказал я и помотал головой.

— Ах, яблоко! — догадалась она. — Ну какие же вы молодцы! — Она посмотрела на своих родичей. — Как вы догадались, что он оч-чень любит яблоки?

Я наконец проглотил это чертово яблоко. Зол я был до того, что коленки дрожали, но вместе с тем мне почему-то было и смешно. «Ну, ладно, — подумал я, — главное не растеряться».

— Очень вкусное яблоко, — сказал я. — Спасибо. И торт очень вкусный. Спасибо. Хорошо, что ты пришла, Маша. Я вообще-то не к тебе зашел, а к Григорию Александровичу, но раз уж ты пришла, я тебе напомним — в девятнадцать ноль-ноль в кафе «Гном». — Я мельком глянул на нее: по моему, у нее из глаз летели искры!

Я повернулся к ее папе.

— Григорий Александрович, — сказал я, — вы не можете уделить мне несколько минут?

— К-к-конечно, п-п-пожалуйста, — сказал Машин папа, — п-п-прошу. — И он показал на дверь своего кабинета.

Я, не оглядываясь на М. Басову, прошел в кабинет. Проходя, я услышал, как засмеялась бабушка и что-то зашипело, как на сковородке. Это шипела М. Басова.

— Садитесь, — сказал Машин папа, но тут же быстро добавил: — Впрочем... э-э-э... можете... стоять.

Но я с размаху плюхнулся на стул.

— Ой! — сказал Григорий Александрович и сморщился, как от зубной боли.

— Извините, — сказал я, — но он крепкий, кажется.

— Д-да? — неуверенно спросил Машин папа. — Н-ну, вам виднее. — И посмотрел на меня с уважением.

«Что-то они сегодня какие-то странные», — подумал я.

— Итак, чем могу служить? — спросил Машин папа.

Я не знал чем.

— Да вы не стесняйтесь, Семен, — дружелюбно сказал Машин папа. — Выкладывайте.

И тут я придумал. Он ведь человек очень образованный, и почему бы мне не спросить его кое о чем.

— Вы все знаете, Григорий Александрович, — сказал я, — а я не очень. Я хочу вас спросить о... про некоторые слова.

— Сократ говорил, — сказал Григорий Александрович, — что я знаю твердо только то, что я ничего не знаю. Но если вы думаете, что я могу вам помочь...

— Думаю, думаю, — быстро сказал я и достал из кармана листочек, на котором у меня было записано:

- 1) Эмоции (?)
- 2) Троянская война (?)
- 3) Караваяев-Каратаев (?)
- 4) Аморальное лицо (??)
- 5) Неинтеллектуальная личность (???)

Он прочитал все это несколько раз, потом опустил очки на нос и внимательно посмотрел на меня.

— Гм-м, — сказал он, — любопытный, я бы сказал, набор... А... а за чем вам, собственно, это?

— Так, — сказал я, — для расширения кругозора.

— Гм-м, — опять сказал он, — ну что ж...

И начал потихоньку объяснять. А потом сам ужасно увлекся. Бегал по комнате, размахивал руками, доставал с полок разные книжки. В общем, по всем вопросам прочитал мне целые лекции. И все рассказывал очень интересно, доходчиво и с наглядными пособиями. Я слушал разинув рот, но не думайте, что я буду пересказывать все, что он мне говорил. Только для памяти отмечу самое главное.

Э м о ц и и — это, оказывается, разные чувства. Только не запах там, вкус или цвет, а, например, горе, радость, злость, веселье, зависть и... любовь, например. А я-то думал, что «эмоции» — это из радиотехники что-нибудь.

И еще он сказал, что эти самые эмоции бывают положительные и отрицательные. К положительным надо стремиться, потому что они увеличивают срок жизни, а отрицательные, наоборот, укорачивают, и поэтому от них надо бегать, как черт от ладана. Злость, обида, страх и другое в этом роде — это отрицательные. Поэтому, если не будешь злиться, обижаться, бояться и так далее — проживешь сто лет или даже больше. Здорово интересно, но попробуй-ка! И потом, если человек не злится, не обижается, не ненавидит кого-нибудь или чего-нибудь, то он, по-моему, просто жизнерадостный рахитик, и толку от него никакого не будет.

Я сказал об этом Машину папе. Он засмеялся и сказал, что чувствами, то есть эмоциями, надо уметь управлять, ре-гу-ли-ро-вать их... Я сказал, что, мол, попробуй от-ре-гу-ли-руй свои эмоции, если, скажем, тебе

в ухо дали. Что же, надо улыбнуться и сказать спасибо и второе ухо подставить? Он опять засмеялся и сказал, что все это зависит от конкретной ситуации. Я спросил, что это значит, тогда он махнул рукой и сказал:

— Извините, пожалуйста, что я употребляю такие выражения, но в данном случае это означает: когда? где? зачем? почему? и за что? За что вам дали по уху. Понятно?

— Понятно, — сказал я, хотя не очень понял, какая, например, разница, где тебе дали по уху — в подворотне или на лестнице? Дали, и все!

Тут он сказал, что вопрос о том, надо ли подставлять левое ухо, если тебе дали по правому, прямо относится к третьему пункту моего списка, а именно к Караваеву-Каратаеву. Поэтому он перескакивает через пункт второй — о Троянской войне — и попытается объяснить мне, кто такой Платон Каратаев и что такое каратаевщина как социальное и психологическое явление.

— Ух! — сказал я.

— Ах! — сказал он. — Простите, пожалуйста, я, кажется, опять увлекся. А что, собственно, вам нужно знать про Каратаева?

— Да кто он был такой? — сказал я.

— Он был солдат, — сказал Машин папа.

«Ну, это ничего, — подумал я. — Солдат — это совсем неплохо».

— Но он был не совсем обычный солдат, — сказал Машин папа.

— Герой? — спросил я.

— Н-не совсем, — сказал он. — С одной точки зрения... — Он покрутил в воздухе рукой. — А с другой точки зрения... Вы читали гениальный роман Льва Николаевича Толстого «Война и мир»?

— Кино видел, — сказал я, — а читать не читал.

— Н-ну, кино... это не совсем... гм-мм... Видите ли, все это очень сложно, но в двух словах можно сказать так...

И тут он прочел мне лекцию о Л. Н. Толстом. О том, что он думал о жизни, и про этого солдата Каратаева. Я слушал и качал головой, но в самой голове у меня стояли туман и каша, и, кажется, я понял только одно, что этот солдат и в самом деле был какой-то чудак, он как раз и считал, что если тебе дали по одному уху — надо сразу сказать спасибо и подставить второе. Тогда тому, кто тебе дал по уху, станет стыдно, его ну просто заест совесть, как это он такому доброму человеку съездил по уху, и он больше никогда никого не будет трогать. И если все будут так поступать, то на земле будет мир и справедливость.

— Дудки, — сказал я, — не согласен! Как же! Заела бы фашистов совесть, если бы мы им не наклали как следует?!

Машин папа засмеялся и сказал:

— Вы поняли все совершенно правильно, хотя все это значительно сложнее. Перейдем к следующему вопросу. Что такое «аморальное лицо».

Он опять начал долго объяснять, но тут я довольно быстро понял, что это никакого отношения к лицу, то есть к... рожу не имеет. И к веснушкам тоже. А имеет отношение к тому, какой человек есть. Человек, у которого аморальное лицо, — плохой человек. Гад и подлец. Вот что я понял. Очень хорошо!

Теперь послушаем, что такое «неинтеллектуальная личность». Тут, оказывается, совсем просто. «Интеллект» — это, оказывается, ум и способности человека. И если человек «не-ин-теллектуальная личность!» — значит, у него ни ума, ни способностей нет. Короче — балбес он и дурак.

Вот так. Значит, уважаемая М. Басова считает меня дураком и гадом. И трусом — потому что, если я подставляю, как она считает, правое ухо после левого — значит, конечно, трус.

Я слегка от-ре-гу-ли-ровал свои эм-моции и не показал виду, что мне... что я... что меня...

— Спасибо, — сказал я. — Я все понял. И п-пойду. Спасибо.

— Пожалуйста, — сказал папа М. Басовой. — Но вы чем-то расстроены?

— Не, ничего, — сказал я, — просто мне все это надо... обмозговать. Много интересного.

— Рад был помочь, — сказал Басов папа. — Когда что-нибудь будет нужно — приходите. Да, а как же насчет Троянской войны? — спохватился он.

«Пожалуй, хватит на сегодня, — подумал я, — а то еще чего-нибудь новенького узнаю».

— В другой раз, — сказал я. — Вы только скажите, при чем там в этой войне яблоки?

— Ах, это, — сказал он. — Ну, это легенда, сказание, миф. Дело в том, что, по преданию, Троянская война началась из-за того, что три греческие богини заспорили о том, кто из них прекрасней, и попросили рассудить их одного древнегреческого героя — Париса. Ему дали золотое яблоко, которое он должен был вручить прекраснейшей. Он вручил его богине Афродите. В награду за это она помогла ему похитить самую красивую женщину в мире — жену одного царя — Елену. Из-за этого похищения и началась Троянская война. А яблоко это стали называть яблоком раздора. Очень красивое сказание. Не так ли?

— Очень! — сказал я. — Спасибо! — сказал я. — Войны не будет! — сказал я, попрощался и вышел из Басовопапиного кабинета.

В другой комнате все еще были сама М. Басова и ее бабушка.

— До свиданья, — сказал я, проходя мимо них.

— Куда же вы, Сенечка? — спросила бабушка.

— Спасибо, — сказал я. — Я пошел домой. Войны не будет. — И вышел в переднюю.

— Какой войны? — крикнула мне вдогонку Басова.

— Троянской, — сказал я, и Басова приросла к месту.

Бабушка вышла в переднюю за мной. Она взяла меня за локоть, и, косясь в сторону комнаты, шепотом сказала:

— Сеня, вы очень мужественный человек! Я понимаю, как это больно. Но вы терпите.

— М-м-м-м! — сказал я.

— Меня вы можете не стесняться — ведь я бабушка. У меня есть чудесный рецепт: надо растереть мед с мелко нарезанным репчатый луком и этот состав приложить к... больному месту.

Я выпучил на нее глаза.

— К к-какому месту? — спросил я.

— Вы не стесняйтесь. Мне Машенька рассказала, почему вы к нам долго не приходили. Карбункул на... — она, как тогда, опять помахала рукой где-то сзади и пониже спины, — на этом месте. Это ужасно!

— Какой карбункул?! — крикнул я, а она приложила палец к губам. — Какой карбункул? — крикнул я шепотом.

— Ну, фурункул, в просторечье, так сказать... чирей, — сказала она тоже шепотом. — Нарезьте лук мелко-мелко...

— С-с-спасибо, — сказал я и пошатываясь вышел на площадку.
— До свиданья, Сенечка, приходите, — сказала Басова бабушка. Она стояла на площадке и смотрела мне вслед, пока я не спустился во двор.
В подворотне торчал Хлястик. Есть такой Фуфлиный дружок. Жутко противный тип. Пристает ко всем на Моховой.
— Все к Машеньке ходишь? — спросил он, ехидно ухмыляясь.
— Все к Машеньке хожу, — сказал я и съездил его по уху.
— Ты что?! — заорал он.
— Кон-крет-ная си-ту-ация! — сказал я и съездил его по другому уху.
— Ты чего?! — заверещал он.
— Отрицательная эм-моция, — сказал я и вlepил ему по третьему. — Карбункул, в просторечье — чирей, — сказал я и замахнулся, чтобы дать ему по четвертому уху, но он смылся, испарился, исчез — только пыль завивалась по Моховой. Я направился домой. Немного полегчало, но в голове мыслей никаких не было, а были туман и каша. Я только старался все-таки сдерживать свои отрицательные... эти самые...

Глава четвертая

Дома никого не было. На столе лежала записка: «Сенечка! Оля ушла к подружке. Миша гуляет с собакой. А я пошла на вокзал встречать, вот радость-то, Полю. Получила телеграмму, что приезжает. Папа опять будет поздно. Ты покушай. Гречневая каша с мясом, горячая, у меня на кровати под подушкой, завернута в газету. Мама».

Чудная она — мама: все думает, что я маленький. Но то, что тетка Поля приезжает, это здорово! С ней не соскучишься! Она толстая, веселая, шумная и очень деловая. Редко она к нам приезжает, но это всегда целое событие. Опять мы с ней будем носиться по городу как угорелые, и она будет останавливаться чуть ли не у каждого дома и ахать и охать — вот, мол, красота какая я, наверно, в этом доме жила или живет какая-нибудь знаменитость — и говорить, как она нам завидует, что мы живем в таком прекрасном, чудесном, красивом, великом городе, и будет ругать меня, что я не знаю, какой это дом и кто в нем жил. А я и действительно почти ничего не знаю о Ленинграде. Знаю немного Эрмитаж и Русский музей — мы туда со школой на экскурсии ходили, знаю еще Военно-морской музей и Артиллерийский, кое-что знаю про Медного всадника и Петропавловскую крепость, ну и «Аврору», конечно. Но это ведь все знают, и мне всегда становится стыдно перед теткой Полей, и каждый раз я даю себе клятву к следующему ее приезду обязательно изучить наш город, но каждый раз почему-то не удается.

Вот сейчас я разозлился на себя и решил хоть как-нибудь поправить дело — завтра ведь она меня наверняка потащит по городу. Зайду-ка я к дяде Саше. Он все знает. И я зашел.

Он сидел за столом, чинил транзисторный приемник и тихонько напевал чего-то себе под нос.

— Привет, — сказал он. — Куда пропал?

Вот елки-палки, я со всеми делами и забыл про ту, красивую...

— Да так, по разным делам задержался. Вы извините, — сказал я.

— Не извиняю, — сердито сказал он. — Я тут жду, никуда не уйду, а он, оказывается, не только свое, но и чужое время ценить не умеет. Опять,

наверно, сорок пять минут «пшикнули» куда-нибудь, а еще часа полтора «голубым огнем сгорели». Так, что ли?

— Так, — сказал я. А что было говорить, хотя, в общем-то, я за эти полтора часа узнал кое-что новое, например, что такое «неинтеллектуальная личность».

— Так, — повторил я. — Но я был на Литейном, тридцать семь.

Он копошился в приемнике, и руки у него двигались быстро и ловко, но осторожно. А тут, как только я сказал, что был там, руки сразу замерли как неживые: в правой отвертка, а левая — на какой-то детали. Он помолчал, а потом спросил:

— Ну?

— Красивая, — сказал я.

— Без тебя знаю, — сердито пробурчал он. — Что сказала?

Он не смотрел на меня. Я стоял у него за спиной и заметил, что у него покраснели уши и шея. Мне почему-то стало его ужасно жалко, но я, конечно, постарался не показать этого. Я, кажется, понял, почему он покраснел: во-первых, волновался — что она сказала, а во-вторых, ему, наверно, было неудобно, что вот он взрослый, а доверил свои дела пацану какому-то несуразному. Пока я думал об этом, он встал, прошелся по комнате и остановился против меня. Но на меня он все еще не смотрел, и я, пожалуй, был рад этому.

— Чего молчишь? — спросил он. — Я, конечно, дурак и трус, что не пошел сам, а послал какого-то...

— Пацана несуразного, — вырвалось у меня.

— Ага! — Он кивнул. — Ну раз уж я сглупил, так что же теперь-то... Говорил с ней?

— Ага, — сказал я.

— О чем?

Я рассказал, что мы поговорили о погоде, о Ленинграде, о моей учебе и о футболе с хоккеем.

— Лихо! — сказал он и засмеялся, и я заметил, что лицо у него стало нормального цвета. — Ну, а о том, что... я тебя просил, говорили?

— Говорили, — сказал я.

— Н-ну? Что она сказала?

— А то же самое, что и вы.

— Когда?

— Да вот только что.

— Что я сказал? — Он удивился, потом задумался, вспоминая, и засмеялся, да так весело и хорошо, что я невольно заулыбался сам.

— Она, значит, сказала, что я... дурак и трус?

— Н-ну, — сказал я и посмотрел на потолок, — не совсем так, но... вроде.

— Ох, гусь! Ох, гусь! — закричал дядя Саша и так хлопнул меня по плечу, что я присел.

Потирая плечо, я думал: «Очень я соврал или не очень. По-моему, все-таки не очень — ведь она и верно обиделась, что не он пришел, а какой-то парень с веснушками». Но для очистки совести я добавил:

— А еще она сказала: «Пусть он летает».

— Так и сказала? — недоверчиво спросил дядя Саша.

— Что, я врать буду?! — обиделся я.

— Так и сказала, — задумчиво повторил он. — А как она это сказала? С какой интонацией?

— Какая там интонация! — рассердился я. — Сказала, и все!

Он опять задумался. А потом сказал:

— Это ведь можно по-разному понимать. «Пусть он летает». С одной стороны... А с другой...

Ну, чудачки эти взрослые — ин-тонацию им подавай.

— Чего тут понимать, — твердо сказал я. — «Пусть, значит, он летает, а я буду его ждать». Так и понимать. Я так понял.

Вот это я уже соврал. Точно. Не надо было мне этого говорить, да уж больно он мучается. Я отошел от дяди Саши и усталился в окно. Завтра же, завтра же пойду к этой красивой и скажу ей все, что по этому поводу думаю.

Дядя Саша молчал. Я отвернулся от окна и посмотрел на него. Он сидел на тахте, и вид у него был совсем непонятный — он смотрел куда-то далеко-далеко и то улыбался, то хмурился.

— Дядя Саша... — начал я, но он не откликнулся, а сидел все так же, уставясь в одну точку. Потом встал, подошел к шкафу, достал галстук, похлопал себя по карманам и все время молчал и смотрел вдаль. Повязал галстук, надел пиджак и решительно пошел к двери. Про меня он забыл. Я не обиделся, но у меня-то к нему было два дела, и я нахально окликнул его.

— А-а?! — сказал он будто проснувшись. — А-а! Прости, Сеня. И спасибо.

Он протянул мне руку, и я пожал ее. Я сразу понял, куда он собрался, и сказал:

— Ни пуха ни пера, дядя Саша.

— К черту, — серьезно сказал он.

— Дядя Саша, — быстро заговорил я, — у меня к вам две просьбы есть. Во-первых, тетка Поля приезжает, и мне ее завтра по Ленинграду таскать. У вас есть какие-нибудь книжки про Ленинград?

— Похвально, — сказал он, — хотя и поздновато. — Он подошел к одной из полок и снял оттуда несколько альбомов и книг. — Держи.

Ну и ну! Я аж согнулся от тяжести. Как это я все за вечер прочту?

— Так. А вторая просьба? — спросил он.

— У вас есть рубля три? — выпалил я. — Понимаете, дома никого нет...

Он внимательно посмотрел на меня.

— Тебе лично? — спросил он.

Я кивнул.

Он достал три рубля и сунул мне в карман куртки — руки-то у меня были заняты.

— Спасибо, — сказал я. — Я вам потом расскажу.

— Не обязательно, — сказал он. — Впрочем, твое дело.

Мы вышли. Он прикрыл дверь, похлопал меня легонько по плечу, улыбнулся и пошел по коридору — крепкий такой, ладный, и голова высоко поднята. А я потащил охапку книг к себе и подумал: хорошо, когда тебе доверяет такой человек.

Я свалил все книги на свой диванчик и начал их рассматривать. Чего только тут не было! Альбомы нынешние и старинные с рисунками — гравюрами, так они называются, и с фотографиями. Путеводители разные, некоторые даже до революции были написаны, а некоторые уже после. И другие разные книжки, например, «Пушкинский Петербург» одна называется. Там описываются все места, где Пушкин жил или бывал в гостях в Ленинграде,

то есть в Петербурге. Я листал все это, разинув рот, и думал, что как это так — вот живу я в этом городе, а ни черта о нем не знаю. Голова у меня пошла кругом, и я понял, что мне это все не то что за два часа, а и за всю жизнь не изучить. Выбрал одну не очень толстую книжку «Путеводитель для туристов» и отложил ее, а остальные запрятал. Посмотрел на будильник: было уже половина седьмого.

Конечно, не очень красиво будет, если я уйду и придет мама с тетей Полей. Но я ничего с собой поделывать не мог. Мне почему-то очень нужно было пойти. Я написал записку маме, что приду в 20.00 или в 20.30 и чтобы она не беспокоилась и поцеловала за меня тетку Полю, а у меня — дела.

Я надел чистую рубашку, куртку из кожзаменителя с молнией и пошел в кафе «Гном» на Литейный. Интересно, придут попугайчики-неразлучники или нет? Правда, о них я меньше всего думал.

К этому «Гному» я поспел без пяти семь. Но не пошел сразу туда, а остановился на другой стороне Литейного и стал смотреть. Попугайчиков не было. Зато появилась М. Басова. Я постоял, посмотрел на нее немного и ушел. Я расстроился: зачем она приволокла с собой Герасима? Посмеяться, что ли? Уходя, я все-таки не выдержал и оглянулся. Машка озиралась по сторонам, голова у нее вертелась, как у заводной игрушки — вот-вот отвалится, а Герка ей что-то доказывал.

Ну и доказывай. Подумаешь, «ин-тел-лектуальная личность». А у нее пусть хоть совсем голова отвинтится, я даже не обернусь. Хоть бы Татьяну встретить, что ли?

Конечно, не встретил ее, а встретил у самых ворот батю. Он забегал домой пожевать чего-нибудь.

— Опять дежурить? — спросил я.

— Не знаю, Сень, может, и придется, — сказал он виновато. — Полина Михайловна приехала, знаешь?

— Знаю, — сказал я. — Батя, а ты какие-нибудь стихи помнишь?

— Чего, чего? — удивился он.

— Стихи, говорю, знаешь?

Он взял меня за плечо, посмотрел в глаза и спросил:

— Ты чего, Сень?

— Да ничего, — сказал я, — ты меня за плечо не держи.

Он удивился еще больше, но руку с моего плеча снял.

— Знал когда-то немножко, — неуверенно сказал он. — Вот это: «Во глубине сибирских руд храните гордое терпенье...» И вот это еще: «Ты жива еще, моя старушка...»

— Ладно, — сказал я, — ты приходи пораньше.

— Постараюсь, Сень, — сказал он. — А насчет стихов... — Он помолчал, потом вздохнул: — Не до них мне, Сеня. — Махнул рукой и пошел.

А дома было весело. За столом сидели мама, тетка Поля, Мишка и Ольга. А около стола сидел Повидло — облизывался и подлизывался. На столе — куча всякой вкусной тети Полиной стряпни и чай и бутылочка с наливкой. Все сидят красные, довольные, смеются и перекрикивают друг друга.

Ну, конечно, тетка Поля накинулась на меня, как ястреб. Я чуть не задохнулся от ее поцелуев и совсем уж одурел от разных вопросов. Отвечать на них мне, правда, почти не пришлось — только я рот открою, чтобы ответить, она уже новый вопрос задает. Ну, это, пожалуй, и лучше.

Налили и мне рюмочку наливки, я немножко развеселился и спросил:

— А как дядя Петя?

Тетка Поля пригорюнилась чуть-чуть, потом махнула рукой и засмеялась. Смеялась она очень интересно. Толстушая, здоровушая, а смеется, как девчонка какая-нибудь: закинет голову и хохочет-заливается. И все смеются. Отсмеялась, опять чуть-чуть погрустила, а потом сказала:

— А что дядя Петя? Чего ему сдееется? Шкандыбает. — Она вдруг рассердилась. — Настырный такой, неугомон, все-то ему надо, до всего-то дело. То в колхоз шкандыбает порядки наводить — без него не наведут, как же! То в газету пером скрипит. То, гли-ко, чего надумал — морскому делу ребятишек учить, а у нас моря-то и в глаза не видывали. И ходит так и бродит так. Ни днем ни ночью от него, окаянного, покоя нет...

Сердилась тетка Поля, а глаза хитрые, веселые. И ничего она не сердится, а наоборот — рада, что ее безногий дядя Петя и туда и сюда «шкандыбает». А она уже опять смеется.

— Семен, Семен, ты чего пирожки не берешь? Рязанские!

Мишку и Ольгу погнаки спать. Я пошел к дяде Саше отдать ту трешку. Зачем она мне, раз «Гном» не состоялся. Но дяди Саше еще не было. Тогда я взял Повидлу и пошел его прогулять. Он еле полз — от теткинх пирогов отяжелел.

На Моховой я увидел такую замечательную картинку: рохлики смеялись. На той стороне стояли Гриня Гринберг и Петька Зворыкин и хватались за животики от смеха и тыкали пальцем куда-то в соседнюю подворотню.

— Вы чего? — крикнул я.

— Мы, ах-ха-ха, смеемся, ха-ха-ха! — просипел сквозь смех Петька Зворыкин.

— Это я вижу, — сказал я, подходя к ним. — А чего вы смеетесь?

Они опять ткнули пальцами в подворотню и прямо-таки закорчились от смеха. Я посмотрел туда. Там стоял Фуфло, и вид у него был обалделый.

— Чего ржете? — заорал он.

— Ха-ха-ха! Ух-ха-ха! Ой-ой-ой! Ха-ха-хи! — закатились рохлики.

— Надо мной, что ли? — грозно прокричал Фуфло.

Рохлики чуть не упали от смеха.

— А то над кем же! — закричали они, заикаясь от хохота.

— А по мордам? — проорал с той стороны Фуфло.

Гринька и Петька обхватили друг друга и уже только покачивались — совсем, бедняги, обессилели.

— Вы чего — чокнулись? — спросил я.

— А ты что, забыл? — сквозь зубы и без всякого смеха спросил Гриня.

— Мы испытываем Танькин метод. — И они опять принялись ржать.

Я даже рот разинул от удивления. Ну и чудачки! Как дети, второклашки какие-нибудь. Но, между прочим, кажется, на Фуфлу это действовало. Он топтался на той стороне, топтался, а потом решительно пошел к нам. Остановился на газоне и повторил, правда, не очень уверенно:

— А по мордам?

Рохлики слегка отступили, но смеяться не перестали.

— Ты отойди, — сказал Фуфло мне, — тебя я не трону, а этим рохликам счас к-э-эк...

Я разозлился. Скажи пожалуйста — он меня не тронет. Ладно, подумал я, и тоже начал смеяться. Нарочно, конечно, мне, в общем-то, не очень смешно было.

Фуфло совсем ополоумел. Огляделся по сторонам, ухватил с газона ку-

сок какой-то трубы и с этой трубой пошел на Гриню и Петьку. Те сразу притихли и попятились к стене, правда еще подхихкивая. Ага, решил я, вот удобный случай.

— Фас! — крикнул я Повидле и показал на Фуфлу.

Повидло завилал хвостом и посмотрел на меня.

— Возьми! — крикнул я, снова показал на Фуфлу и отпустил поводок.

Повидло кинулся к Фуфле.

Фуфло остановился, с опаской посмотрел на Повидлу и бросил трубу.

Рожилики опять заржали. С визгом, всхлипами и воплями.

Повидло вдруг зарычал — честное слово, первый раз в жизни услышал, как он рычит — и кинулся на Гриньку и Петьку. Те заорали дурными голосами и вцепились в стену. И тогда заржал Фуфло.

— Ату их! Куси их! Так их! — орал он, приплясывая, а Повидло, как бешеный, прыгал перед ребятами и ужасно громко лаял и рычал.

— Уйми своего балбеса! — закричал Гриня, лягаясь.

— Куси их! — орал Фуфло.

— Держи свою псину! — вопил Петька, дрыгая ногами.

— Ко мне, Повидло! — кричал я.

Продолжалось это довольно долго.

Уже прохожие начали останавливаться и делать замечания.

Наконец я ухватил этого подлого пса за ошейник и дал ему хорошего пинка.

Он сразу присмирел, но обиделся. Наверно, правильно обиделся, но тут уж мне было не до его переживаний. Злой, как черт, я пошел на Фуфлу.

— А ну, катись отсюда! — сказал я.

Он хотел что-то вякнуть, но у меня, наверно, был такой вид, что он только сказал:

— Я что, я ничего, это вот они...



Потом хихикнул пару раз, помахал Грине и Петьке ручкой и пошел на ту сторону.

— Трепачи! — сказал я Гриньке и Петьке. — И в самом деле — рохлики.

Они вначале вроде немного сконфузились, а потом накинулись на меня.

Они орала, что я заступаюсь за Фуфлу, что я отрываюсь от коллектива, что они начали действовать, а я их не поддержал и что я вообще чуть ли не предатель.

— Еще и кабысдоха своего на нас натравил! — кричал Петька.

— Недоразвитый пес какой-то, — поддержал его Гриня, — весь в хозяина.

— А вы — герои, — сказал я. — А если бы он вас трубой?

— Кто? Он?! Да мы бы ему! — кричал Петька.

— Не посмел бы! — вторил ему Гриня.

— Еще как посмел бы, — сказал я. — Ладно, время позднее. Завтра обсудим.

— Нечего нам с тобой обсуждать, — сказал Петька. — У тебя у самого дела... с милицией.

— Ага, — сказал я и пошел домой. Отошел на несколько шагов и оглянулся, а они стоят и машут друг на друга руками. Обсуждают. Ну и пусть машут. Пусть обсуждают. Рохлики!

Время было не слишком позднее, но дома уже все спали — утомились: тетка Поля с дороги, мама от встречи, а Мишка с Олей, наверно, просто объелись. Я стукнулся к дяде Саше — его все еще не было. Ну что ж, значит... тем лучше.

Я тоже улегся. Завтра воскресенье. Ворочался, ворочался — никак не заснуть. Все какие-то мысли в голову лезут. Разные. Главным образом про то, что, наверно, я так и останусь неорганизованным — опять день прошел почти без толку. Да и наглупил я порядочно. Зачем, например, ушел из школы? Или, например, зачем пошел к Басовой, а потом — в этот «Гном»? Тьфу ты — опять стихи! Я разозлился, но стихи вдруг стали напоздать на меня. Я их отталкиваю, а они откуда-то ползут и ползут, и я поймал себя на том, что уже бормочу их шепотом.

Зачем пошел я к Маше?

Не надо бы ходить...

А дальше, кроме «каши», к Маше никакой рифмы не подбиралось. Я бормотал, бормотал: «Маши-Саше», «Клаши-Маши», «ваши-наши». Но «Саше» и «Клаши» были тут совсем уж ни при чем, а с «ваши» и еще «наши» просто ничего не придумывалось. Я махнул рукой и сочинил дальше:

...Поел бы лучше каши,

И нечего чудить!

А потом, а потом

Я попал в этот «Гном».

Ах, зачем я пошел?

Только горе нашел.

И еще:

Пес Повидло залаял,

А Фуфло испугался.

И, как дым, он растаял,

Но ужасно ругался.

Вот последнее — хотя это и не совсем правда — мне даже понравилось. Особенно: «И, как дым, он растаял». Это, по-моему, как это называется... художественный образ, «как дым, растаял»...

Так с этими стихами я и начал засыпать и уже сквозь сон слышал, что пришел батя. Он заглянул в комнату, но сразу прикрыл дверь. За дверью снял ботинки и в носках тихо зашел.

— Пап, — сказал я шепотом.

— Не спишь? — спросил он.

— Ты ложись на Мишкиной раскладушке.

— А он где?

— Он на Олиной кровати, а Оля с мамой и Полей.

— Ага, — сказал он и начал в темноте раздеваться.

Потом в трусах и в майке присел ко мне.

— Слушай, Сень, ты, если рано проснешься, разбуди меня. Поговорить надо.

— Ладно, — сказал я.

— Ты, Вася? — спросила мама сонным голосом. Она всегда просыпается, когда папа приходит.

— Я, Люда. Спи, спи, — сказал папа тихонько и улегся.

Раскладушка под ним заскрипела, и уже через минутку я услышал, как он задыхался глубоко и ровно. Заснул. Он всегда засыпал сразу. «Солдатская привычка, — говорил он, — меня и пушками не разбудишь». И действительно, мы могли шуметь сколько угодно, он не просыпался. Но, между прочим, если какой-нибудь посторонний шум слышался, например, дядя Гриша на кухне табуретку уронит или за окном кто-нибудь заголотит, он сразу поднимал голову и прислушивался и, если считал, что все в порядке, опять сразу засыпал. «Милицейская привычка», — говорил он. И вот он заснул, а у меня сон прошел, и я опять начал ворочаться. Но стихи уже не лезли.

А потом я услышал громкий шепот на маминой кровати. Это тетка Поля спрашивала маму, часто ли папа так поздно приходит.

— Часто, — вздохнув, сказала мама. — Работа такая.

— Провались она, такая работа, — сердито сказала тетка Поля. — Что за жизнь?!

Я не хотел слушать и натянул одеяло на уши, но тетка Поля шептала так громко — тихо она не умела, — что как я ни старался, а все равно слышал, и то, что я слышал, мне не нравилось. Тетка Поля то ругала, то жалела маму, а мама возражала, но как-то не очень уверенно. А ругала ее Поля за то, что у мамы с таким мужем совсем жизни никакой нет. Сидит сиднем дома, никуда не ходит, даже в отпуск и то по-человечески никуда не съездит.

— Я ж болею часто, Поля, — говорила мама, — куда уж мне разгивать-то. Я и на работу-то почти не хожу — все бюллетени да бюллетени. Мне уж и инвалидность предлагают...

— А раз болеешь — надо лечиться, — шипела тетка. — Был бы хороший муж, он бы тебя из санаториев да домов отдыха не отпускал бы.

— Я ездила... — говорила мама.

— Ездила, ездила! Вон и квартиры настоящей с такой-то семьей и то получить не сумел, а очередь, когда она еще подойдет, эта очередь, — гнула свое тетка. — Нет, непрактичный он человек, не хозяин он, твой Василий.

— Он о себе не думает, — сказала мама.

— Он и о себе не думает и о вас не думает. Нарожал детей, а что толку. Вон Сенька у вас совсем в прислугу превратился. А ему учиться, развлекаться надо.

Ну и тетка — до чего же вредная оказалась. Мне даже крикнуть захотелось — пусть не выдумывает, я и учусь и развлекаюсь, а квартира у нас обязательно будет, и батя нас всех любит и старается, чтобы нам нормально жилось, только времени у него действительно мало. Конечно, я этого не крикнул, а взял и сунул голову под подушку, чтобы не слушать, что она там еще плетет, а то, чего доброго, не выдержу и запущу в нее подушкой. Но, честно говоря, чем-то ее слова меня зацепили. Не тем, конечно, что у нас квартиры еще нет отдельной, а чем-то таким... не знаю даже, как сказать. Вот и стихов батя не знает, и поговорить ему со мной все времени нет, а когда мы все вместе куда-нибудь ходили — я уж и не помню. Кажется, года три-четыре назад он нас всех в зоопарк водил. И еще раза два в кино ходили. Один раз в Павловск ездили. Больше и не помню. И чего-то у меня на сердце кошки зацарапали. Так под это царапанье я и заснул.

И в воскресное утро проснулся позже всех. Огляделся. В комнате никого, а из кухни слышен громкий тети Полин смех и другие голоса. Я вскочил и в трусах вышел в коридор и налетел на Ангелину Павловну.

— Сеня, — сказала она строго, — ты уже взрослый мальчик, почти юноша. И нэ-э-прилично разгуливать в таком виде в общественном месте.

Вот ведь, обязательно настроение испортит! Я, конечно, этого не сказал, а извинился и шмыгнул обратно в комнату, натянул брюки. Но, между прочим, подумал: а в этих, как их, бигудях и в халате прилично в общественном месте разгуливать? Ну, да ладно, не до нее мне сейчас. Как это Татьяна говорит — инго... игнорирую.

Батя был в кухне тоже. И веселый. Я даже удивился — такой он был веселый.

— А-а! Сеня! — закричал он, когда я вошел. — Ну и спал ты!

— Ага, — сказал я.

На плите что-то шипело и скворчало. Тетка Поля, красная как вареный рак, чего-то там колдовала и все время кричала и хохотала, мама сидела на табуретке, Мишка — подумать только! — чистил картошку, а Ольга терла морковь. И этот подлый подхалим Повидло тоже был здесь и подхалимскими глазами смотрел на тетку Полю — авось отломится что-нибудь. И на меня никакого внимания не обратил, как будто я для него пустое место. А батя был ужасно веселый, прямо как в цирке веселился, такой веселый-развеселый — дальше некуда.

— Ну и спал ты! — кричал батя. — Мы уж все встали и вот уже завтрак жарим, а ты все спишь и спишь!

— Да не сплю я вовсе, — сказал я и ушел из кухни. А Повидло даже не обернулся, подхалим несчастный. Никто не обернулся. И в комнате я хлопнул дверью. Чепуха какая-то!

Я стоял у окна и смотрел на флигель напротив. Его, говорят, скоро снесут. Он солнцу мешать не будет. Какое-то дурацкое настроение у меня было. Я не слышал, как вошел батя.

— Сень, — сказал он, — ты уж извини. Не хотел я тебя будить.

— Лады, — сказал я. — Мне опять с теткой идти?

— Н-не, — заторопился он, — я сегодня сам с вами пойду. Выходной.

— Чего ты мне сказать хотел? — спросил я и посмотрел на него. А у него на скулах желваки ходили, и был он уже не веселый, как две минуты назад. Он молчал.

— Что ты мне... — опять начал я.

Он посмотрел на меня, и мне... заплакать захотелось.

— Ты что, батя?

— Ничего, — сказал он. — Иногда вот думаю — провались оно все пропадом. Вот написал писатель какой-то: добро должно быть с кулаками. А? Ты это... как понимаешь?

Я никогда не видел его таким. И что я мог сказать? Откуда я знаю, каким должно быть добро?!

— Как это... с кулаками? — спросил я.

— Не знаю, — хмуро сказал он. — Наверно, каждый милиционер, — он усмехнулся, — это и есть добро с кулаками... Думаешь, мне приятно... в грязи вот этими руками ковыряться? А она... — Он кивнул в сторону кухни, потом махнул рукой. — Ну, да ладно.

— Кто — она? — быстро спросил я. — Мама?

— Ты что?! — сказал он тоже быстро, мне показалось, что он даже испугался. — Что ты — мама! Мама у нас знаешь какая... Нет, не мама, а вот... — И он опять кивнул в сторону кухни.

— Тетка? — спросил я.

Он не ответил. Помолчал немного, потом спросил:

— Ты мою... биографию знаешь?

— Н-ну, знаю, — не очень уверенно сказал я.

— А какая моя биография? — сказал он грустно. — А вот какая...

Но продолжить ему не дали. Ольга прибежала и позвала завтракать.

— В другой раз, — сказал батя и пошел на кухню.

Вот так всегда — «в другой раз», подумал я и поплелся за ним. Только захочешь с человеком по-настоящему поговорить — обязательно кто-нибудь или что-нибудь помешает. Всегда «в другой раз»!

А какая у него биография, в самом деле? И вот оказалось, что я ее, в общем-то, и не знаю, эту его биографию. Знаю только, что он не воевал — мал еще был. Хотя вот Машкин отец тоже еще молодой, а успел повоевать: был сыном полка, в разведку ходил, своему командиру жизнь спас, награды имеет... Знаю еще, что до милиции мой отец был рабочим, а почему он в милицию пошел служить — и не знаю. Не знаю толком, что он на своей службе делает. Участковый и участковый. Следит, наверно, за порядком на своем участке. С пьяницами ругается, следит, чтобы после одиннадцати в квартирах радиолы или магнитофоны на полную мощность не пускали, за ребятами вроде Фуфлы и Хлястика посматривает, чтоб не очень хулиганили. А впрочем, что-то он не больно за ними и посматривает.

Был я поменьше — ребятам врал, что он у меня знаменитый сыщик и чуть ли не тридцать бандитов и жуликов выследил и задержал. А потом как-то и думать об этом перестал. Ну, в милиции, ну, участковый: надо ведь кому-то и участковым работать — тоже дело нужное. Вон у Пашки Волкова — это в старой моей школе был такой парень — отец на кладбище работает, могилы роет. Ну и что, надо ведь кому-то и на кладбище работать... А милиция — это... в общем, без нее пока не обойтись... Добро... кулаками. Как это? Добро с кулаками?

...На кухне шумела и смеялась тетка Поля, и все смеялись и шумели, а мне не хотелось смеяться. Не хотелось, и все. Меня даже зло взяло — чего это она все время хохочет, хотя и смешного-то вроде ничего нет.

Пока завтракали, тетка Поля все рассказывала, какой у нее сад, да какая усадьба, да какой дом — всего полная чаша.

— Вот соберитесь да приезжайте ко мне, посмотрите, как мы с Петей

живем, да и сами поживете. Всех накормлю, всех напою и еще останется! — кричала она и все время посматривала на бату.

А он улыбался и кивал головой, а глаза у него были хмурые. Только раз он спросил:

— А вы, Полина, что, не работаете уже?

— То есть как это не работаю?! — возмутилась тетка. — А дом? А хозяйство? А сад?!

— Нет, я про почту спрашиваю, — сказал батя и как-то странно посмотрел на нее.

— А-а, — протянула тетка Поля, задумалась чуть-чуть, потом резко так махнула рукой, как отрубила, и сказала: — Хватит! Нароботалась. Устала.

— Ну, понятно, — сказал батя с каким-то непонятым выражением и встал из-за стола. — Спасибо. Ну и накормили вы нас! Прямо не податься.

Я посмотрел на маму. Она сидела очень прямо, почти ничего не ела и только глаза переводила с отца на Полину, с Полины на отца. Тревожно так, словно волновалась — не случилось бы чего. А я сразу ночной разговор вспомнил. Вот то-то и оно-то...

— Ну, раз сыты, значит хорошо! — сказала тетка. — У меня всегда так! Вот мы сейчас со стола приберем, посудку помоем. И гулять пойдем. Пойдем, Василий Тимофеич?

Батя остановился в дверях кухни и развел руками.

— Вы уж извините, Полина, совсем я забыл. Мне... позаниматься надо — зачеты скоро, а у меня, как говорится, конь не валялся. Вот ребята с вами пойдут. Сеня. А меня уж извините. — Он повернулся и вышел.

Тетка Поля ужасно удивилась.

— Какие еще зачеты? — спросила она у мамы.

Мама смущенно засмеялась.

— Да вот, — словно виновато сказала она, — на старости учиться задумал. В прошлом году в университет на юридический поступил. Вот и занимается. Мало, правда. Времени не хватает.

Вот номер-то! А я и забыл, что батя действительно в прошлом году на заочный поступил. Хотя понятно, почему забыл, — он дома почти и не занимался. Поэтому я тоже удивился, когда он сказал, что не пойдет гулять. Ведь мне он сказал, что пойдет. Наверно, он просто не хочет с теткой Полей идти, вот и выдумал предлог. Ну, ладно, он не хочет, а меня-то зачем втравил? Хотя откуда он мог знать, что мне тоже расхотелось идти с теткой? А мне совсем расхотелось — факт! Я еще почему-то вспомнил, что вот она и останавливается около каждого красивого дома и ахает и охает, но только на секунду, вроде по обязанности, и сразу бежит дальше, и самое главное время у нее на магазины уходит. И с каждой такой прогулки мы возвращаемся, как верблюды, навьюченные. И провожать тетку Полю потом — одно мученье: никак в такси все ее пакеты, коробки, сумки, чемоданы не впихнуть. Я всегда удивлялся, куда ей столько барахла разного, но, в общем-то, не очень сердился — и нам с Мишкой и Ольгой из этих покупок обязательно кое-что попадало. Нет, она не жадная, тетка Поля, и подарок любит делать, вот и яблоки нам каждую осень присылает, но только... только... сам не знаю, что «только»... вот сейчас расхотелось мне что-то от нее подарки принимать. Подарит, а потом опять кричать будет — вот, мол, я какая, всех одариваю, всем добро делаю. Да нет, и не кричит она вовсе, это я чего-то придираюсь уже, но все равно мне здорово расхоте-

лось с ней по магазинам носиться, и я начал быстро придумывать, как бы отказаться.

А тетка Поля допрашивала маму.

— Ну и что? Кончит он университет, — говорила она громким шепотом, — уйдет из милиции? Адвокатом или судьей будет?

— Не знаю, Поля, — говорила мама устало.

— А может, ему в милиции повышение дадут? Пора бы.

— Не знаю, Поля, — опять повторяла мама, и видно было, что ей неприятно на эту тему говорить, — он ведь, знаешь, какой...

— Да уж знаю, — сказала тетка Поля и поджала губы.

— А куда пойдем, тетя Поля? — спросил я, чтобы перебить этот противный разговор.

— А? — встрепенулась тетка. — Куда? По городу пройдемся — очень я люблю Ленинград ваш. Ну, посмотрим, конечно, какие магазины открыты. Мороженого поедим. И так далее. А ты, Люда, с нами не ходи. Ты устанешь — мы ведь галопом. — Она засмеялась.

«То-то и оно, что галопом», — подумал я.

— Ладно, — согласилась мама, — а я дома посижу, мне кое-что поштопать, починить надо.

— Вот и хорошо, — опять засмеялась тетка, — жена носки штопает, муж уроки учит, а детишки со старой теткой гулять пойдут. Куда как славно!

Мне захотелось заорать, что никуда я не пойду, но не заорал я — мама расстроится, тетка обидится, ведь предлога-то настоящего у меня нет, а отрицательные эмоции надо уметь сдерживать.

Тетка прогнала всех одеваться, а сама быстро и ловко принялась мыть посуду.

— Чего ж ты, пап? — спросил я, входя в комнату.

Он и верно сидел за столом с тетрадками и книгами и занимался. Или только притворялся, что занимается.

— Да вот, — сказал он, не глядя на меня, — вспомнил...

Вид у него был такой, какой у нас в школе бывает, когда знаешь, что тебя вызовут, а урок-то не готов. Я засмеялся. Он посмотрел на меня исподлобья и тоже засмеялся. Громко. Но сразу испуганно прикрыл рот ладонью и подмигнул мне.

— Ладно, — сказал я, — погуляем с теткой Полей.

— Вот, вот, — сказал он, — погуляйте.

Смешно, но все-таки в этот раз я тоже не пошел гулять с теткой. А получилось вот что. Я собрал все книжки и альбом про Ленинград, которые мне дядя Саша накануне дал, и понес ему. Все равно уж ничего не прочитаешь, да и не нужно это, наверно, тетке Поле. Вот я и оставил только две книжки — для себя, а остальные понес.

Постучал к дяде Саше ногой — руки были заняты. Никто не ответил. Я сложил книги на пол и вошел — дядя Саша никогда не запирает своей комнаты, даже когда улетал надолго. Сейчас его дома не было, и похоже, он, как ушел вчера, так и не возвращался. С ним такое очень редко бывало. Не случилось ли чего, подумал я. Но потом я, кажется, кое-что сообразил и даже заулыбался про себя. Вот такие, значит, пироги, Сенька! Ну, что ж...

Я втащил книги, расставил их по полкам и пошел к себе. И тут раздался звонок. Я открыл входную дверь и... На площадке стояла — кто бы вы думали? Сама Маша Ба-со-ва! Собственной персоной! Я так удивился,

что прямо застыл в дверях, держась за ручку, и молча смотрел на нее во все глаза. Она тоже молчала, потом покраснела и сердито сказала:

- Ничего себе, вежливый! Даже не здоровается.
- Здравствуй, — сказал я, все еще держась за ручку.
- Так и будем стоять? — спросила она все так же сердито.
- Заходи, заходи, — засуетился я и распахнул дверь.
- Нет, лучше ты выйди, — сказала она.
- Нет, лучше ты зайди, — сказал я.
- Нет, ты выходи...
- Нет, ты заходи...
- Выходи...
- Заходи...

И пока мы так приговаривали в рифму, из кухни выплыла тетка Поля.

— Ну, Сеня, — закричала она, увидев меня, — ты уже собрался? Она подошла поближе и заметила Машу.

— А-а, — сказала она и засмеялась, — у тебя гости. Что же вы в дверях стоите? Проходите.

— Спасибо. Я на минутку. Выйди, Половинкин! — сказала Маша и даже ногой притопнула.

Тетка Поля сделала круглые глаза. Ну, что тут будешь делать! Я сказал тетке «извините» и «я сейчас» и вышел на площадку. Тетка развела руками, улыбнулась хитренько и поплыла в комнату.

— Ты мне нужен, — очень строго сказала Маша.

«Это что-то новое», — подумал я и напустил на себя совершенно равнодушный вид.

— Не воображай, пожалуйста, бог знает что, — презрительно сказала она. — Просто у меня нет другого выхода, а то бы...

Ну, конечно, не может какой-нибудь гадости не сказать. Ладно.

— Надолго? Надолго нужен? — спросил я скучным голосом. — У меня, понимаешь, дела...

— У тебя всегда дела, — она фыркнула, — делишки какие-то...

Я решил железно сдерживаться, что бы она ни говорила, но про себя скрипнул зубами. «Делишки!»

— Вопрос о судьбе человека решается, — продолжала Маша, — а у него дела. Подождут твои делишки!

— Какого человека? — испугался я.

— Я не привыкла на лестницах торчать, — заявила Басова.

— Я же тебя звал, — разозлился я.

— У тебя дома много людей. А этот разговор — один на один.

— Ну, пойдем куда-нибудь. Я только предупрежу.

— Предупреди. И побыстрее, — сказала она командирским тоном.

Я влетел в комнату и сказал тетке Поле, что не могу с ней идти — очень важное дело.

— Понимаю, — сказала тетка Поля, — очень важное дело, о-очень! — Она захохотала. — К тому же сердитое... дело это и хоро-ошень-кое!

Все усталились на меня.

— Какое дело, Сеня? — спросила мама.

— Общественное, — пробурчал я, ни на кого не глядя.

— Ну, раз общественное... — сказал отец, поднимая голову от своих тетрадок.

— Иди, иди, — сказала тетка Поля и подмигнула мне. — Обществен-

ные дела всегда важнее личных. — Она опять залилась своим звонким смехом и слегка подтолкнула меня к двери.

Я помчался. Нет, все-таки она ничего — эта тетка Поля: кое-что понимает.

Маши на площадке уже не было. Я понесся вниз сломя голову, и сердце у меня колотилось, как овечий хвост. Неужели ушла? Я пулей вылетел на улицу и по инерции промчался несколько шагов вперед. Чуть не сшиб с ног какого-то дядьку, но резко затормозил и развернулся на одной ноге так, что из-под каблука дым пошел.

Маша стояла около парадной. Она посмотрела на меня и засмеялась — вид, наверно, у меня был чудной. Потом сразу оборвала смех и сказала спокойно:

— Пойдем.

— К-к-куда? — спросил я, отдуваясь.

— В кафе «Гном», — сказала она ехидно.

— Слушай... — начал я сердито.

— Ладно, ладно, — сказала она, — пойдем лучше... — Она наклонила голову и искоса посмотрела на меня, чуть-чуть прищурившись. — Пойдем лучше в... садик на Некрасова.

Вот вредная девчонка! Ничего не забывает — это я ей, когда только познакомился, встречу в том садике назначил, но она, конечно, не пришла. А теперь вот вспомнила. Я не подал виду, что меня это зацепило, и спокойно согласился. И мы пошли в этот садик.

Глава пятая

По дороге я спросил ее, что за дело и чья судьба решается.

— Венькина, — сказала она, — Балашова.

Пожалуй, я всего чего угодно от нее ожидал, только не того, что она со мной о Жуке говорить будет. Я думал, что, может, она... Ну, да ладно, мало ли чего я думал.

— А что с ним? — спросил я.

— У него очень плохие дела, — сказала она серьезно. — И ему надо помочь. Появился, — она вдруг осмотрелась по сторонам и понизила голос: — Появился... его брат.

— Ну и что? — удивился я.

— Он из тюрьмы появился, — сказала она шепотом.

— Ну и что... — начал я и осекся. — Из тюрьмы-ы-ы?

— Да, — сказала она. — Он жулик и бандит. Он отсидел сколько положено и вернулся. Венька говорит, что ему не разрешили в Ленинград возвращаться, а он вернулся. И Венька боится, что он опять начнет свои нехорошие дела и будет его тоже затягивать. Он уже понемножку начинает его затягивать.

— Постой, постой, — сказал я, соображая. — А ты его видела, этого брата?

— Видела. Жуткий.

— Черный?

— Черный.

— Перекошенный?

— Вроде бы.

— Он, — сказал я и даже задохнулся.

Вот в чем дело, оказывается.

— А ты что, его знаешь? — спросила Маша.

Я ей рассказал, как встретился с этим типом. Она задумалась, а потом спросила:

— Что же делать?

Мы уже незаметно дошли до садика и сели на скамейку.

— Надо... в милицию заявить, — сказал я не очень уверенно.

— Я тоже так думала, но Венька боится. Он боится, что тот... брат... убьет его.

Я присвистнул.

— Ну, уж так и убьет?!

— Ты не шути, — сказала она серьезно, — он мне рассказывал. Этот... брат — он такой. Даже страшно.

Я вспомнил этого типа, его глаза, как черные дырки, и зубы с клыками. Да, такой шутить не будет.

— И все-таки... — начал опять я.

— Ничего не все-таки, — рассердилась Маша. — Не можешь ничего придумать, так и нечего навязываться!

Я еще и навязывался!

— Ты же сама ко мне пришла, — сказал я с обидой.

— «Сама, сама»! Знала бы...

Я разозлился. В самом деле, почему это она после всего, что мне наговорила и так со мной обошлась, все-таки ко мне пришла? Шла бы к своему Герке. Тот бы рассудил!

— Ну, и шла бы к Герке своему, — сказал я.

— Ни в коем случае! — сказала она быстро, вроде испугалась.

— А что? Он ведь шибко правильный, все бы рассудил, — я уже завелся, — а мы что? Мы люди маленькие.

— Дурак ты, Половинкин, — сказала она и вдруг засмеялась. — Дурак... ревнивый.

Я чуть не задохнулся и почувствовал, что уши у меня начинают гореть.

— Т-ты... т-того, — пробормотал я, — г-говори, да не заговаривайся. Ревнивый...

Она вскочила со скамейки. Встала передо мной. Смеялась, а солнце просвечивало сквозь ее волосы, и я зажмурился почему-то. И почему-то обрадовался — ну и пусть, ну и ладно, вот и хорошо.

Она оборвала смех и сказала опять сердито:

— Ну, чего расплылся? Рот до ушей.

Верно, я и не заметил, что у меня с какой-то радости рот до ушей разъехался. Я сразу стал серьезным.

— Ладно, — сказал я, — хватит шутики шутить. Надо дело делать.

И мне сразу захотелось делать дело — куда-то бежать, что-то доказывать, кому-то помогать, кого-то спасать и как-нибудь уничтожить того страшного типа — Венькиного братца.

— А что делать? — спросила она грустно.

— Слушай, — сказал я, — может, нам с моим батей посоветоваться? Он в таких делах должен разбираться.

— А он кто у тебя? — спросила она.

— Он... — я вдруг замялся, — он-то, ну, это самое... — И тут я разозлился на себя до чертиков — что я, в самом деле! — Он милиционер, участковый, — сказал я решительно. — Вот!

Она удивленно посмотрела на меня, вдруг фыркнула, но сразу прикрыла рот рукой.

— Чего смеешься? — сказал я зло и презрительно. — Не у всех же родители — профессора.

Сказал я это сердито, а самому ужасно обидно стало. И эта не лучше, подумал я, махнул рукой и добавил, что все, мол, они одинаковы — девочки эти — им только профессоров да полковников подавай.

Тут она разозлилась.

— Ты что? Совсем полоумный? Да? — спросила она. — Ты за кого меня считаешь?

Я молчал. Она со злостью дернула меня за рукав.

— Чего молчишь? — крикнула она. — Я ведь засмеялась потому, что вспомнила, что тебя милиционер за плечо вел. Я ведь не знала... Это твой папа был?

— Ну, папа, — сказал я, — а ты и рада была: с милицией Половинкина увидела. И всем раззвонила.

— Так я же не знала... — сказала она виновато.

— А надо было узнать вначале, а потом уже ляпать, — злился я, но на душе стало немного полегче. — А теперь еще и хихикает...

— Ну, прости, — сказала она, — я действительно глупо сделала. Я тогда на тебя... зла была.

— Зла была, — ворчал я. — Все вы такие — разозлитесь ни за что ни про что, а мы отдувайся.

— Ну, я ребятам скажу, что ошиблась, — сказала она смирно, — и хочешь, при всех перед тобой извинюсь? Хочешь?

Я про себя, конечно, радовался, но меня уже занесло, и я не мог остановиться.

— Вот так, — продолжал я ворчать, — сперва пакость сделаете, а потом: «Извините, пожалуйста, мы не хотели, мы хорошие, сю-сю-сю да сю-сю-сю», а что человек из-за вас страдать должен, — я ударил себя кулаком в грудь, — это вам хоп што! — Сказал и подумал: «Ну чего я плету, дурак!»

— Слушай, Се... мен... — сказала она спокойно, но я заметил, что она тоже заводится, — я ведь сказала, что виновата и извиняюсь. Мало тебе?

Ну, что ты будешь делать, я с ней действительно совсем дурным становлюсь. Мне бы засмеяться и сказать: «Ладно, Машка, чепуха все это, давай пять, и все в порядке», — но я продолжал бубнить свое. Нравилось мне, что ли, что она передо мной извиняется? Может, мне хотелось, чтобы она из-за меня расплакалась? А? Может, и хотелось, дураку такому! Наверно, хотелось. И я ворчал, как столетняя бабка. Она слушала, слушала, и, конечно, ей надоело.

— Ну, хватит! — сказала она резко. — Не хотела я на этот раз тебе говорить, но ты ворчишь и ворчишь, как древняя старуха. Ну, я виновата. Но ты-то сам? Почему ребятам не сказал, что я ошиблась? Почему струсил и ушел? Гордость заела? А может быть, не я, а ты своего отца не уважаешь? Видно, так и есть, раз постеснялся сказать тогда, да и сейчас мне сказать постеснялся. Я же видела. Эх, ты! Какой ты р-р-рыцарь?! И за что тебя моя бабка любит, не пойму. Я думала, что ты настоящий мальчишка, а ты... Я ведь именно к тебе, к тебе с этим делом пришла, а ты... — Она презрительно усмехнулась и махнула рукой. — А ты не лучше этого... Ап-пология или... — Она не договорила, резко повернулась и пошла из сада. А я, как истукан, остался сидеть на скамейке.

Так и надо. Разворчался, раскрипелся, расшипелся, разобиделся. Человек, хороший человек тебе руку протянул, а ты... Я вскочил со скамейки и бросился догонять Машу, но она как сквозь землю провалилась. Я бегал по улицам, ворочая головой направо-налево, чуть шею себе не свернул, искал не хуже нашего Повидла, только что землю не нюхал. Не было ее. И я решил пойти к ней домой и попросить прощенья. Я быстро шел по Некрасова, и вдруг меня кто-то сверху окликнул. Я задрал голову и увидел в окне второго этажа дома, мимо которого шел, Маргошу — Маргариту Васильевну, нашу классную руководительницу.

— Сеня, — сказала она тихо и приложила палец к губам, — зайди-ка, Сеня. Второй этаж, квартира двадцать пять.

Она сама открыла мне дверь, взяла за локоть и, ничего не говоря, проводила в комнату, слегка подтолкнула в спину и ушла, притворив дверь. «Это что еще за номера», — подумал я и тут заметил Машу. Вот куда она провалилась! Она сидела на диване и... и... плакала. Честное слово, плакала! «Ну вот, добился своего, подлый ты тип, Половинкин, — подумал я. — Что теперь делать будешь... рыцарь недоразвитый?»

— Маша, — тихо сказал я. — А, Маша.

Она подняла голову и сразу вскочила с дивана. И такая она была... прекрасная. И слезы у нее сразу высохли. И глаза сверкали, как молнии. И такая она была стройная. И такая гордая. И такая...

— А, явился — не запыхался, телепатик несчастный, — сказала она гордо, как королева Анна Австрийская в «Трех мушкетерах».

— Не плачь, Маша, — сказал я печально и встал на одно колено.

— Поднимись, мой верный друг, — сказала она ласково.

Фу-ты! Ни на какое колено я не вставал, а стоял перед ней, как пень, и не знал, что делать. И не говорила она мне «мой верный друг», а сказала:

— Откуда ты взял, что я плачу?! Не из-за тебя ли прикажешь плакать? Телепатик ты несчастный!

— Я не несчастный, — сказал я скромно. — А что такое «телепатик»? Это тоже вроде «а-мо-раль-ной личности»? Или похуже? — спросил я и вдруг почувствовал, что улыбаюсь во весь рот.

— Он еще смеется! — закричала Маша, схватила с дивана подушку и запустила в меня.

Подушка попала мне прямо по носу, и от неожиданности я сел на пол, и тут вошла Маргоша. В руках у нее был чайник и блюдо с чем-то.

— Ну, я вижу, что вы нашли общий язык, — сказала она весело. — Давайте пить чай. Мама испекла чудеснейшие, наивкуснейшие пирожки.

— Нет, — сказала Маша, — он не будет пить чай. Я буду, а он не будет.

— Почему же? — удивилась Маргоша.

— У меня с ним нет... общего языка, — сказала Маша, М. Басова, — и никакие... яблоки ему не помогут. Даже антоновские. Он уйдет. У него дела.

— Не уйду, — сказал я. — Не уйду.

— Уйдешь! — сказала Басова и запустила в меня другой подушкой.

На этот раз я увернулся. «Ну и ну, — подумал я, — даже Маргоши не стесняется. Вот это характер! Мне бы такой». И я решил выдержать все, пусть она хоть стульями кидается.

— Вы ее извините, Маргарита Васильевна, — сказал я, — она... нервная.

— Ладно уж, — сказала Маргарита Васильевна серьезно, — раз ты

просишь, извиню. Но, конечно... Александр Македонский великий полководец, но зачем же...

— ...подушками швыряться, — вдруг совершенно спокойно сказала Маша. — Вы простите, Маргарита Васильевна. Я больше не буду, но пусть он уйдет.

— Маша, — сказала Маргоша довольно строго, — не кажется ли тебе, что все-таки в этом доме хозяйка я?

— Извините, Маргарита Васильевна, — сказала Басова сокрушенно, — я действительно себя нетактично веду, но этот... телепатик кого угодно из себя выведет. Я в другой раз зайду. Пусть он чай пьет. Он, наверно, чай тоже любит. — И она пошла к двери.

Нет, слабак я, не могу с ней бороться. Была бы мальчишкой — вклеил бы оплеуху хорошую, и все. Нет, не надо, чтобы она мальчишкой была, не надо.

— Я, пожалуй, пойду, — сказал я, — у меня и верно дела.

— Ага! — закричала Басова. — Вспомнил?

— Вспомнил, — сказал я и пошел к двери.

Маргоша посмотрела на меня, как будто хотела что-то спросить, но у меня вид был совершенно спокойный и даже равнодушный, и она ничего не спросила.

— Ну, если дела, что ж, — сказала она, — не задерживаю. Но ты заходи. — И пошла за мной.

— Он обязательно зайдет, — сказала Басова, — он любит в гости ходить.

— Хватит, Маша, — сказала Маргарита Васильевна немного сердито.

— Извините, — сказала Маша.

— Ты что-то сегодня слишком часто извиняешься, — сказала Маргоша, — ну, ладно, мы с тобой еще поговорим.

Я посмотрел на Басову. Она смущенно наклонила голову, но мне показалось, что она улыбается. Рада небось, что опять меня допекла. Хорошо! Я тоже упрямый.

Маргарита Васильевна пошла меня провожать, но Машка остановила ее.

— Можно я его провожу? — спросила она.

Маргарита Васильевна посмотрела на нее внимательно, потом чуть-чуть засмеялась.

— Коридор пустой, — сказала она, — подушек там нет. Иди проводи.

В коридоре Басова сказала мне, чтобы я ничего не говорил отцу.

— Почему? — спросил я.

— Он ведь тоже... милиция, — сказала она, — а Венька просил.

— А я с ним не как с милицией говорить буду, а как с отцом, — сказал я, хотя и не стоило с ней разговаривать как ни в чем не бывало. Но я решил, что для нее это самый верный метод: если с ней, несмотря на все ее штучки и закидоны, разговаривать, как будто ничего и не было, — это ее с толку сбивает, и она... А впрочем, ничего ее с толку не сбивает. И всегда она сама по себе.

— А с ним можно не как с милицией? — спросила она.

— А почему нельзя, — сказал я и осекся. В самом деле, можно с моим отцом как с товарищем говорить? Что-то не получалось. А может, это я не пробовал? Да нет, вроде пробовал. Не знаю...

— Почему замолчал? — спросила Басова подозрительно.

— Ладно, — сказал я, — не буду я с ним говорить.

- Не говори, — сказала она, — мы сами что-нибудь придумаем.
- Кто это «мы»? — спросил я. Может, она меня имеет в виду.
- Без тебя, — сказала она, — найдутся люди, которые не только о своих драгоценных обидах думают.

Странная она все-таки девчонка — пришла ведь ко мне почему-то, а не к кому-нибудь другому. К своему правильному Герасиму не пошла. Значит... Ничего это ровным счетом не значит, и нечего воображать, Половинкин. Вот как она опять тебя отделала — с хоккейным счетом, а ты и не пикнул. Не понимаю я ее: то так, то этак — семь пятниц на неделе. Сколько раз себе говорил: надо быть со-вер-шен-но холодным, как мороженое. И ничего у меня не получается; как ее увижу, мне улыбаться хочется и делать что-нибудь хорошее, а она думает, что я к ней подлизываюсь, и издевается надо мной, вредина такая. Венька ей, видите ли, понадобился. Веньку, видите ли, ей спасти нужно. О Веньке у нее, видите ли, одна забота. А что тут человек... Да провались он, этот Венька. Мне-то до него какое дело? До него и до его братца перекошенного. Даже думать о них забуду, не то что выручать. Сам выручитса, не маленький.

Так я себя разжигал по дороге домой и доразжигался до того, что чуть не задымился. Все, решил я, все! Буду теперь только о себе думать. Время свое хронометрировать и уплотнять. Организованным буду и читать буду не только про шпионов и мушкетеров. А то вон все они какие умные — интел-лек-туаль-ные личности. Ладно, я им тоже покажу, что Семен Половинкин не тютя какая-нибудь, над которым по-всякому издеваться можно.

И с батей поговорю по-настоящему, как мужчина с женщиной. Что, в самом деле, все ему некогда да некогда. Может, я поэтому такой неотесанный да неорганизованный, что он меня мало отесывал.

Я уже не шел, а бежал, и не заметил, как очутился на Моховой. Недалеко от дома меня остановил один папин товарищ по работе, капитан милиции товарищ Воробьев.

— А-а, Половинкин-младший, здравствуй, — сказал он. — Куда это ты так торопишься?

— Здравствуйте, товарищ Воробьев, — сказал я. — Домой тороплюсь.

— Чего это ты так официально? Меня Сергеем Ивановичем звать.

— А меня Семеном.

— Уел, — засмеялся он. — Ну, правильно. Домой, значит, Семен.

А батя дома?

— Дома, Сергей Иванович.

— Отдыхает?

— Учится.

— У-учится?

— А что тут такого? Все сейчас учатся.

— Это ты верно. Это правильно. Эт-то... — Он посмотрел на часы и взял меня за лацкан курточки. — Слушай-ка, мне сейчас некогда, а ты ему передай, чтобы он в двадцать ноль-ноль в отдел зашел. Дело одно есть.

— Все у вас дела, а вот что вокруг делается... — сказал я и сразу прикусил язык.

Он внимательно посмотрел на меня.

— А что вокруг делается?

— Да так... ничего... хулиганов вот много развелось.

— А-а! Верно, это есть. Только вы-то сами не будьте старыми бабками, которые только и ворчат: «Фулюганы, фулюганы». То бабки, им ворчать положено, а вы помогать нам должны — вот хулиганов и меньше станет.

— Да, помогать. А стоит нам чего-нибудь придумать, так вы сами на нас ворчите — мол, не ваше дело, мол, вам учиться надо, а мы и без вас справимся.

Он опять засмеялся.

— И это верно. Ну, мы с тобой еще на эту тему потолкуем. Некогда мне, а бате передай. Ну, пока. — И он протянул мне руку.

Я побежал к дому, но он окликнул меня и, когда я подошел, спросил:

— Ты просто так сказал про то, что вокруг делается, а мы, дескать, не видим? Или знаешь что?

— Ничего я не знаю, — буркнул я.

— Н-ну, иди...

Я пошел, а через несколько шагов зачем-то оглянулся. Капитан Воробьев смотрел мне вслед, и мне показалось, что он покачал головой. Он увидел, что я на него смотрю, махнул мне рукой и пошагал дальше.

А я клял себя на чем свет стоит. Трус я, что ли? Или Веньку этого мне жалко? Или то дурацкое обещание, которое Машке дал — никому ничего не говорить, удержало? Или, может, и верно, мне ни до кого дела нет? Шут его знает, что я за человек. И правда, Кара-таев какой-то!

Рядом с нашим домом — не доходя — дом поставили недавно на капитальный ремонт, но ремонтировать еще не начали, и он стоял пустой, с выбитыми и заколоченными окнами. И когда я проходил мимо, меня кто-то из одного окна полуподвального тихо окликнул. Я нагнулся к окну и увидел Фуфлу.

— Эй, ты, как тебя, Сенька, спустись-ка сюда.

— Чего я там не видел, — сказал я.

— Да разговор один есть.

— Не о чем мне с тобой разговаривать.

— Да ты не бойся, — он захихикал, — я за вчерашнее тебя не трону.

— Это тебя-то мне бояться? Некогда мне, вот и все.

— Слушай, верно, дело есть.

— Какое еще дело?

— Насчет... — начал Фуфлу и вдруг замолчал.

Мне показалось, что его кто-то дернул сзади, потому что он быстро обернулся.

— Насчет чего? — спросил я.

— Насчет Жука. Веньки Балашова, — тихо сказал Фуфлу.

— А почему обязательно в подвале разговаривать? — спросил я. — Выходи и поговорим.

— Не могу я. Ты не бойся. Я... один.

«Так, — подумал я, — вот тебе и проверочка, Половинкин. Трус ты или нет». Сердце у меня заколотилось, как овечий хвост, но я не подал виду и начал просовывать одну ногу в окно.

— Да ты не лезь, — зашипел Фуфлу, — в подворотне дверь есть.

Я пошел в подворотню. Не скажу, что я быстро шел. Еле плелся, и поджилки дрожали. Подобрал по дороге небольшую железину и сунул в карман. Какое мне дело до Жука этого?! Чего это я иду? Провалились они все: и Жуки, и Фуфлы, и... черномазые с дырками вместо глаз.

Ощупывая сырую стену, я кое-как спустился в подвал и сразу зажмурился — прямо в глаза мне светил карманный фонарь.

— Эй, убери фонарь, — сказал я.

— Ладно, — довольно добродушно сказал Фуфлу и погасил фонарь.

Свет из маленького окна проходил в подвал слабо, но, немного освоив-

шись с темнотой, я заметил рядом с Фуфлой Хлястика, а чуть поодаль какого-то совсем незнакомого парня. Он был невысокий, коренастый, а лица его я разглядеть не мог — круглое серое пятно. Он стоял прислонившись к стене и руки держал в карманах. Я тоже держал правую руку в кармане — ощупывал свою железку, хотя понимал — вряд ли она мне поможет, если что. Их ведь трое, а Фуфло говорил, что он один. Держись, Половинкин, подумал я.

Они молчали. Я тоже молчал. Потом парень откачнулся от стены и пошел ко мне.

— Что в кармане? — спросил он тихо. — Покажь.

— Ничего, — сказал я, откашливаясь.

Он быстро схватил меня за руку и, сильно сжав ее, дернул к себе. Карман даже порвался. От неожиданности я не выпустил железку, и рука моя так вместе с ней и выскочила из кармана. Парень сжал мне запястье, и железка со звоном упала на цементный пол. Парень поддал ее ногой и хмыкнул.

— Вооружился, — сказал он и что-то такое сделал с моей рукой, что я от боли встал на колени. — Вот я тебе с-счас...

Мне вдруг стало холодно, и я крепко сжал зубы, чтобы они не застучали. «Влип ты, кажется, Половинкин», — подумал я, но тут же довольно громко сказал:

— Т-ты чего?!

— А вот... — начал было парень, но Фуфло потянул его за рукав.

— Отпусти, — сказал он мрачно, -- он и так скажет.

— Поглядим, — сказал парень и отпустил мою руку.

Я встал и начал отряхивать колени. Рука порядочно ныла.

— Ну, чего надо? — спросил я Фуфлу. — Говорил, что один, а сам целую... банду привел.

— А ты не бойсь, не бойсь, — захихикал Хлястик, — если умненьким будешь — ничего тебе не будет.

— А я и не боюсь, — сказал я, хотя... чего уж там...

— Тогда рассказывай, — сказал Фуфло.

— Что рассказывать? — спросил я.

— Давай, давай, — прошипел Хлястик, — не стесняйся.

— Ну! — зло сказал парень.

— Так это ты мне про Веньку чего-то сказать хотел, — сказал я Фуфле.

— А что про Веньку? — вроде бы удивился Фуфло. — Ничего я про Веньку не знаю. А тебе чего интересно про Веньку?

— Кончай трепаться, — сказал парень, — ты о чем сейчас с мусором толковал?

— С каким «мусором»? — удивился я...

— С милиционером, ну, — сказал Хлястик.

Тут я подумал, что они, наверно, видели, как я только что на Моховой разговаривал с капитаном Воробьевым. Значит, чего-то боятся. Я начал соображать, что сказать, чтобы они поверили, но толком ничего не придумал и сказал, что это наш знакомый старей. Спрашивал, дома ли родители — может, зайдет.

— Врешь, — сказал парень и ругнулся.

— Чего мне врать... — начал я сердито, но докончить не успел — в ушах у меня зазвенело, из глаз посыпались искры, я отлетел на несколько шагов и вцепился в стенку спиной. Я помотал головой, сплюнул что-то густое и соленое изо рта и, ни о чем не думая, бросился на того парня. Конеч-

но, он сразу опять ударил меня, и я сел на пол. «Ну, Половинкин, крепись», — подумал я сквозь шум в голове и почему-то вспомнил о Юлиусе Фучике. В самый раз мне было о нем вспомнить. И не знаю уж, что со мной случилось, но вдруг я перестал трусить. Я кое-как встал и сказал спокойно:

— Вы что, ошалели? Вам же теперь житья не будет.

— Пугаешь?! — сказал парень и пошел ко мне.

— Чего мне тебя пугать, когда ты сам пуганый, — сказал я, посмеиваясь.

Мурашки бегали у меня по спине, и голос дрожал, но мне уже не было так страшно. А парень опять замахнулся, но Фуфло схватил его руку.

— погоди, — сказал он. — Слушай, как тебя... Сенька. Это верно... твой знакомый, милиционер тот?

— Знакомый, — сказал я.

— О чем он тебя спрашивал? — забормотал Хлястик, и я заметил, что он здорово струсил.

— Хотел сказать, да раз вы так, не скажу.

Я опять сплюнул густую слюну — наверное, кровь, — повернулся и вроде бы не спеша пошел к выходу.

— Эй, ты! — рявкнул парень и бросился за мной.

Я быстро наклонился и поднял с пола железку и повернулся к нему.

— Ну, подходи, балда несчастная! — заорал я как можно громче. — Подходи... аморальная личность! Я вам покажу Каратаева!

Парень от неожиданности остановился.

— Тихо ты! — растерянно сказал он. — Не ори!

— А-а! — продолжал орать я, размахивая железкой. — Поджилки затряслись?! Ты, Фуфло! Хочешь знать, о чем меня тот капитан спрашивал? О тебе! Понял? О тебе! И о том... черном. Соседе! Понял, Фуфлиная морда?



— А т-ты ему ч-что? — спросил Фуфло, заикаясь.

Ага, голубчики, перетрусили! И я уж совсем обнаглел и не помню, что и орал. Даже чуть не приплясывал от злости и радости, что вроде бы выкрутился. Радоваться, правда, было рановато. Я вдруг заметил, что парень идет на меня и в руках у него что-то поблескивает. Я попятился к двери, споткнулся, упал, а парень подходил все ближе и ближе. Я зажмурился...

— Не надо! — закричал кто-то, кажется, Хлястик.

Я открыл глаза — парень стоял надо мной. Все. Но тут из темного угла кто-то свистнул. Парень быстро обернулся. В углу зашевелилась какая-то тень. «Черный, — подумал я, — сосед, братец!» И вот тут мне по-настоящему стало жутко.

— Беги! — заорал Хлястик истошным голосом.

Я вскочил и вылетел на лестницу. Фуфло выбежал за мной и снизу ухватил меня за штанину.

— Н-ну, смотри, — крикнул он, — если накапаешь кому, тебе каюк!

Я рванулся и выскочил в подворотню. Как я добежал до своей парадной — не помню. Взлетел на свой третий этаж и плюхнулся на подоконник. Ноги дрожали, руки дрожали, голова тряслась, и дышал я, как Повидло, когда до смерти набегаются с собаками. И мысли скакали и скакали, и я долго никак не мог собрать их. Потом все-таки кое-как собрал. Выкрутиться-то я выкрутился, а вот как буду выкручиваться дальше? Ясно, эта компания боится чего-то. И скорее всего, из-за того черного, а что там в подвале был он, это точно — больше некому. А с ним шутки плохи. Значит, надо что-то делать. А что? И я, сидя на подоконнике, начал прикидывать и раскладывать все по полочкам. Получалось вроде бы три варианта.

1. Наплевать и забыть. Не мое, мол, дело.

2. Сказать бате или, например, капитану Воробьеву.

3. Никому ничего не говорить, а действовать самому.

Злой, как черт, я обмозговывал эти варианты, и ничего путного в голову не приходило. Конечно, легче всего наплевать и забыть. Какое мне дело и до Веньки, и до этих подонков. Все равно рано или поздно их милиция заберет. И Венькиного брата шуганут куда надо. Но тут выходило, что я попро-сту трус. Куда ни верти. И еще хуже выходило: ну, я забуду, а они какую-нибудь пакость сотворят, и кто-то пострадает, если я наплюю. Я, может, и знать даже не буду, кто там пострадает, а все равно получается, что я вроде и не... советский человек. Так, посторонний какой-то. Очень даже плохо получается. И, значит, хочешь не хочешь, а этот вариант не годится. Я просто сам себе никогда не прошу, если из-за моей трусости люди пострадают.

Вариант второй. Кажется, самый простой. Сказать — и все! Пусть милиция разбирается. Но тут с трех сторон плохо получалось. Во-первых, почему-то здорово было жалко Веньку. Он тут вроде бы и ни при чем. Не виноват же он, что у него такой братец. А отдуваться, скорее всего, ему придется. Черный сразу догадается, что это Венька про него кому-то проболтался. И скорее всего, мне. Ведь он понял тогда у школы, что мы с Венькой хорошо знакомы. И тут получалось, во-вторых, что и мне надо побережиться. Чего греха таить, не больно-то мне весело было там, в подвале. А ну, как опять? Фуфло ведь предупреждал. Злился я на себя, а все-таки здорово трусил. Ну, ладно, положим, с этим я бы кое-как справился, а вот как быть с М. Басовой, чтоб ей пусто было! Но это уже в-третьих. Обещал же я ей ничего не говорить ни отцу, ни вообще в милиции. И так она меня не очень-то уважает, а попробуй я обмани ее! Ого-го! Ничего хорошего не жди тогда, Половинкин, несчастная твоя голова.

Теперь вариант третий. Самому действовать. А что я могу сделать сам, один? Ну не один — возьму себе на подмогу «рохликов». Значит, надо им все рассказать. Опять плохо, да и надежда на них плохая — здесь дурацким смехом не отделаешься. Ну, допустим, я могу припугнуть этого черного, чтобы он сматывался, да поскорее, мол, милиция им уже интересуется. Так черта с два его припугнешь. Он и сам так припугнет, что и костей не соберешь. Это во-первых, а во-вторых, если он даже и уберется подобру-поздорову, так и в другом месте может разных дел натворить. И, в-третьих, опять от этого Веньке кисло будет.

Да-а! Не приходилось мне до сих пор такие задачки решать. Это тебе не хро-но-мет-раж какой-нибудь.

В общем, думал я, думал, прикидывал и так и этак и доприкидывался вот до чего:

1. Ничего я сам толком не придумую. Надо с кем-нибудь посоветоваться. Только так, чтобы этот человек ничего не понял. Дескать, вот как поступить, если такой случай случится? Как бы, например, дядя Саша — летчик — поступил?

2. Поговорить начистоту с Венькой, но так, чтобы он не догадался, кто мне рассказал.

3. Поговорить с М. Басовой, чтобы, на всякий случай, она с меня мое обещание сняла.

4. Дальше действовать.

Как дальше действовать, я еще не знал, но надеялся, что придумую. Это будет зависеть от того, что все эти разговоры и переговоры мне дадут. Но надо торопиться.

Челюсть у меня ныла, губы немного распухли, но кровь уже не шла, и я, в общем-то, хоть и был ужасно злой, а собой чуток гордился. Все-таки не очень-то я растерялся в этом подвале. И вел себя, ну, не так, как Юлиус Фучик, но ничего. Не совсем уж плохо себя вел. Давай и дальше так, Половинкин. Только посмелее — ведь драпал я все-таки, как заяц. А что? Подрапаешь!

Дома я сразу прошел в ванную. Умылся как следует холодной водой, нашел булавку, зашпилил карман и посмотрел на себя в зеркало. Ничего. Только вот веснушки. Да аллах с ними. Не в них счастье.

Я пошел на кухню и поставил на плиту чайник. Потом пошел в комнату. Тетки Поли и ребят еще не было — наверно, шлялись по магазинам. Мама что-то шила, а батя по-прежнему сидел за учебниками и, кажется, действительно занимался.

— Как погулял? — спросила мама.

— Отлично! — бодро сказал я. Наверно, слишком бодро, потому что отец поднял голову и посмотрел на меня.

— А как дела? — сказал он и чуть-чуть подмигнул мне. А может, мне это показалось.

— В порядке, — сказал я.

— Ну-ну, — сказал он и опять уткнулся в учебники.

— Мам, — сказал я, — там на кухне... чайник, наверно, закипел. Мама удивленно посмотрела на меня.

— Какой чайник? — спросила она.

— Я поставил, — сказал я.

— А-а... зачем?

— Он уже закипел, наверно, — пробормотал я, не глядя на нее.

Отец снова поднял голову от учебников.

— Гм-м... посмотри, Люда, — сказал он, — может, он в самом деле кипит... чайник-то.

Мама пожала плечами и вышла.

— Ну, выкладывай, — сказал отец. Он отодвинул в сторону учебники и даже зачем-то смахнул какие-то крошки со стола.

— Ты знаешь, как милиционеров зовут? — спросил я.

— Как?

— «Мусорами».

— А кто зовет? — спросил он и, прищурившись, посмотрел на меня.

— Зовут.

— Нет, кто, кто зовет? — переспросил он настойчиво.

— Ну, разные...

Он встал и вышел из-за стола.

— Нет, не «разные», а дрянь всякая. Вот они-то именно мусор и есть. А ты где слышал?

— Да так...

— Так? Паршиво все это, Сенька. Погано. А никуда от этого не денешься. Я тебе не зря про добро с кулаками говорил. Так в чем дело-то?

— Пап, а у тебя револьвер есть? — спросил я.

— Пистолет, — сказал он, — только мы его после дежурства сдаем.

А что?

— Ничего. Гвозди бы делать из этих людей, — сказал я почему-то.

— А дальше?

— Крепче бы не было в мире гвоздей.

— Хорошо сочинил.

— Это не я. Поэт один. Тихонов.

— А-а. Ну, все равно хорошо. Есть такие люди. Так что стряслось?

— Ничего не стряслось, — сказал я. Я уже и сам был не рад, зачем этот разговор затеял.

— А зачем ты чайник поставил?

— Помнишь, ты меня о Веньке Балашове спрашивал?

— Ну.

— Зачем спрашивал?

— Теперь уже не важно.

Обиделся, наверно, на меня, что я тогда ему не ответил. Ну ладно, все-таки спрошу.

— Зачем он тебе понадобился? Что с ним?

— А что с ним? — переспросил он, глядя на меня очень внимательно.

— Д-да я... не знаю, — промямлил я.

— Ну, раз не знаешь — не о чем и говорить, — сказал он.

«Темнит чего-то», — подумал я. А впрочем, я-то тоже... А может, они уже знают о том черном. Это бы здорово было! Но дальше я не расспрашивал. Еще поймет, что я что-то знаю, и начнет допытываться. А я и проговорюсь.

— Чуть не забыл, — сказал я, — тебя капитан Воробьев просил в двадцать ноль-ноль в отдел зайти.

— Сегодня?

— Сегодня. И в воскресенье у вас дела!

— Так, — сказал отец и снова сел за стол, — так.

Даже и не спросил, где я капитана видел.

— У тебя все, что ли? — спросил он.

— Все! — сказал я, и он даже не заметил, что я разозлился.

— Ну, тогда я позанимаюсь еще немного.

Он придвинул к себе учебники и уставился в них, но я видел, что он не читает, а сидит так — думает.

Я вышел на кухню. Мама задумчиво смотрела на чайник. Он еще и не думал кипеть.

— Сказал бы, что с отцом поговорить надо, — немного обиженно сказала она, — а то чайник...

— Не сердись, мам, — сказал я и поцеловал ее в щеку.

Она засмеялась, но как-то вроде грустно.

— Чудные вы, мужики. Секреты какие-то. Что я вам, чужая? И так почти все время одна.

— Ну что ты, мам, — сказал я, и у меня почему-то зашипало в носу. — Давай с тобой в кино пойдем. А? Вот сейчас и пойдем. Наплюем на всех и пойдем! А?

Она очень удивилась, но и обрадовалась, кажется. А я, подлец, тут же подумал: чего это я вдруг про кино ляпнул. Вдруг согласится, а у меня еще всяких дел невпроворот. Но она, конечно, отказалась.

— Ну что ты, Сеня? Спасибо, но куда же я? Неудобно. Поля скоро придет.

— Да что с ней делается, с твоей Полей, — сказал я сердито, но уже так, по обязанности.

— Зачем ты так? — сказала мама с упреком. — Вот и папа тоже... Чем она вам не угодила?

Не хотелось мне ее еще больше расстраивать, а то бы я сказал, что слышал, о чем ей тетка ночью говорила.

— Да нет, мам, я ее... люблю, тетку Полю. Она... добрая.

— Верно, верно, — обрадовалась мама, — она очень добрая. — И вдруг она задумалась, но тут закипел чайник.

— Кипит, — сказала мама, встрепенувшись, — а зачем он мне?

— Я думал, тетка с ребятами придет, а чайник готов. Она чаек любит. Мама засмеялась.

— Ишь хитрющий, — сказала она. — Ну, иди уж. Вижу — опять торопишься.

Я опять чмокнул ее в щеку и пошел к дяде Саше, не очень, впрочем, надеясь, что он дома. Но он был дома и, засучив рукава, наводил в своей комнате порядок.

— А, Семен, вот кстати, — сказал он. — Давай-ка помогай, а то я один не управлюсь. — Он посмотрел на часы и присвистнул. — Определенно не управлюсь.

— Улетаете? — спросил я.

Он всегда делал генеральную уборку перед тем, как улететь куда-нибудь надолго.

— Нет, дружище, на этот раз не улетаю, — сказал он и заулыбался во весь рот. — Как ты думаешь, сумеем мы этот шкаф передвинуть вот так, чтобы сюда встало... — Он запел: — Сюда встало трю-мо-о-о?!

— Трюмо? — удивился я.

— Ага. Женщины, понимаешь ли, не могут без трюмо.

— Женщины?

— Ага. Женщина. Чудесная женщина. Прекрасная женщина. Восхитительная женщина!

Я уже начал кое о чем догадываться, а в это время открылась дверь и мне уже ни о чем не надо было догадываться. Вошла она, та самая, краси-

вая с Литейного, 37. Она была в халатике и с полотенцем через плечо — только что из ванной. Вот как! А я даже и не заметил, когда она тут появилась.

— Кого это ты нахваливаешь? — спросила она сердито. — Кто это чудесная, восхитительная и прекрасная?

— Действительно, кто это? — спросил летчик. — Ты, Семен, случайно не знаешь?

Тут она заметила меня.

— А-а, сватушка пришел! — сказала она весело, подошла ко мне, взяла меня легонько за уши и поцеловала в обе щеки. Сперва в одну, потом в другую. — Здравствуй, милый сватушка!

Мне стало жарко, и я буркнул:

— Какой еще сватушка?

Они засмеялись.

— Семен, — торжественно сказал дядя Саша, — Семен, я тебе обязан счастьем всей моей жизни! Ты верный друг! И я никогда этого не забуду! — И он протянул мне руку.

— Будет смеяться-то, — сказал я.

— Он не смеется, Веснушечка, — сказала красивая. — Верно, верно, я тоже тебе благодарна. Если бы не ты...

— Ладно, — сказал я. — Не стоит благодарности. Жизнь, она... того... чертовски трогательная комбинация.

— Ого! — сказал дядя Саша.

— Это из одного кинофильма, — честно сказал я. — Дядя Саша, вот ваши три рубля.

— Не пригодились?

— Нет. Ну, я пошел. Не буду вам мешать.

— Ух! — сказал дядя Саша. — Ты сегодня с церемониями, как английский лорд.

Я на этого «лорда» ничего не ответил. Уже в дверях я только сказал той красивой:

— Знаете что, не называйте меня, пожалуйста, «веснушкой». Я Семен.

— Я не хотела тебя обидеть, — сказала она смущенно, и я ей все простил. — А меня зовут Галя.

— А отчество? — спросил я вежливо.

— Просто — Галя, — она засмеялась. — Ну, тетя Галя.

«Какая она тетя», — подумал я. Наверное, немного постарше М. Басовой. Но Галей мне почему-то называть ее было неудобно, и я сказал:

— Нет, уж лучше отчество.

— Алексеевна она, — сердито сказал дядя Саша. — Ты какой-то... занудный сегодня, Семен. Стряслось чего-нибудь?

И этот туда же.

— Нет, — сказал я, — ничего не стряслось. Просто я хотел с вами поговорить, но... — И я развел руками.

Дядя Саша швырнул на пол тряпку, которой вытирал шкаф, подошел ко мне, взял за плечи, повернул и усадил на тахту.

— Давай! — сказал он и сел напротив меня в кресло.

— Я не помешаю? — спросила Галя... Галина Алексеевна.

— Нет, — сказал я, — но лучше в другой раз. Вы заняты.

— Слушай, ты, — сказал дядя Саша. — Помнишь, когда ты составлял свой, — он усмехнулся, — хронометраж. Я тебе сказал тогда, что не считаю время, потраченное на друзей, потерянным. Выкладывай!

Я замялся. Как бы так рассказать ему, чтобы он не понял, что все это со мной случилось?

Ну, в общем, кое-как, крутя и вертя, спотыкаясь и запинаясь, чего-то придумывая, а чего-то не договаривая, я ему рассказал историю, которая будто бы в прошлом году случилась с одним моим приятелем. Только про подвал не сказал. Когда я кончил, дядя Саша долго молчал, а Галина Алексеевна смотрела то на меня, то на него.

Потом дядя Саша внимательно взглянул на меня, и я постарался выдержать его взгляд.

— Ну, а как он поступил, этот... твой приятель? — спросил он.

— Н-не знаю, — сказал я.

— По-моему, — сказал дядя Саша, — и та девчонка, которой он дал слово молчать, и сам он... твой приятель... довольно... х-мм... глупые люди.

— Она не глупая! — сказал я и осекся.

— Как же не глупая? — сказал дядя Саша. — Зачем же тогда она тебе... то есть твоему приятелю рассказала? И он глупый, что дал такое слово. Нельзя о таких делах молчать! Понимаешь, нельзя.

— Но он все-таки дал слово, да еще девочке, — сказала Галя.

— Я сам однажды дал глупое слово одной... девочке, — рассердился дядя Саша. — А потом и я и эта... девочка кусали себе локти.

Галя засмеялась, а летчик продолжал все так же сердито:

— Я бы на месте твоего приятеля все рассказал бы кому надо. Но только прежде убедил бы эту глупую девчонку...

— Она не глупая! — почти закричал я. — Она ведь тоже дала слово.

— Она его уже нарушила, рассказав все этому... твоему приятелю, — сказал дядя Саша жестко. — Значит, не только глупая, но и нечестная.

Фу-ты ну-ты! Час от часу не легче.

Не надо было рассказывать. Сам бы управился, а теперь вот слушай разные разности про Машку, да и про себя тоже...

— Я пришел посоветоваться, а вы только ругаетесь, — сказал я обиженно.

— А ты-то чего обижаешься? — спросил дядя Саша хитро. — Мы ведь про приятеля твоего говорим.

— Ладно, — сказал я. — Что было, то было, но раз уж так получилось, то что бы вы сделали?

— Я бы пошел к этой глу... — начал дядя Саша, но Галя дернула его за рукав, — к этой девочке, — поправился он, — и убедил бы ее, что она взяла с меня слово неправильно, и пусть она вернет его мне обратно. А дальше я бы поступил сообразно обстоятельствам.

— Я так и думал, — сказал я с облегчением.

— А почему бы тебе не посоветоваться с отцом? — спросил дядя Саша. — Ведь он-то, наверное, в таких делах больше нашего понимает.

Я замотал головой.

— Напрасно, — сказал дядя Саша озабоченно. — Напрасно. Дело-то, кажется, серьезное. Я бы советовал тебе хорошенько подумать.

— А что мне думать? — сказал я.

— Что ж, — рассердился вдруг дядя Саша, — мне прикажешь за тебя думать? Ладно! На этот раз подумаю. А теперь иди!

Я тогда не обратил внимания на эти слова и только потом понял, что он имел в виду, когда сказал, что подумает. Эх, нехорошо получилось! Хуже некуда...

Глава шестая

От дяди Саши я сразу же направился к М. Басовой. Будь что будет. Пусть она злится и шипит, но я ей скажу все, что думаю об этом деле, и потребую, чтобы она мне вернула мое слово. Все-таки здорово, что летчик и Галя... Галина Алексеевна считают меня своим другом! А кое-кто не хочет считать меня своим другом. Кое-кто слишком уж воображает. И кое-кому я докажу, что я-то уж никак не рохлик какой-нибудь...

М. Басовой, конечно, не было дома. И бабушки, к счастью, тоже не было. А то начала бы меня опять кормить тортом. А какой уж сейчас торт!

Открыл мне Григорий Александрович. Вот гляжу я на него и никак не могу представить, что он был таким геройским парнем-разведчиком. А как бы он поступил на моем месте? Но неожиданно для себя я спросил его совсем о другом. Я его спросил, как он понимает, что такое доброе дело. Он почему-то покраснел.

— Вы какие-то странные люди, — сказал он. — Уже второй человек за последнее время спрашивает меня, что такое добро. Правда, вы, Сеня, спрашиваете в несколько другом аспекте...

— А что такое...

— Аспект?! Нет, не дождетесь, Семен, я не полезу в словарь. Аспект — это... если хотите... м-м... точка зрения.

— А с точки зрения ас-пек-та можно дать человеку в морду? — уже злясь, спросил я.

— Когда мы беседовали с вами о Платоне Каратаеве, мы уже, кажется, выяснили этот вопрос. Добро должно быть, — он поднял палец вверх, — активным.

— С кулаками, что ли? — спросил я.

Он удивленно вздернул брови.

— Ну, если хотите, иногда с кулаками. Вот, скажем, когда общество обезвреживает себя от всякой нечисти, оно творит добро для всех, но при этом, конечно, кое-кому и достается... Это вполне закономерно.

— Это понятно, — сказал я. — А вот для того, чтобы сделать доброе дело, можно наврать?

— Наврать?

— Ну, слово нарушить?

— Х-мм, слово нарушить, конечно, не годится. Впрочем, — он опять поднял вверх палец, — это зависит...

— От кон-крет-ной ситу... си...

— Ситуации? Совершенно верно! Вы изумительно сообразительный, Семен. Но вот что интересно: сегодня меня уже второй человек спрашивает — можно ли нарушить слово. Удивительное совпадение.

Я, конечно, сразу сообразил, что это за человек, и обрадовался: ага, значит, и она переживает! Хотя, может, она про какое-то другое слово спрашивала.

— Семен, — осторожно сказал Григорий Александрович. — Если это не секрет, может быть, я вам подскажу что-нибудь. Я вас очень уважаю, Семен. Я к вам очень хорошо отношусь, Семен.

— Вы-то да... — сказал я нечаянно.

Он как-то странно посмотрел на меня:

— Можно один нескромный вопрос?

— Можно, — сказал я.

— Ага. Как вы относитесь к... моей дочери?

— К кому? — спросил я, не сразу сообразив.

— Я имею в виду Марию, — сказал он смущенно.

— А-а, — сказал я. — Ничего я к ней отношусь.

— «Ничего»? — спросил он и вдруг рассердился: — Идиотское слово! «Ничего»! Ничего и есть ничего. Еще вот говорят: «Ничего и дома много». Пошлость. Извините.

— Ничего, — сказал я, — то есть пожалуйста.

— Если вам не хочется, — сказал он грустно, — не говорите, но Маша последнее время волнует меня. То какие-то синяки, то какие-то тайны, то она смеется, то чуть не плачет. И мне кажется, что у нее как-то нет друзей. Вот приходил к нам один мальчик. Очень славный, воспитанный. Так и его она вчера почти прогнала. Не понимаю...

— Герка, что ли? — спросил я и вот ведь — обрадовался.

— Да, Герман.

— Герасим, — сказал я и тут же прикусил язык. Ну и подлый же ты тип, Половинкин...

— Герасим? Почему Герасим?

— Да нет, это я так. Он парень... ничего, то есть... ну, в общем, парень...

— Хорошо, — сказал Григорий Александрович. — Вам это, наверное, не интересно. Ведь вы к ней н и к а к не относитесь.

Вот ведь, чудак-чудак, а хитрый: как повернул!

— Да нет! — закричал я. — Не «никак», а «ничего». «Ничего» — это значит...

— Что значит? — спросил он, наклонившись ко мне.

— А вы... вы ей не скажете?

Он помотал головой, и лицо у него стало совсем как у мальчишки, он даже рот открыл от любопытства.

— Честное слово, — сказал торжественно. — Так что это значит?

— Ну, это значит — хорошо. Хорошо я к ней отношусь. Вот.

— Я очень рад, Семен. Она неплохая девочка.

Я кивнул. Как будто я без него не знаю, какая девочка — М. Басова, но мне было приятно, что у нас с ним такой мужской разговор идет.

— Слушайте, Семен, — сказал Григорий Александрович, помолчав. — А что это все-таки за слово, которое вам нужно нарушить?

— Знаете, Григорий Александрович, — сказал я, — можно я вам ничего сейчас не скажу? Вы в разведку когда ходили, наверное, попадали в разные переделки?

— Случалось, — сказал он скромно.

— И самому решать, что делать, тоже, наверное, приходилось?

— Приходилось.

— Вот и я хочу попробовать сам решить.

— Что ж, — сказал Григорий Александрович задумчиво. — Что ж, это по-мужски. И я приветствую. Но имейте в виду, Семен, если вам потребуется моя помощь, я всегда к вашим услугам.

— Спасибо, — сказал я. — Обязательно.

— Ну вот. И с Машей вы дружите. Хорошо?

— Я рад бы. Но она... не очень-то она меня уважает...

— Неправда! — весело сказал Григорий Александрович. — Неправда! Уж я-то знаю. Поверьте мне — я отец. А вообще-то... — Тут он наклонился ко мне и зашептал в самое ухо: — Девочки — очень странные люди. Совсем, совсем непонятные. Правда?

— Ага, — сказал я, и мы оба немного посмеялись.

— А где она сейчас, Маша? — спросил я.

— Она пошла к какой-то новой подружке. Татьяна, кажется, ее зовут.

Так М. Басова откалывает очередной номер. Зачем ей понадобилась Татьяна, которую она терпеть не может? Действительно, странный народ — девчонки. Но, вообще-то, на душе у меня стало спокойнее. Ничего... тьфу ты!.. хороший разговор у меня получился с Басовопапой. Неплохой разговорчик!

И тут я разозлился на себя: только разговорчики да разговорчики, а дела ни на грош!

Я решил во что бы то ни стало разыскать Машку. Недолго думая, я помчался к дому у Некрасовского рынка, где живет тот старичок, который выручил меня в магазине.

Я мчался сломя голову, и когда мне открыли дверь, долго не мог ничего сказать, а только пыхтел.

— Вам кого, молодой человек? — спросил старичок.

— Вы сказали, что у вас есть внучка, которая знает про гвозди? — выпалил я, наконец отпыхтевшись.

— Какие гвозди? — очень удивился старичок.

— Н-ну, эти... из которых людей делают... то есть, наоборот, из людей — гвоздей...

— Ничего не понимаю, — сказал старичок и вдруг заулыбался. — А-а, вот я вас и узнал! Ты тот мальчик, который стихи пишет.

Я кивнул: пусть его думает что хочет.

— Так ты за стихами пришел? — спросил он. — Ну заходи, заходи.

— Нет, я за внучкой.

— За внучкой? — опять удивился он.

— Ну да, вы говорили...

— Есть внучка, есть, только она в Пензе живет. А зачем она тебе?

И чего это я решил, что Татьяна его внучка? Вот дурень!

Я ужасно расстроился, и он, посмотрев на меня, тоже очень огорчился.

— Она тебе очень нужна? — спросил он ласково.

— Очень, — сказал я и спохватился: — Нет, не она, а... другая.

— А другой у меня нет, — с сожалением сказал старичок и развел руками. Очень славный старичок.

И тут из передней раздался чей-то очень знакомый голос:

— Дед, с кем это ты там?

— Понимаешь, Апик, тут один мальчик ищет внучку, — сказал дед.

— Какую внучку? — спросил голос, и в дверях появился... трясучий Апологий.

Я вылупил глаза и разинул рот. И он вылупил глаза и разинул рот. И так мы стояли довольно долго. Старичок даже забеспокоился.

— Ээ-э, молодые люди, — сказал он. — Что с вами? Вы знакомы?

Апологий с громким стуком захлопнул рот. И я захлопнул рот.

— Здорово, Половинкин, — сказал Апологий, — какая я тебе внучка?

— Да не ты, — сказал я. — Мне одна девчонка нужна. Я думал, она здесь живет. — Я махнул рукой и начал спускаться по лестнице.

— Куда же ты? — спросил старичок. — Заходи.

— В другой раз, — сказал я. — Спасибо. До свидания. Извините. Старичок пожал плечами, помотал головой, развел руками, а я помчался вниз. Апологий догнал меня около рынка.

— Ну и мчишься ты, — сказал он, переводя дух. — Как наскипидаренный. Какую тебе девчонку надо?

— А тебе какое дело? — сказал я, разозлившись. Еще на какого-то Ап-пология время тратить. — Ты все равно не знаешь, где она живет.

— Я все про всех знаю, — сказал Апологий. — Я такой!

— Трепло ты, — сказал я, но подумал, что чем черт не шутит, может, он и верно знает.

— Танька Шарова, — сказал я.

— А зачем? — спросил он.

— Катись ты! — сказал я.

— Тайна, — сказал он. — Ужасно люблю тайны.

— А пошел ты!

— Знаю я, где она живет. А расскажешь?

— Не расскажу. Где она живет?

— Не знаю.

— Ну и...

— Я знаю, но скажу, если ты расскажешь.

Я остановился, взял его за грудки и тряхнул так, что он треснулся спиной об столб.

— А ну, говори! — заорал я.

— Не скажу!

Я хотел еще раз тряхнуть его, но какой-то дядька оттащил меня.

— А ну, пацаны, не драться, — сказал дядька и погрозил мне пальцем.

— Мы не деремся, — сказал Апологий, — мы отрабатываем приемы самбо.

Дядька засмеялся и ушел.

«Смотри-ка ты, — подумал я, — какой благородный Апологий». Но я не стал с ним больше возиться и быстро пошел вперед. Он опять догнал меня и дернул за рукав.

— Идем, — сказал он, — покажу, где она живет. — И добавил довольно грустно: — Не такой уж я...

— Давай адрес, — сказал я.

— Адреса не знаю, а показать — покажу.

— Ладно, — сказал я. — Только...

Он кивнул и повел меня на другую улицу. Молча мы дошли до большого серого дома, и он ткнул пальцем в окно третьего этажа. Я посмотрел на него. Он вдруг покраснел и отвернулся. Я усмехнулся.

— Спасибо... Апик, — сказал я и пошел в парадную.

Обернулся: Апологий стоял понурившись, и мне стало его жалко — грустная такая уистити. Но очень долго я его не жалел — некогда было.

Дверь мне открыла сама Татьяна и вроде даже не удивилась.

— Здорово, Шарова, — сказал я. — А Басова не у тебя?

— У меня, — сказала она серьезно. — Проходи.

— А этот еще зачем здесь? — спросила Машка, когда Татьяна ввела меня в комнату.

— Слушай, Басова, — сказал я железным голосом, — кончай дурить. Надоело.

— А ты мне надоел! — закричала Басова. — Ходит за мной, как... прилипало какое.

«Я тебе сейчас покажу... прилипалу», — подумал я и заулыбался во весь рот. Она, когда я так улыбаюсь, совсем из себя выходит.

— Ори! — сказал я, улыбаясь. — Все равно я знаю, как ты ко мне относишься.

— Как? Как? — Она сощурилась.

— Хорошо. Хорошо ты ко мне относишься, — сказал я.

Она даже задохнулась и зашипела сразу.

— И нечего шипеть, как кошка, — сказал я. — Дело надо делать, а не шипеть.

Она вдруг успокоилась.

— Воображай, что хочешь, — сказала она презрительно, — а с тобой у меня никаких дел нет и не будет. Понял? Нельзя с тобой иметь дело.

Она сказала это так, что я сразу подумал, наверно, ее отец ошибся, и вовсе она ко мне не хорошо относится. Мне стало ужасно обидно, но я сказал себе: «Э-э, Половинкин, надо быть мужчиной».

— Почему же со мной нельзя иметь дело? — спросил я гордо.

— Потому что ты рохля, — сказала она, — потому что ты только на словах добрячок. И еще трус.

Вот так! Очень мне захотелось рассказать ей про подвал, но я удержался — еще хвастуном назовет.

— Ладно, — сказал я. — Что ты там обо мне думаешь, на это наплевать. Не во мне сейчас дело. Понятно?

Тут вступила Татьяна.

— Слушай, Маша, — сказала она спокойно. — Раз уж я все знаю, реши мне сказать. Какой бы Половинкин ни был, а ты не лучше. Он правильно говорит. Надо что-то делать, и быстро.

Я удивился, как это вдруг они подружились, но ничего не сказал.

— Ну, давайте решать, — послушно сказала Машка. — И этот пусть решает, а не разводит... мерлихлюндии.

И тут заартачился я.

— Ничего я с ней решать не буду, — сказал я. — Я ее искал только, чтобы сказать, что она взяла с меня дурацкое слово и пусть она вернет его мне обратно. А я уж сам придумаю, что дальше делать.

— Ну, хватит, — сказала резко Татьяна и хлопнула рукой по столу. — Вы оба как девчонки. Как Юленька с Зойкой.

— Не могу я ему слово вернуть, — сказала Басова, — я сама слово дала.

— Сама и разболтала, — сказала Татьяна.

— Кому я разболтала? Кому?! — чуть не плача закричала Машка.

— Нам, — сказал я.

— Так то вам... — сказала Машка.

Я хотел... чертыхнуться, но Татьяна, посмотрев на меня, строго сказала:

— Выйди, Половинкин, и подожди нас на улице.

Я ждал их на улице. И вдруг вспомнил, как дядя Саша сказал мне однажды, что я «плыву по воле волн». То есть как идет, так и идет. Как меня волна повернет, так я и плыву. Парень-то я хороший, сказал он, но вот над жизнью совсем не думаю, а живу, как придется: прожит день, и ладно. А так нельзя.

Вот что я вспомнил, и стало мне довольно-таки тошно: что я — щепка, что ли, какая, в самом деле? Я задумался и не заметил, как вышли девчонки.

— Двинули! — решительно сказала Татьяна.

— Куда? — спросил я.

— К Балашову. К Веньке, — сказала она. — Поговорим с ним начистоту и пойдем, что к чему. Ты согласна, Маша? — спросила Татьяна.

Маша кивнула.

— Пошли! — сказал я. И такая решительность на меня напала, что я понесся вперед, как очумелый. Девчонки еле попевали за мной.

На Моховой, не доходя до Венькиного дома, мы остановились.

— Кто пойдет? — спросила Татьяна.

— Я! — сказал я.

— Нет, — сказала Татьяна, — тебе нельзя. Вы с Венькой дрались.

— Ну и что? — сказал я, но сразу замолчал. Это чепуха, что дрались, а вот после того подвала мне к Веньке и верно ходить не стоит.

— Я пойду, — сказала Маша. — Я была у него, меня там знают.

— Хорошо, — сказала Татьяна. — Ты его вызови. Мы будем ждать вас на Фонтанке возле библиотеки.

Маша ушла. А мы пошли на Фонтанку.

— Чего такой кислый? — спросила Татьяна.

— Так, — сказал я. Не хотелось мне ничего говорить, а пока мы ждали Машу, болтали обо всякой чепухе. Я рассказал, как искал ее и налетел на Апология. Она смеялась.

— А откуда он знает, где я живу? — спросила она.

— Он говорит, что все про всех знает.

— Знаешь, — задумчиво сказала Татьяна, — странный он какой-то. Будто он совсем один живет. Сам по себе...

Но договорить об Апологии мы не успели. По Фонтанке бежала Машка.

— Венька пропал! — с ходу выпалила она.

— Как пропал?!

— От матери его ничего не поняла. Она, по-моему... — тут Машка перешла на шепот, — она, по-моему, пьяная... Соседка говорит: нет его второй день...

— Так, — сказала Татьяна. — Идемте!

— Ку-у-уда? — безнадежно протянула Маша. — Куда мы...

Она вдруг замолчала и стала смотреть на воду. И мы стали смотреть на воду. А вода текла себе и текла под мостом, и под нами у самой гранитной стенки крутился в маленьком круговороте спичечный коробок. Крутился и крутился и никак не мог отплыть от этой стенки.

Тихо было и спокойно. Только машины изредка фырчали за нашими спинами. Люди шли — одни с портфелями или авоськами, другие с фотоаппаратами. Какой-то парень подошел ко мне и тихо спросил:

— Курнуть есть?

Я мотнул головой. Он вздохнул и отошел, а я почему-то пожалел, что у меня нет сигарет.

Мы стояли, опершись на решетку набережной, и молчали. Я все смотрел на этот проклятый спичечный коробок, который никак не мог уплыть.

Вот Татьяна сказала про Апология, что он странный. Вроде бы никого вокруг него нет. Сам по себе. А дядя Саша сказал, что я... А ба-тя сказал...

— Ладно, — сказал я. — Пошли.

— Куда? — спросила Маша.

— К батю, — железно сказал я.

— А может... — неуверенно начала Маша.

— Хватит, бублики! — закричала Татьяна. — Пошли!

— Почему бублики? — удивилась Маша.

— Мой дед говорит, что есть бублики, а есть и дырки от бубликов! — уже на бегу прокричала Татьяна.

Хороший у нее дед. Наверно, все деды хорошие. «Ладно, — подумал я, — вернусь я сюда еще, посмотрю, уплыл тот коробок или нет!»

Бати дома не было. Мама сказала, что к нему зашел Александр Степанович — дядя Саша. Они долго говорили, потом папа наскоро пообедал и ушел. Сказал, что придет поздно. Мама была ужасно расстроена. «Что за работа такая, — говорила она, — ни днем, ни ночью, ни в воскресенье покоя нет». А тетка Поля перекладывала свои покупки и поддакивала ей: «А что я говорю, да и давно говорила, да и все время твержу...»

Я разозлился.

— Работа как работа! — сказал я. — Как бы вы без милиции обошлись. — И вышел к девчонкам — они в коридоре стояли, не захотели в комнату заходить. Пожалуй, и лучше, что не зашли.

— Вот такие дела, — сказал я им. — Может, пойти батю поискать?

Татьяна молча посмотрела на Басову.

— Где ты его искать будешь? — спросила она.

— В милиции, — сказал я.

— Не надо, — пробормотала Маша.

Татьяна пожала плечами.

— Ну, ладно, — сказал я. — Вечером я с ним сам поговорю или утром.

— Надо бы Веньку все-таки поискать, — сказала Татьяна.

— Я поищу, — сказал я.

— Где? — спросила Маша.

— Есть у меня одна идея. Поспрашиваю кое-кого.

— Только ты... осторожней, — сказала Маша и отвернулась. Интересно, за кого она боится — за Веньку или... за меня?

Они ушли. Я пошел в комнату. Мама и тетка Поля о чем-то спорили, но как только я вошел, сразу замолчали. Мишка гулял с Повидлой, а Ольга спала без задних ног: умоталась по магазинам, наверно. Я спросил у мамы, что на обед, хотя есть мне совсем не хотелось. Через силу затолкал в себя две котлеты.

О чем, интересно, дядя Саша с батеи говорил? Компот мне уже совсем в горло не полез, и я направился к дяде Саше. И конечно, ни его, ни Гали дома не было. Неужели он бате о нашем разговоре рассказал?

Я сказал маме, что ухожу, что у меня дела. Она только вздохнула. Я вышел на Моховую. Надо искать Веньку. Где? И я решил найти или Фуфлу, или Хлястика. Фуфлы дома не было.

— Носит его целыми днями допоздна где-то, — жалобно сказала мне накрашенная женщина, которую я видел тогда. — Хоть бы занялся чем. Говорит, в футбол играет. А ночью что, тоже играют?

— Бывает, — сказал я, — при фонарях.

Я вышел, и ноги нехотя понесли меня к подвалу. Сердце екало, но я все же подошел к двери в подворотне и тихонько, а потом погромче позвал Фуфлу. Никто не ответил.

Осмелев, я спустился на несколько ступенек вниз и опять позвал. Тихо. Только капли откуда-то падали на бетонный пол. Я вздохнул с облегчением и пошел обратно. Вдруг сзади раздался грохот. Ух, как я вылетел на улицу! И только там, отдышавшись на ветерке, я сообразил, что это оторвался кусок штукатурки. Да, Половинкин, слабоват ты еще, чтобы из тебя гвозди делать!

Нигде я не нашел ни Фуфлы, ни Хлястика. Как назло, когда не надо — все время на них натыкаешься, когда надо — не найдешь.

Я еще походил по улицам и пошел домой. И не помню уж из-за чего,

вдруг сцепился с теткой Полей. Сперва шуточками, шуточками, а потом я начал злиться всерьез.

— Вы добрая, — наступал я на нее. — Всем помогаете. Даже жуликам помогаете. В тюрьму и то яблочки посылаете. Фигу им под нос, а не яблоки! Милиция вам не нравится! Да?!

— Очумел? — оторопело спросила тетя Поля. — Чего он порет, Люда?

Я бы еще продолжал злиться, но мама села на стул и приложила руки к груди. Я замолчал, накапал ей валерьянки и ушел на кухню. Выпил холодного чаю. Потом завалился спать. До завтра. Странно, но заснул я сразу и не слышал даже, когда пришел отец.

Такое длинное было воскресенье.

А утро началось с подарочка. Хор-рошего подарочка!

Я проснулся и посмотрел на часы. Еще минут пять можно полежать. Но тут же вскочил. Ты когда-нибудь начнешь серьезную жизнь, Половинкин?!

Раз! — и я одет. Два! — и одеяло с Мишки полетело на пол. Три! — и Ольга, чуть похныкивая, стелет постель. Четыре! — и Мишка несется с Повидлой по лестнице. Пять! — и Ольга, уже умытая, ставит чайник на стол. Шесть! Шесть... и в кухню входит батя.

Лоб у него перевязан широким бинтом и лицо хмурое-хмурое.

— Выйди, Ольга, — сказал он, и на скулах у него заходили упругие желваки.

Ольга, испуганно глядя на него, выходит из кухни.

— Чт-т-то с тобой? — спрашиваю я.

Он молчит и как-то странно смотрит на меня. Потом медленно, как будто ему очень трудно, говорит:

— Наверно, я виноват, что обращал на тебя мало внимания. Наверно, я виноват, что ничего не знаю о твоих делах. Пусть так! — И он вдруг сильно бьет кулаком по столу. Я даже вздрагиваю. — Но как ты посмел молчать? Почему ты советуешься со всеми, но только не со мной?

Я растерялся и от растерянности вдруг сказал, что Венька Балашов вторую ночь не ночует дома.

— Знаю, — жестко говорит отец. — Без тебя знаю.

— Батя, а что с тобой? — спрашиваю я, хотя уже обо всем догадываюсь. Я боюсь смотреть ему в лицо, боюсь смотреть на белый широкий бинт, сквозь который в одном месте проступает красное пятно.

Он хмуро усмехается.

— Теперь «что было»? А где ты был раньше? — говорит отец. — Да, я участковый и должен следить, чтобы во вверенном мне микрорайоне был порядок. А тебе на это наплевать!

Мне реветь захотелось. Никогда он так не говорил.

— Батя, батя... я ведь... — бормочу я.

— Ладно, — спокойно говорит он. — Сейчас некогда. После поговорим.

И выходит из кухни. Я немного стою у окна, а потом тоже выхожу в коридор. Навстречу мне идет дядя Саша с полотенцем через плечо. Он насвистывает и улыбается.

— Зачем же вы, дядя Саша?.. — говорю я.

— Что «зачем»? — удивляется он, внимательно смотрит на меня и перестает улыбаться. — А-а, понял. Ты что думал — я такая же рохля, как ты? Да, я рассказал все твоему отцу. Пока ты трясся за свою шкуру и играл в благородство. Рассказал. И то чуть не опоздал. А ты... — Он слегка толк-

нул меня в лоб ладонью. — А ты... нет, ты еще не героическая личность. Далеко не героическая. — И он, отодвинув меня, прошел в ванную.

— Да что случилось-то?.. — закричал я чуть не плача.

Он обернулся.

— Отец расскажет, если найдет нужным, — сказал он, и дверь ванной захлопнулась за ним.

Я пошел в комнату. Там охала, ахала и причитала тетка Поля. Мамы не было слышно.

— Папа... — сказал я.

— Позвони в неотложку: маме плохо. И иди в школу, — сказал он.

— Я не пойду в школу, — сказал я.

— Пойдешь! — сказал он сердито. — Не волнуйся, я сегодня дома.

...В вестибюле школы меня уже ждали Татьяна и Маша.

— Венки нет, — сказала Татьяна.

Я молчал.

— Что с тобой? — спросила Маша.

Я махнул рукой. Что я им буду говорить?

— Ты что-нибудь узнал? — спросила Татьяна.

— Ничего я не узнал, — буркнул я и пошел наверх.

«Что с тобой, что с тобой» — из-за нее все и случилось, а теперь что со мной. Да нет, нечего мне на нее обижаться. Сам хорош. Я торчал в коридоре у окна, упершись лбом в стекло. Кто-то тронул меня за плечо. Аполоний. Этому-то трясучке чего надо?

— Слушай, Половинкин... — начал он.

— Уйди ты, — сказал я.

— Плюнь ты на этих девчонок, — сказал он. — Я, например, давно решил — будто их и не существует. С ними беды не оберешься. Из-за них все и происходит. Из-за них даже войны начинаются.

— Троянские? — спросил я.

— И Троянская и...

— Я тебе сейчас такую войну покажу, что ты своих не узнаешь, трясучка несчастная! — тихо сказал я и двинулся на него, но сразу остановился. Он стоял передо мной бледный-бледный, опустив руку, и глаза у него были такие, как у Повидлы, когда его несправедливо ударишь. Он смотрел на меня, потом скривился как-то, тихо сказал: «Эх, ты...» — и ушел. Мне стало совсем не по себе, но тут раздался звонок, и я пошел в класс. У самых дверей меня остановила Маргарита Васильевна.

Она смотрела на меня немного прищурившись, а когда она так смотрит — это я от ребят узнал, — значит, или сердится, или не понимает чего-то.

— Сеня, — сказала она очень серьезно, — ты мог бы посмеяться, ну, скажем, над человеком, который плохо слышит, или хромает, или над тем, кто заикается?

— Н-нет, — сказал я.

— Я тоже так думаю. — Она улыбнулась и слегка подтолкнула меня к двери класса.

Я готов был хоть сквозь землю провалиться: значит, она слышала, как я на Аполонку орал. Может, он трясется от какой-нибудь болезни? Эх, добрый-то ты добрый, Половинкин... да какой же ты добрый?!

Я сел за парту и, стиснув зубы, написал Аполониию записочку. «Не сердись!» — написал я и попросил Петьку Зворыкина передать. И смотрел, как записка дошла до Аполония. Он развернул ее и прочитал. Некоторое

время он не поворачивал головы, но потом посмотрел на меня, и мне показалось, что он улыбнулся. У меня немного отлегло от сердца. И только тут я сообразил, что Апологий-то от меня пересел, а рядом со мной опять сидит Маша. Она шепотом спросила меня:

— Что у тебя за дела с этим... трясучкой?

Я хватил кулаком по парте.

— Что с тобой, Половинкин? — спросил математик.

— Это нечаянно.

— Ты что? — удивилась Басова.

— Не смей его больше трясучкой называть! — сказал я сквозь зубы.

— Да что с тобой?

— Не твое дело! И вообще все у тебя плохие, одна ты хорошая.

Она хотела что-то вякнуть, но математик опять посмотрел в нашу сторону, и она промолчала. Только обиженно поджала губы. Ну и пусть обижается. Математик несколько раз прицеливался меня спросить, но так и не спросил — наверно, пожалел. А у меня из головы не выходил батя с повязкой и пропавший Венька, о котором отец что-то и без меня знает, и как там мама... И еще этот Апологий. Я не заметил, как кончился урок.

На перемене я сразу подошел к Апологию и громко, чтобы слышали все, сказал:

— Ты меня извини. Больше этого не будет.

Ребята удивленно смотрели на нас. Апологий ухмыльнулся:

— Да ладно, пустяки...

— Нет, не пустяки, — сказал я твердо, хотя мне хотелось удрать куда глаза глядят. — И если хочешь, можешь дать мне по морде.

— Во сила! — заорал Петька Зворыкин. — Чего это с ним?

— Ничего, — сказал я. — Только если кто будет к нему приставать, тот получит! Понятно?

— Чокнулся, Половинкин! — сказал Матюшин. — Кто к нему пристаёт?

— Он сам ко всем пристаёт, — пропищали Зоенька и Юлька.

— Ладно. Кончили этот разговор, — сказал я и вышел из класса.

За мной сразу вышли Татьяна и Машка.

— Ты какой-то странный, Семен, — сказала Татьяна, — что случилось?

Машка молчала и только поглядывала на меня искоса. Вид у нее был какой-то... виноватый. Ага! Теперь виноватый, а раньше? Я накачивал и накачивал себя злостью и, когда накачал как следует, сказал:

— Со мной ничего не случилось, а вот с кем-то, может, и случилось.

— С кем? — спросила Татьяна.

— С Венькой? — испугалась Басова.

— Может, и с Венькой, — сказал я.

— Слушай, Половинкин, — рассердилась Татьяна, — мы друзья или нет?

— С тобой еще может быть, — сказал я, — а вот с ней...

И я ткнул пальцем в сторону Машки. Она дернула головой, как это она умеет, заложила руки за спину и пошла от нас своей принцессинской походочкой. А Татьяна рассвирепела.

— Пижон ты, Четвертинкин, — сказала она, — хуже девчонки. Ну, чего ты выдрючиваешься?

— Это я выдрючиваюсь? — медленно спросил я.

— И она выдрючивается, — сказала Татьяна. — Оба вы хороши, Монтеки и Капулетти!

— Кто, кто?

— Некогда мне объяснять. Маша, иди сюда! — крикнула Татьяна. Басова нехотя повернулась.

— Ну, что еще? — недовольно спросила она.

— Ох, — сказала Татьяна, — я, кажется, сейчас вас обоих лупить буду!

Басова засмеялась. И я тоже не выдержал, тоже засмеялся — уж больно она забавная была, эта Татьяна: маленькая, кругленькая, сердитая. Я представил, как она нас лупит, — очень смешно.

— Ладно, — сказала Маша, — но пусть он...

— Нет, пусть она... — сказал я.

— Пусть вы оба, — сказала Татьяна.

И мы опять засмеялись. А сзади, конечно, Апологий сказал:

— Переговоры прошли в теплой и дружественной обстановке. Целуйтесь.

Я обернулся и по привычке чуть не дал ему по шее, но вовремя удержался.

— Это я так, — дружелюбно сказал Апологий. — Шутю. Между прочим, вы Балашовым интересуетесь? Я могу вам кое-что сообщить.

— А ты откуда знаешь? — подозрительно спросила Машка.

— Я все знаю, — важно сказал Апик.

— Ну? — спросили мы хором.

Но в это время в класс прошел математик. Апологий обещал все рассказать на следующей перемене.

На уроке Маша написала мне записку. Вот такую: «Может, тебе неприятно, что я опять села с тобой? Так я пересяду. М.» Я прочитал, и сердце у меня застучало. Я немного подумал, а потом как в воду бросился и написал ответ:

«Не надо пересаживаться! С.»

Тогда она написала:

«Хорошо. М.»

И я написал:

«Очень хорошо! С. А кто такие Монтеки и Капулеки?»

Маша покраснела, но написала:

«Это Ромео и Джульетта».

Больше я ничего не писал. Про Ромео и Джульетту я кое-что слышал. И в кино видел. И вообще.

Я сидел, уткнувшись в учебники, а на Машу боялся посмотреть. И она уткнулась в учебники.

Два раза я наткнулся на взгляд Г. А. — Герки. Он смотрел как-то странно, будто хотел что-то понять и никак не мог. Ну и пусть его смотрит!

На следующей перемене меня сразу окружили «рохлики». Гринька слегка прихрамывал, и одно ухо у него было красное, как помидор. «Рохлики» были злые.

— Видал? — спросил Матюшин и ткнул пальцем в Гринькино ухо. Гринька заверещал.

Я не выдержал и засмеялся.

— Он еще смеется! — закричал Гринька. — Рене... гат!

— Знаешь, кто его отделал? — спросил Петька.

— Твои дружки, — сказал Коля Матюшин, — Фуфло и этот, как его... Хлястик.

— Какие они мне дружки?! — завопил я.

— А кто своего кабысдоха на нас натравил? — тоже заорал Петька.

Я даже растерялся.

— Вы что, ребята? Повидло просто еще дурак необученный. Он не понял, на кого кидаться надо. А я... так я просто хотел сказать, что с ними по-другому надо. Просто...

— Все у него просто, — сказал Матюшин.

— Да! — сказал Гринька. — А у меня нога и вот ухо.

— Здорово отдули? — спросил я с жалостью.

— Здорово, — грустно сказал Гриня. — Заташили в подворотню и отдули. А сами смеялись...

— Ну ладно! — сказал я. — Дождутся они! После уроков не расходитесь.

И я пошел к Татьяне, Маше и Апологию-Апику, которые ждали меня в конце коридора.

— Эти подонки Гриньку вчера избили, — сказал я.

— Это уж... это уж... это уж... — забормотала Маша.

— Погоди, — сказала Татьяна, — Логий, повтори, что ты нам рассказал.

Хм-м... Логий. Это, пожалуй, лучше, чем Апик.

— Я вчера видел Веньку, — сказал Апологий-Логий и затрясся, но это меня уже не злило, а в общем, я... не то чтобы отвернулся, а просто скосил глаза в сторону, чтобы не смотреть. А Маша скосила глаза в мою сторону.

— Где ты его видел? — быстро спросила Татьяна.

— На Моховой.

— Одного? — спросил я.

— Нет. Фуфло с ним был и еще какой-то парень.

— Черный? — вскрикнула Маша.

— Белобрысый. Маленький, но такой... квадратный.

— Тот! — сказал я.

— Какой «тот»? — спросила Маша. — Тот черный.

— Это другой, — сказал я. — Куда они шли?

— Они шли в подвал, — сказал Логий. — Там дом такой есть.

— Когда это было? — перебил я.

— Часов в шесть.

«Значит, это было до того, как я Фуфлу искал, — подумал я, — тогда в подвале уже никого не было».

— А дальше что? — нетерпеливо спросила Татьяна.

— Н-не знаю, — сказал Апологий.

— Ты не посмотрел? — возмутилась Маша. — И не подошел и не спросил, почему он в школу не ходит?

— А мне что за дело? — сказал он довольно нахально. — Мало ли что? У каждого своя жизнь...

Маша вдруг взяла его за плечо и повернула к себе. Она долго смотрела, а потом спросила что-то непонятное:

— Значит, «чарог... магог...» или, как там дальше? Да?

Апологий засмеялся, но вроде бы смущенно. Маша пошарила в кармане передника и достала оттуда смятую бумажку, разгладила ее и сунула под нос Апологию.

— Ты писал? — спросила она.

— Ну, допустим, — сказал Апологий, — а что тут такого?
— Ничего, — сказала Маша спокойно. — Катись отсюда. Ну!
— Подумаешь... — сказал Апологий, пожал плечами и ушел.
— Ты чего это, Басова? — спросил я. Опять она какие-то номера выкидывает.

— На, читай! — сказала Маша и сунула мне записку. — Вслух!
— «Чаргог... чагогг... манчауг... раггог, — еле-еле читал я, — чаубуна... гунга... маугг». Ух! Это еще что?

— А это на языке какого-то племени индейского значит, что ты можешь ловить рыбу на той стороне, а я на этой, а посерединке никто не ловит. Вот! — сказала она. — Это мне трясушка... написал.

— Ну и что? — спросил я. — Вроде бы правильно. Чтобы никто другу другу не мешал.

— Нет, неправильно! — крикнула Маша.

— Конечно, неправильно, — подтвердила Татьяна. — Это значит, что никому ни до кого никакого дела нет.

— Н-ну, — сказал я, — индейцы-то, наверно, не про это писали.

— Индейцы, может, и не про это, а Апологий как раз про это, — сердито сказала Маша. — У каждого своя жизнь, видишь ли, а может, там, в подвале... Веньку... — Она испуганно зажала рот ладошкой. — А мы тут разговариваем, разговариваем... Пошли!

— Куда? — спросила Татьяна.

— Туда... в подвал! — сказала Маша, и глаза у нее стали круглыми.

— Я там был, — нехотя сказал я. — Никого там не было.

Они обе уставились на меня и спросили хором:

— Когда?

Я рассказал, как вчера под вечер искал Фуфлу и не нашел.

— А почему ты решил в этом подвале его искать? — подозрительно спросила Маша.

— Ну, так... — Я начал мяться, но они пристали как пиявки, и пришлось рассказать им, что со мной в этом подвале случилось. Они тихонько ахали и смотрели на меня с уважением. И мне было приятно. Но когда я кончил рассказывать, Татьяна вдруг возмутилась, и Машка ее поддержала. Они начали кричать, почему я никому, например отцу, не сказал, да как я мог молчать, да зачем я им сразу не рассказал и так далее. Ну ладно бы только Татьяна, а Машка-то? Я разозлился.

— Сама же с меня слово взяла, — сказал я, когда они прокричались.

— Так ведь это уже тебя касалось, а не Веньки, — сказала Маша.

— А это все время меня касалось, — сказал я. — И когда тебе в подворотне глаз подбили, и когда тот черный мне подножку подставил, и в подвале тоже.

— Так что же ты молчал? — опять спросила Маша.

— А ну вас, — сказал я и махнул рукой. — Не поймешь вас. Верно Апологий говорит: с вами дела не сделаешь.

Они опять набросились на меня и кричали, что надо что-то делать сейчас, немедленно, срочно.

— Эх! — сказал я.

Они опять оставили на меня. Я хотел им рассказать про мой разговор с батей сегодня утром и про то, что он пришел с повязкой на голове, а всю ночь его не было. Но не успел. В конце коридора появились завуч Рената Петровна, Маргоша и... капитан милиции товарищ Воробьев в новенькой с иголочки форме. Все они были очень серьезные. Они подошли

к дверям класса, и как раз в это время прозвенел звонок. Они вошли в класс, и мы за ними.

Когда все расселись, Рената Петровна постучала ладошкой по столу и сказала:

— Сейчас у вас должен быть урок литературы, но его не будет. Случилось очень серьезное, очень неприятное происшествие. Вот товарищ капитан нам расскажет. А вы слушайте и делайте выводы.

Она покачала головой и села.

«Ну, так, — подумал я, — вот и домолчался ты, Половинкин». Я посмотрел на Машу. Она сидела выпрямившись, а руками прямо вцепилась в парту. Лицо у нее было бледное, и она глаз не сводила с капитана. А Татьяна, наоборот, покраснелась, положила один кулак на другой, а подбородок уткнула в кулаки и тоже смотрела в глаза капитану. А у меня внутри все дрожало, и мне даже казалось, что я весь начал трястись, как зтот... Апик.

Капитан Воробьев одернул мундир, обвел нас всех взглядом и сказал:

— Один ваш товарищ попал в беду. Сейчас он находится в больнице с тяжкими... с довольно тяжкими телесными повреждениями.

Ребята загудели.

— Кто? — хором пропищали Зоенька и Юлька.

Герка Александров быстро оглядел весь класс, высматривая, кого нет, и, заметив, что нет Веньки, кивнул головой — дескать, ясно кто. Мне хотелось запустить в него чем-нибудь, но я сдержался. Сердце у меня колотилось, и я представлял себе всякие страшные картины. Подвал и... Веньку. Маша схватила меня за локоть.

— Венька... — прошептала она.

— А что случилось-то? — спросил Коля Матюшин. — Под машину попал, да?

— Кто попал под машину? — закричал Петька.

— Не перебивайте, — строго сказал капитан Воробьев. — Я все изложу. Под машину никто из вас пока не попал. К счастью. И, надеюсь, не попадет. В больнице лежит ваш товарищ, — капитан достал из кармана бумажку и посмотрел в нее, — ваш товарищ Вениамин Балашов, проживающий по улице Моховая, дом номер тридцать один. Вчера в восемнадцать тридцать его жестоко избили. Ваш товарищ...

— Какой он нам товарищ... — заверещали опять эти две зануды, — он сам хулиган.

— А ну, цыц, попугайчики! — рявкнул Коля Матюшин, а ребята зашумели. Зоенька и Юлька обиженно поджали губы.

— Тихо! — сказал Герка. — Продолжайте, товарищ капитан.

Капитан удивленно покосился на Г. А.

— Спасибо, — сказал он. — Я продолжаю. Ваш товарищ в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

— А... а как он сейчас? — охрипшим голосом спросила Маша.

— Сейчас, — сказал капитан, — его жизнь вне опасности, но состояние тяжелое... довольно тяжелое.

Встала Татьяна.

— А как это случилось, товарищ капитан? — спросила она. — Нам это очень важно знать.

— Как его отделали? — выкрикнул Аполоний и тут же получил по шее от маленького Грини. Ну и тип! А я еще его пожалел. Я вспомнил почему-то его деда и подумал: как это у таких хороших дедов рождаются такие пар-

шивые внуки? И ничего он не болен, а трясется от вредного характера. А если болен — лечись... Тьфу! — о какой ерунде думаю...

— Как случилось? — переспросил капитан. — О подробностях я вам сказать не могу. Будет суд. Но в двух словах скажу. Затем и пришел. Ваш товарищ Вениамин Балашов находился под влиянием плохой компании. Но в критический момент нашел в себе силы и сознательность выйти из-под этого влияния. Как настоящий советский школьник, — капитан склонился к Маргоше и что-то спросил, а она кивнула в ответ, — как... гм-м... настоящего человек, он пришел и сообщил в органы охраны общественного порядка о готовящемся преступлении. Бандиты-рецидивисты выследили и избили его.

В классе опять все зашумели, а Машка опять сжала мне локоть и сказала в самое ухо:

— А?! Я что говорила?

У меня все прямо перевернулось внутри и очень захотелось выскочить из класса.

Но я заставил себя сидеть спокойно.

Капитан Воробьев вдруг широко улыбнулся.

— В общем, хороший парнишка оказался. Просто чудесный парень. Верно ведь?

— Верно! — закричали все и тоже заулыбались, даже попугайчики и те улыбались и кричали что-то радостное. Ишь ты!

Капитан Воробьев постучал ладонью по столу.

— Между прочим, — сказал он задумчиво, — очень нелегкая жизнь была у вашего товарища. Очень.

Он помолчал, а потом строго сказал:

— А вы и не знали. Не ин-те-ре-со-вались. Это плохо. В этой компании были еще два подростка, — капитан снова достал бумажку, — Константин Коновалов, пятнадцать лет, и Борис Хлястиков, четырнадцать лет...

— Фуфло и Хлястик! — крикнул Аполोगий. — Я знаю!

Капитан поморщился чуть-чуть и сказал:

— Правильно, это их клички. Но они не нашли в себе смелости по-рвать...

— А что с ними? — спросил Гриня, потирая свое ухо.

— Это будет решать комиссия, — сказал капитан. — И еще хочу добавить: беды могло бы не быть, если бы, — он обвел взглядом класс, и я опустил голову, так как его глаза остановились прямо на мне, — если бы и другие ваши товарищи не молчали...

Тут мне показалось, что весь класс повернулся в мою сторону. Капитан кашлянул и продолжал:

— Ну, это я так, к слову. Это я к тому, что вы должны нам помогать бороться со всякими... проявлениями.

И тут опять все загалдели: «Мы хотели, да мы боролись, да мы...» Капитан поднял руку.

— Но, — сказал он, — никакой самодеятельности. А то тут мне рассказывали наши дружинники, как... — он улыбнулся, — в одной школе ребята организовали какую-то не то БОР, не то МОР — боевую или могутую организацию по борьбе с хулиганами.

Тут уж все «рохлики» опустили головы, а я уставился на Герку. Ну и ну.

— Ладно, — сказал Воробьев, — ребята вы все хорошие, но впредь — советуйтесь.

— А что с этими бандитами-рецидивистами? — с любопытством спросил вдруг Аполоний.

— Они задержаны, — ответил капитан. — Должен сообщить, что при операции отличились: один гражданский товарищ — Азаренков Александр Степанович и участковый инспектор лейтенант милиции товарищ Половинкин.

Рената Петровна подумала немножко и захлопала в ладоши. И все захлопали в ладоши. А потом до кого-то дошло, что я тоже Половинкин, и все стали смотреть в мою сторону. И мне стало до того... до того... до того... не знаю до чего... Я встал и, ни на кого не глядя, вышел из класса.

...Полчаса, наверно, я стоял на Фонтанке около спуска, там, где мы с Татьяной вчера ждали Машу. О чем я думал — никому не скажу.

А потом ко мне подошла Маша, а дальше на набережной я увидел Татьяну и с ней почему-то Гриньку, Петьку и Колю Матюшина.

— У тебя яблоки остались? — спросила Маша. — Антоновские.

— Остались, — сказал я.

— Это хорошо, — сказала она. — Завтра пойдем к Веньке в больницу. Я кивнул.

СОДЕРЖАНИЕ

Повести

ЧТО К ЧЕМУ...	3
НЕВЕРОЯТНО НАСЫЩЕННАЯ ЖИЗНЬ	109



Литературно-художественное издание
ДЛЯ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Фролов Вадим Григорьевич

ЧТО К ЧЕМУ...

Ответственный редактор И. И. Трофимкин.
Художественный редактор В. П. Дроздов.
Технический редактор Т. С. Тихомирова.
Корректоры Л. А. Ни и В. Г. Арутюнян.

ИБ 12176

Сдано в набор 14.03.89. Подписано к печати 01.03.90. Формат 70×100¹/₁₆. Бумага офсетная № 1. Шрифт литературный. Печать офсетная. Усл. печ. л. 19,5. Усл. кр.-отт. 39,65. Уч.-изд. л. 20,08. Тираж 100 000 экз. Заказ № 496. Цена 1 р. 10 к. Ленинградское отделение орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов издательства «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. 191187, Ленинград, наб. Кутузова, 6. Фабрика «Детская книга» № 2 Государственного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. 193036, Ленинград, 2-я Советская, 7.



